

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ПОЛИТОЛОГИЯ

Tomsk State University Journal
of Philosophy, Sociology and Political Science

Научный журнал

2019

№ 49

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-30316 от 16 ноября 2007 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Подписной индекс 44046 в объединенном каталоге
«Пресса России»

Журнал включен в БД Emerging Sources Citation Index (Web of Science
Core Collection) и в «Перечень рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук»
Высшей аттестационной комиссии
(№ 1528)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Суровцев В.А. (Томск, Россия) – главный редактор, доктор филос. наук, профессор. E-mail: surovtsev1964@mail.ru; **Рыкун А.Ю.** (Томск, Россия) – зам. главного редактора (социология), доктор соц. наук, профессор. E-mail: a_rykun@mail.ru; **Шербинин А.И.** (Томск, Россия) – зам. главного редактора (политология), доктор полит. наук, профессор. E-mail: shai52@mail.ru; **Агафонова Е.В.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь, кандидат филос. наук, доцент. E-mail: agaton@rambler.ru; **Сухушина Е.В.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь (социология), кандидат филос. наук, доцент. E-mail: elsukhush@inbox.ru; **Скочилова В.Г.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь (политология), кандидат филос. наук. E-mail: veronassk@gmail.com; **Борисов Е.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Оглеzneв В.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Сыров В.Н.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Черникова И.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Ладов В.А.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Южанинов К.М.** (Томск, Россия) – кандидат филос. наук, доцент; **Шербинина Н.Г.** (Томск, Россия) – доктор полит. наук, профессор; **Кашпур В.В.** (Томск, Россия), кандидат соц. наук, доцент

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Химма Кеннет Э. (Университет Вашингтона, Сизтл, США); **Ренч Томас** (Технический университет, Дрезден, ФРГ); **Шефлер Уве** (Технический университет, Дрезден, ФРГ); **Вяткина Н.Б.** (Институт философии НАНУ, Киев, Украина); **Васильев В.В.** (Московский государственный университет, Москва, Россия); **Микиртумов И.Б.** (Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия); **Целищев В.В.** (Институт философии и права СО РАН, Новосибирск, Россия); **Диев В.С.** (Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия); **Джонсон Марк С.** (Университет Висконсина, Мэдисон, США); **Балцер Харли С.** (Университет Джорджтауна, США); **Чалаков Иван** (Университет Пловдива, Болгария); **Вавилина Н.Д.** (Новый сибирский университет, Новосибирск, Россия); **Константиновский Д.Л.** (Институт социологии РАН, Москва, Россия); **Черныш М.Ф.** (Институт социологии РАН, Москва, Россия); **Ярская-Смирнова Е.Р.** (Государственный университет – Высшая школа экономики, Москва, Россия); **Малинова О.Ю.** (Институт информации по общественным наукам РАН, Москва, Россия); **Соловьев А.И.** (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия); **Чахор Рафал** (Нижнесилезская высшая школа предпринимательства и техники, Польковице, Польша); **Шестопал Е.Б.** (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия); **Шуберт Клаус** (Вестфальский университет им. Вильгельма, Мюнстер, ФРГ)

EDITORIAL BOARD:

Surovtsev V.A. (Toms, Russia) – Editor-in-Chief
Rykun A.U. (Toms, Russia) – Deputy Editor-in-Chief (Sociology)
Shcherbinin A.I. (Toms, Russia) – Deputy Editor-in-Chief (Political Science)
Agafonova E.V. (Toms, Russia) – Executive Editor
Sukhushina E.V. (Toms, Russia) – Executive Editor (Sociology)
Skochilova V.G. (Toms, Russia) – Executive Editor (Political Science)
Borisov E.V. (Toms, Russia)
Ogleznev V.V. (Toms, Russia)
Syrov V.N. (Toms, Russia)
Chernikova I.V. (Toms, Russia)
Ladov V.A. (Toms, Russia)
Uzhaninov K.M. (Toms, Russia)
Shcherbinina N.G. (Toms, Russia)
Kashpur V.V. (Toms, Russia)

EDITORIAL COUNCIL:

Himma K. E. (University of Washington, Seattle, USA); **Rentsch T.** (Technical University Dresden, Germany); **Scheffler U.** (Technical University Dresden, Germany); **Viatkina N.B.** (Institute of Philosophy of NASU, Kiev, Ukraine); **Vasilyev V.V.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Mikirtumov I.B.** (Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia); **Tselishchev V.V.** (Institute of Philosophy and Law of SB RAS, Novosibirsk, Russia); **Diev V.S.** (Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia); **Johnson M. S.** (University of Wisconsin, Madison, USA); **Balzer H.S.** (Georgetown University, USA); **Tchalakov I.** (University of Plovdiv, Bulgaria); **Vavilina N.D.** (New Siberian Institute, Novosibirsk, Russia); **Konstantinovskiy D.L.** (Institute of Sociology, Moscow, Russia); **Chernysh M.F.** (Institute of Sociology, Moscow, Russia); **Iarskaia-Smirnova E.R.** (National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia); **Malinova O.Y.** (Institute of Information on Social Sciences of RAS, Moscow, Russia); **Soloviov A.I.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Czachor Rafal** (Lower Silesian University of Entrepreneurship and Technology, Polkowice, Poland); **Shestopal E.B.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Shubert K.** (Westphalian Wilhelm University, Muenster, Germany)

СОДЕРЖАНИЕ

ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА

Антух Г.Г. Очевидность, мышление, следование правилу	5
Боровинская Д.Н., Суровцев В.А. Рефлексия и природа креативности	17
Зайцев Д.В., Зайцева Н.В. Исчисление понятий	26
Ламберов Л.Д. Понятие доказательства в контексте теоретико-типového подхода, II: доказательства теорем	34
Нестеров А.Ю., Демина А.И. Категории «значение» и «изобретение» в контексте семиотики техники	42
Целищева О.И. Конфликт норм в философском мышлении: случай аналитической философии	51
Черникова И.В., Черникова Д.В. Методологические и структурные трансформации в развитии современной науки	60

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Иванов А.Г. Нарративное измерение политического мифа	69
Моисеева А.Ю., Овчинников С.Е. Объяснение и интерпретация в социологии: против методологической критики П. Уинча	79

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Качераускас Т. Альтернативные школы коммуникации: философские аспекты	92
---	----

СОЦИОЛОГИЯ

Гаврилюк Т.В. Жизненный путь молодёжи нового рабочего класса: реальность и нормативные паттерны	101
Гузикова М.О. Полиязычие в движении: эволюция феномена	114
Рахманов А.Б. Структура привлекательности городов России: переночевать в Москве, погулять по Петербургу и поесть в Казани	124
Шаров К.С. Экстимность как разновидность символического обмена в постсемейных неолиберальных обществах: особенность социального феномена и специфика его форм	140
Antonova N.L., Purgina E.S., Polyakova I.G. The Impact of World University Rankings on BRICS Students' Choices of Universities (The Case of the Ural Federal University)	153

ПОЛИТОЛОГИЯ

Бронников И.А., Гимазова Ю.В. Взаимодействие власти и экспертов в России: состояние, риски и перспективы	162
Подрезов М.В. Идеиные воззрения Ф.М. Достоевского на место Польши в России и мире	170
Селезнева А.В. Концептуально-методологические основания политико-психологического анализа политических ценностей	177

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	193
---------------------------	-----

CONTENTS

ONTOLOGY, EPISTEMOLOGY, LOGIC

Antukh G.G. Evidence, Thinking, Rule-Following	5
Borovinskaya D.N., Surovtsev V.A. Reflection and the Nature of Creativity	17
Zaitsev D.V., Zaitseva N.V. The Calculus of Concepts	26
Lamberov L.D. The Concept of Proof in the Context of a Type-Theoretic Approach, II: Proofs of Theorems	34
Nesterov A.Yu., Demina A.I. The Categories “Meaning” and “Invention” in the Context of the Semiotics of Technology	42
Tselishcheva O.I. A Conflict of Norms in Philosophical Thinking: The Case of Analytic Philosophy	51
Chernikova I.V., Chernikova D.V. Methodological and Structural Transformations of the Contemporary Science	60

SOCIAL PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HUMANITY

Ivanov A.G. The Narrative Dimension of a Political Myth	69
Moiseeva A.Yu., Ovchinnikov S.Ye. Explanation and Interpretation in Sociology: Against Peter Winch’s Methodological Criticism	79

HISTORY OF PHILOSOPHY

Kacerauskas T. Alternative Schools of Communication: Philosophical Aspects	92
---	----

SOCIOLOGY

Gavrilyuk T.V. The Life Course of the New Working-Class Youth: The Reality and Normative Patterns	101
Guzikova M.O. Multilingualism in Motion: Evolution of the Phenomenon	114
Rakhmanov A.B. The Structure of Attractiveness of Russian Cities: To Spend a Night in Moscow, to Take a Walk in Saint Petersburg and to Have a Meal in Kazan	124
Sharov K. S. Estimacy as a Type of a Symbolic Exchange in a Post-Family Neoliberal Society	140
Antonova N.L., Purgina E.S., Polyakova I.G. The Impact of World University Rankings on BRICS Students’ Choices of Universities (The Case of the Ural Federal University)	153

POLITICAL SCIENCE

Bronnikov I.A., Gimazova Yu.V. The Interaction of the Authorities and Experts in Russia: The State, Risks and Prospects	162
Podrezov M.V. Fyodor Dostoevsky’s Ideological Views on the Place of Poland in Russia and in the World	170
Selezneva A.V. Conceptual and Methodological Foundations of the Political-Psychological Analysis of Political Values	177

INFORMATIONS ABOUT THE AUTHORS	193
---	-----

ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА

УДК 1.16

DOI: 10.17223/1998863X/49/1

Г.Г. Антух

ОЧЕВИДНОСТЬ, МЫШЛЕНИЕ, СЛЕДОВАНИЕ ПРАВИЛУ¹

Рассматривается проблема соотношения логико-теоретического и логико-психологического содержания мышления. Отправной точкой исследования выступает вопрос о природе очевидности в познании. На примере концепции чистой логики Э. Гуссерля демонстрируется роль очевидности в обосновании логико-теоретического знания. Критикуется принцип аналитической достоверности тождественных предложений с проблематизацией различия между чистой рациональностью и реальными условиями логического правилоприменения. Обсуждается связь языка и мышления в контексте релятивистского аргумента «позднего» Л. Витгенштейна.

Ключевые слова: очевидность, релятивизм, скептицизм, логика, мышление, парадокс следования правилу.

Существует ли достоверное знание о мире? Примерно так может быть сформулирован один из центральных вопросов метафизики и эпистемологии. По одной из версий, достоверное знание о мире возможно, и в основе такого знания лежит *очевидность*. Скажем, имеет ли смысл сомневаться в том, что $2 + 2 = 4$, если это и так очевидно? В этом, справедливо заметить, не было бы никакого смысла, если не брать в расчет возражение, следующее после: *пусть верно, что в основе познания лежит очевидность, но так ли очевидно само знание о том, что в основе познания лежит очевидность?* Думается, это не так уж и очевидно. Независимо от этого, понятие очевидности занимает важное место в философских дискуссиях. В различных концепциях очевидному знанию приписываются свойства истинности, достоверности, точности, простоты, ясности, непротиворечивости, полезности, объективности и т.д. Особое значение следованию очевидности придают сторонники идеализма в метафизике и рационализма в эпистемологии. В таких учениях очевидные положения принимаются в качестве непреложных истин, определяющих границы реальности и возможности познания. В частности, идею об очевидности фундаментальных истин, доступных непосредственно или же при помощи интеллектуальной интуиции, разделяли такие новоевропейские философы, как Р. Декарт [1], Б. Спиноза [2], Г. Лейбниц [3], И. Кант [4] и др. В философии XX в. учение об очевидности с позиций объективного идеализма развивал основоположник феноменологии Э. Гуссерль, внесший огромный вклад в развитие феноменолого-герменевтического проекта, не исчерпавшего своей значимости до сих пор [5].

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-18-00057).

Очевидность и основания логики

В своих ранних исследованиях Гуссерль защищал автономность логико-математического знания и выступал против эмпирико-натуралистического истолкования точных наук. В работе «Пролегомены к чистой логике» (1900) философ ставит вопрос об онтологических основаниях логики и связи идеального объективно-логического содержания мышления с реальными субъективно-психологическими условиями познания [6]. В логике Гуссерль видит независимую от естественных наук фундаментальную теоретическую дисциплину, законы которой с очевидностью усматриваются из самого понятия истины и выполняют нормативную функцию в познании. Данный взгляд на природу логического знания, по мнению немецкого мыслителя, позволяет избежать релятивизма и следующего за ним скептицизма, с которыми связана натуралистическая трактовка познания. Подчеркивая необходимость преодоления парадоксальных следствий натурализма в философии логики, Гуссерль наделяет логические законы характеристиками идеальности и объективности, решая, таким образом, вопрос об онтологическом статусе логико-теоретического знания в пользу субстанциональной автономии объективного единства идеально-логических закономерных связей, познаваемых а priori и усматриваемых в своей всеобщности повсеместно и с необходимостью. Иные способы интерпретации логических принципов, отсылающие к опыту (будь то субъективное или объективное содержание опыта) и индукции, в силу относительности и случайности эмпирического знания недопустимы. Отметим, что схожие воззрения разделял менее известный современник Гуссерля – Г. Фреге, идеи которого сегодня активно обсуждаются в логико-философской литературе [7].

В общем виде, говоря о несостоятельности натуралистической трактовки логики, Гуссерль ссылается на самопротиворечивость релятивизма. Релятивизм в своей радикальной форме утверждает относительность всякого рода суждений: *что при одних обстоятельствах может быть истинным, при других таковым может и не быть*. Следует полагать, что, если всякое знание относительно, относительно и логико-теоретическое знание. По существу, сообщая нам о формальных основаниях мышления и способах вывода, логика, с одной стороны, высказывается не только о том, как должны быть устроены все остальные суждения, но и том, как должны быть устроены суждения самой логики, с другой стороны, будучи теоретической дисциплиной, описывающей идеальные виды, логика все же высказывается определенным образом о мире, частью которого она и является. Фактически, в случае признания относительности логико-теоретического знания, следовало бы согласиться с тотальной непознаваемостью мира в том смысле, в котором ни одно суждение об этом мире (раз уж основные понятия логики, такие как, например, «истина» или «суждение», признаются относительными) нельзя считать очевидным. Нетрудно понять, что в мире, в котором относительно всякое утверждение, теряет смысл какое бы то ни было теоретико-познавательное позиционирование, и в первую очередь скептико-релятивистское, поскольку утверждаемое им в качестве частного случая указывает на относительность собственного содержания. Схематично это можно увидеть на следующем примере: *если ни одно суждение о мире не истинно, то неистинно и сужде-*

ние о том, что ни одно суждение о мире не истинно. Таким образом, за простотой и ясностью аргумента Гуссерля о самопротиворечивости релятивизма следует весомый довод против натурализма в философии логики. Закрепив за логическим знанием статус объективного единства идеальных закономерных связей, немецкий философ показал возможность непротиворечивой трактовки логики. Однако, ответив на вопрос об онтологических основаниях логико-теоретического знания, ему не удалось с той же элегантностью формулировок разъяснить вопрос о связи логико-теоретического и логико-психологического содержания познания. Проще говоря, Гуссерль не объяснил, каким образом человек познает идеальные виды и доступны ли они познанию вообще.

Чистая рациональность

Основу отстаиваемого Гуссерлем априоризма составляют законы *чистой рациональности*. Первые, наиболее общие и необходимые, принципы мышления последовательно учат однозначности полагания ($A = A$), запрещают многозначность суждений ($A \neq \text{не-}A$) и определяют границы двужаночной логики (A или $\text{не-}A$). Все остальные понятия и суждения логики с аналитической достоверностью следуют из данных принципов, положения которых, в свою очередь, дедуктивно выводятся из наиболее фундаментального понятия – понятия истины. Стоит заметить, что понятие истины в данном случае никак не соотносится с реальными [физическими] предметами или отношениями между ними, а также ничего не сообщает о состояниях сознания или процессах мышления. В противном случае это означало бы обращение к парадоксальной натуралистической установке, которая, как уже было показано, приводит к противоречию. Что же тогда представляет собой истина? И каким образом она доступна познанию, если ее нет в физическом мире и она не связана с психическими процессами и психологическими феноменами? На данные вопросы Гуссерль отвечает следующим образом.

Несмотря на то, что содержание понятия истины указывает на идеальные отношения между вещами, а значит, сама истина недоступна реальному познанию, сведения о ней черпаются из необходимых предпосылок мышления, важнейшей из которых выступает очевидность (*Evidenz*). В общем виде очевидным называется такое знание, за однозначностью и простотой которого не остается и малейшего повода к сомнению. Впрочем, даже самой глубокой убежденности свойственно иметь две стороны: субъективную и объективную. Понимая это, Гуссерль проводит различие между психологическим и логическим содержанием понятия очевидности. В первом случае речь идет о реальных антропологических и субъективно-психологических условиях познания, во втором – о связи формальных оснований бытия истины с мышлением. Именно логическая очевидность позволяет с аподиктической достоверностью говорить о незыблемости логико-теоретического знания. Убедиться в этом достаточно просто. Предположим, фиксация очевидности того или иного знания связана с какой-либо антропологической или психологической переменной. Как часто в таком случае нам удавалось бы иметь в отношении обсуждаемого предмета одни и те же мнения, если бы причинами их являлось то или иное состояние ума, индуцированное состоянием психики и / или функционированием мозга? Во-первых, данные состояния не могут быть

идентичными у различных людей, поскольку и состояния психики, и нейрофизиологические процессы – вещи сугубо индивидуальные. Во-вторых, даже в границах отдельно взятой познающей индивидуальности состояния эти изменчивы. Конечно, сейчас для меня очевидно, что квадратный корень из 121 равен 11, но требовать, скажем, от ребенка, не научившегося считать до десяти, той же ясности суждений я не могу. А что если и я сам в определенных обстоятельствах (например, в бреду или во сне) утрачу возможность судить об этом ясно? Таким образом, очевидность с точки зрения реального субъективно-психологического содержания познания в силу ее относительности нельзя рассматривать в качестве основания логико-теоретического знания. Преодолеть данную трудность возможно, лишь обратившись к формально-логическому содержанию очевидности, исключаяющему связь логической теории с субъективными мотивами познания.

С позиции формального содержания мышления очевидность выступает вероятностным коррелятом истинности суждений, где под истинностью понимается возможность установления отношения между очевидностью и формой суждения. Если есть некоторое A , рассуждает Гуссерль, то есть вероятность, что A истинно, и это очевидно. Например, если есть утверждение «Вода – это H_2O », то с чисто формальной точки зрения существует вероятность того, что данное выражение описывает реальное положение вещей, а значит, может быть очевидным в тех или иных обстоятельствах. Иными словами, истина заключается даже не в том, что вода – это H_2O , а в том, что для всякого рода вещей, о которых мы судим, в том числе и для того, что описывается высказыванием «Вода – это H_2O », существует вероятность очевидности. В применении к логическому знанию очевидность определяется взаимосвязью логико-теоретических принципов с *положениями очевидности*. Для примера возьмем закон транзитивности в следующей формулировке: *Если все A суть B , а все B суть C , то все A суть C* . Преобразуем данный принцип в положение очевидности так, как это предлагает Гуссерль: *Очевидность известной истины «все A суть C », имеет возможность быть справедливой для умозаключения с предпосылками форм «все A суть B » и «все B суть C »*. Как видно, между положением очевидности и логико-теоретическим принципом действительно существует корреляция. Исходя из этого, Гуссерль делает предположение о возможности установления непротиворечивой связи между логико-теоретическим и логико-психологическим содержанием мышления. В одной из предыдущих работ было показано [8], что данный подход к обоснованию логики эпистемологически непоследователен. Состоятелен ли он с логической точки зрения?

Пусть положения очевидности логико-теоретических принципов выступают реальным коррелятом достоверности логического знания. Спросим, должно ли предъявляться требование логической непротиворечивости к положениям очевидности логико-теоретических принципов? Разумно предположить, что правило логической непротиворечивости следует соблюдать всегда, когда нам приходится рассуждать логично. Теперь нужно подумать о следующем: должно ли правило логической непротиворечивости соблюдаться в отношении самого правила логической непротиворечивости? И как связаны положения очевидности логико-теоретических принципов с положениями чистой рациональности в то время, когда и первые, и вторые принципы в

мышлении подчиняются одним и тем же правилам, а именно принципам чистой рациональности? Допустим, закон непротиворечия гласит: *из двух контраридикторных суждений только одно является истинным*. Из этого следует, что *очевидностью может отличаться только одно из двух контраридикторных суждений*. Но так ли это очевидно? Это очевидно лишь в той степени, в какой это логично, а логично, потому что очевидно. Речь, в конце концов, только о том, что положения очевидности логико-теоретических принципов имеют значимость лишь в случае значимости логико-теоретических принципов, которые, как предполагается, можно считать очевидными только в случае значимости положений очевидности. По всей вероятности, мы можем признать нечто данное логичное очевидным только тогда, когда нечто данное очевидное – логично. А что в итоге считать достоверным? То, что логично, или то, что очевидно? Как оказывается, ответить на этот вопрос однозначно нельзя.

Логика и мышление

В разное время идеалом рационального познания считалась *математическая дедукция*, а эталоном научной строгости – евклидова геометрия. Полагаясь на принципы чистых основоположений рассудка, философы стремились к открытию достоверного знания о мире. И зачастую случалось так, что за открытием подобного знания не следовало ничего, кроме «парадоксальной» очевидности. И в самом деле, есть ли хоть какой-то позитивный толк в подобных утверждениях: «Свершившееся не может быть несвершенным», «Если от равных частей отнять равные, останутся равные части», «Все происходящее имеет свою причину», «Из ничего ничего не бывает», «Целое больше своих частей» и т.д. Существует мнение, что данные предложения не несут никакой информативной нагрузки, пусть даже они и помогают мыслить ясно в тех обстоятельствах, когда неинформативная очевидность заменяет информативную путаницу.

Существует и отличное мнение. В частности, Лейбниц был убежден, что основная задача *анализа* как метода познания заключается в прояснении истинности суждений. Знание о мире может быть выражено либо в суждениях субъект-предикатной формы (S есть P), либо в предложениях, которые к данной форме возможно привести. Условием истинности данного знания выступает тождество субъекта и предиката. Для примера рассмотрим доказательство положения «Свершившееся не может быть несвершенным». Руководствуясь наставлением Лейбница, нам следовало бы рассуждать так: свершившееся (A) по определению есть то, что свершилось (A); несвершившееся ($\text{не-}A$) – то, что не свершилось ($\text{не-}A$). Согласно *аксиоме тождества*, всякая вещь может мыслиться только тождественной себе. Вывод: свершившееся может быть только свершенным ($A = A$), а значит, не может быть несвершенным ($A \neq \text{не } A$). Что и требовалось доказать. Таким образом, условием очевидности и критерием истинности знания рационалист Лейбниц выбирает аналитическую достоверность тождественных высказываний, замечая при этом, что «тождественные предложения являются первыми из всех и не допускают никакого доказательства, будучи тем самым истинными сами по себе» [3. С. 139]. Впрочем, с этим трудно поспорить, разве только спросив, что значит быть «истинным самим по себе» и что, по сути, представляет собой «тождественность»?

Правило 1. Никакая вещь не может мыслиться в отношении с собой

Что значит «быть тождественным себе»? Предполагает ли данный способ употребления языка обратное – то, что существует нечто, *нетождественное себе*? Как мне следует понимать выражения типа: $A = A$, $5 = 5$, $a + b = b + a$ и т.д., и почему для меня они должны быть очевидными? Существует ли хоть что-то за выражением $A = A$, что помогло бы мне убедиться в том, что *это* действительно так? Проще всего согласиться с Лейбницем и отказаться от попытки эксплицировать эпистемологические основания тождественности за недоказуемостью тождественных предложений, согласившись при этом с якобы указывающим на истинность исследуемой пропозиции «признаком» аналитической достоверности. Однако что, в позитивном смысле, я получу от признания такого рода достоверности, помимо повторения имени предмета? Допустим, если $A = A$, ничто не ограничивает меня утверждать, например, что $A = A = A$ и даже что $A = A = A = A \dots = A$ n раз. Обозначают ли выражения « $A = A$ » и « $A = A = A$ » одно и то же? Имеет ли смысл тавтология? Логические позитивисты, в частности, давали отрицательный ответ на этот вопрос, отмечая, что тавтология не является суждением, в ней ничего не утверждается, а значит, и никакого смысла она не несет. Что в таком случае доказывает тождество, если в нем нет смысла?

Важно понять, является ли тождественность «свойством». Пусть передо мной лежат две равноценные монеты. Могу ли я сказать, что они тождественны друг другу? Разумеется, нечто подобное можно было бы сказать в отношении номинальной стоимости денег. Это тем не менее никак не затрудняет понимание того, что в физическом смысле данные монеты друг другу не тождественны. Для убедительности я всегда могу сослаться на явное различие двух объектов, указав на следующие признаки: даты на чеканке свидетельствует о том, что монеты выпущены в разное время, у них свои потертости и царапины, более того, здесь и сейчас они занимают определенное место в пространстве – каждая свое. Теперь обратим внимание на одну из монет и спросим: тождественна ли она сама себе? Здравый смысл, подкрепленный законом тождества, подсказывает, что иначе как утвердительно ответить на поставленный вопрос невозможно. Но это и так ясно. Не совсем ясно следующее.

Согласно принципу непротиворечия, ни одна из вещей не может быть тождественна другой вещи. Верно ли тогда, что «быть тождественным себе» означает *не* быть тождественным ничему, кроме единственной вещи – той, о которой идет речь? Если речь идет о монете, которая сейчас передо мной лежит, то, согласившись с наличием у нее такого признака, как «тождественность себе», я вместе с тем вынужден признать ее нетождественной ни одной вещи в мире, не считая той, которая передо мной сейчас лежит. Тогда я спрашиваю: что остается от тождественной себе вещи, помимо тождественности ее самой себе? Иначе говоря, через какие признаки задается «тождественность вещи самой себе», если никаких признаков, не считая идентичных, по определению быть не может? Предположим, если мы говорим о том, что Швеция на карте Европы располагается севернее Польши, то мы, так или иначе, разделяем убеждение, согласно которому между Польшей и Швецией

существует соизмеримое с определенной величиной различие, обозначенное признаком «севернее». Аналогично в высказывании «Длина реки Амазонки на сотни километров превышает длину реки Янцзы» сообщается об определенном различии в соотношении физических признаков двух объектов. Отсюда я делаю вывод, что всякое реальное отношение между вещами складывается из различия между ними. Правильно ли тогда говорить о тождественности как об отношении между вещами, если никаких различий между таковыми в случае тождественности не предполагается, да и никаких вещей не предполагается, если не считать ту, о которой идет речь?

Правило 2. Никакая вещь не может мыслиться через отрицание собственной противоположности

Рассмотрим эту проблему с другой стороны. Может показаться, что тождественность немыслима, но декларируема. Есть ли в такой декларации хоть что-то содержательное? Как мне, положим, объяснить собеседнику, не владеющему русским, значение слова «стул» без того, чтобы соотнести значение данного слова с другими объектами (значениями), и без демонстрации объекта, именуемого «стулом»? Я не могу просто сказать: «Стул есть стул». Из этого ничего не следует. Тождественность не только неинформативна, она непредставима. Представима ли «нетождественность»? Нельзя сказать, что данный стул не тождествен себе, можно сказать, что данный стул не тождествен стулу в соседней комнате. Но будет ли в этом хоть какой-то смысл? Допустим, кто-то берется объяснить значение слова «стул», игнорируя *Правило 2*. Подобное объяснение могло бы выглядеть так: «Существует множество материальных объектов, составляющих предметы человеческого быта, но стул есть то, что не является всеми этими вещами, кроме одной – о ней я сейчас и пытаюсь вам рассказать, и эта вещь и есть „стул“». Данное объяснение абсурдно. Хотя, нужно отметить, эта тема тесно пересекается с другой важной проблемой логико-лингвистического анализа, и связана она с обсуждением *отрицательных фактов*. Скажу ли я нечто правдивое, если замечу, что в нашем мире не существует летающих кенгуру? Может показаться, что таким образом я укажу на конкретное положение дел, при котором такое явление, как летающие кенгуру, фактически замечено не было. Похожую точку зрения разделял Б. Рассел, высказываясь за позитивную ценность отрицательных фактов [9]. В конце концов «на языке можно „просто говорить“, не утверждая существование каких-либо сущностей» [10. С. 25], будто ничто не обязывает «говорящих» искать онтологическое оправдание коммуникации как таковой. Тогда пусть будет так: «В мире не существует ни одного объекта, подпадающего под понятие летающего кенгуру». Описывают ли данные слова хоть какие-то факты? Конечно, но совсем не те, о которых можно подумать в первую очередь. Кажется, факты таковы: 1) существует мир, о котором мы определенным образом осведомлены; 2) в этом мире существуют объекты, именуемые «кенгуру»; 3) о некоторых объектах этого мира принято говорить, что они «летают»; 4) о кенгуру такого говорить не принято.

И все-таки, даже в том случае, когда мы отрицаем существование чего-либо в мире, мы обращаемся к отношениям, которые могут и не случиться между вещами. Должны ли в действительности существовать данные отношения?

Проблема следования правилу

Принципиальным тут является следующий момент: о чем бы мы ни говорили, какие бы факты ни утверждали или отрицали, налицо сам факт того, что мы о чем-то говорим. Другое дело – понимать, почему мы говорим именно так, а не иначе. Стало быть, отдельный интерес в исследовании связи логико-теоретических и логико-психологических аспектов мышления представляет *употребление языка*. Для ясности рассмотрим одну из языковых игр, представленных Л. Витгенштейном в «Философских исследованиях»: «Я рисую голову. Ты спрашиваешь: „Кого она должна изображать?“ – Я отвечаю: „Это должен быть N“. – Ты: „Он не похож у тебя, это, скорее, M“. – Говоря, что мой рисунок изображает N, устанавливал ли я эту связь или сообщил о ней? Тогда какая связь существовала?» [11. С. 256–257]. Действительно, а существуют ли отношения между вещами *сами по себе*, в отрыве от правил, согласно которым они нами мыслятся? Могла бы, скажем, существовать хоть какая-то реальная связь между длиной Амазонки и Янцзы, если бы нам ничего не было известно о понятии длины? Физик П. Бриджмен, отстаивающий в начале XX в. принципы операционализма, по этому поводу замечает: «Что мы подразумеваем под длиной объекта? Очевидно, мы это знаем, если можем сказать, какую длину имеет каждый предмет, а для физика больше ничего не требуется. Для того, чтобы найти длину предмета, нам необходимо проделать некоторые физические операции. Таким образом, концепция длины является фиксированной, если только фиксированными являются операции, которые используются для измерения длины: то есть концепция длины определяется не больше и не меньше, как только набором необходимых операций» [12. С. 258]. В целом данная трактовка выглядит убедительной, если не учитывать одно обстоятельство. В попытке определить понятие длины я, по логике Бриджмена, должен совершить определенные физические операции, определяющие данное понятие. Но как мне совершить операции, которые помогли бы мне определить данное понятие, если мне неизвестно, какие именно действия я должен совершить? Судя по всему, до тех пор, пока мне неизвестно, что такое «длина», любые физические операции, совершенные мной, в том числе и те, что призваны объяснять понятие длины, не объясняют ничего кроме самих себя. Иронично по этому поводу замечает Витгенштейн: «Странно было бы утверждать: „Высота Монблана зависит от того, как на него восходят“» [11. С. 313]. Что в таком случае определяет способ употребления слова «длина»: физические операции, которые ничего кроме себя не определяют, или язык, определяющий и себя, и физические операции, определяющие понятие длины? В современной аналитической философии эта проблема известна как «парадокс следования правилу».

Правило 3. Никакое отношение само по себе немислимо без соотносимых вещей (?)

Впервые сформулированный Витгенштейном парадокс следования правилу гласит: «...ни один образ действий не мог бы определяться каким-то правилом, поскольку любой образ действий можно привести в соответствие с этим правилом... если все можно привести в соответствие с данным правилом, то все может быть приведено и в противоречие с этим правилом...» [11.

С. 163]. Прежде нужно понять: не противоречит ли данное утверждение себе же? Если это не так, следует подумать, о каких отношениях сообщается в данном фрагменте.

В широком смысле правило – это описание должных действий в заданных обстоятельствах. Описание невозможно без языка. Однако и языки бывают разные: естественные и формальные, вербальные и невербальные, искусственные, классические и т.д. Соответственно, и правила могут быть записаны различным образом в зависимости от выбранного языка. Это не меняет сути дела, правила фиксируют порядок действий в заданных обстоятельствах: «При пожаре звонить 01», «Уходя, закрывайте окна», «Не стой под стрелой», $\Rightarrow$, $\otimes$ и т.д. Из всех правил, представленных в языке, Витгенштейн выводит одно общее: *ни одно действие не определяется правилом*. В таком случае не становится ли более общим правилом следующий принцип: *если правил как таковых не существует, то не существует и правила, в соответствии с которым следовало бы думать, что правил не существует*. Как видно, данная интерпретация неконструктивна и вновь напоминает о радикально скептической позиции, в оптиках которой сам парадокс следования правилу оказывается лишенным смысла. Попробуем взглянуть на проблему иначе.

Важно не забывать о контексте. На протяжении всех «Философских исследований» Витгенштейн возвращается к ряду вопросов, часть из которых связана с анализом таких понятий, как «значение», «понимание» и «употребление». Отчетливо просматривается следующая связь данных понятий: значение языкового выражения суть его понимание, понимание его суть умение употреблять (воспроизводить) языковое выражение. Несколько упрощенно связь эта может быть представлена так: знание невозможно без понимания, понимание – без умения употреблять это знание. Спрашивается: как мне понять, что я делаю, если делаю я только то, что знаю? Из данного противоречия вытекает другое затруднение: если я не могу определиться с тем, *что* я делаю, могу ли я быть уверен в том, что делаю я вообще хоть что-то?

В действительности говорить о правилах имеет смысл, только если подразумевается, во-первых, что эти правила будет возможно исполнить, и, во-вторых, – будет тот, кто их исполнит [13]. Когда деятельность как продукт следованию правилам становится невозможной в силу отсутствия определенности относительно ее причин и результатов, то все, о чем в иных обстоятельствах уместно было бы высказаться как о деятельности, имеет место помимо всяких причин и результатов какой бы то ни было деятельности. Думая, что я поднимаю руку вверх, я вместе с тем не должен забывать, что прежде всего вверх поднимается моя рука. Действие, таким образом, если мы отказываем ему в возможности быть произвольным, суть не более чем событие, происходящее помимо всякой воли, вне всякого воления и без какого-либо участия субъекта волеизъявления. На языке «можно просто говорить», а вещи «просто происходят». Но даже в этом случае природа значения языковых выражений, описывающих те или иные события, остается неясна. Кажется, для того чтобы все сказанное человеком имело хоть какой-то смысл, ему следует сохранять веру в то, что все сказанное им хоть какой-то смысл да имеет. Неоднократно Витгенштейн задается вопросом о смысле слова «вера» и об онтологическом статусе значения этого слова. Является ли вера чувством?

А что значит «чувствовать»? Возможно ли, например, научить человека «тосковать»? Не странно ли услышать такой вопрос: «Что обязан делать “тоскующий”»? Кажется, ощущение и действие – понятия разнородные. При этом сложно представить известную убежденность без реального ее воплощения, выраженного в действии. Убежденного трезвенника никогда не встретишь с бокалом виски. Здесь нужно определиться: либо он *не* причастен тому, что *никогда* не случается по его воле, либо *всегда* по его воле не случается того, чему он вообще *не* причастен. Разночтение это интересно тем, что прямо указывает на один общий признак между двумя противоположными способами описания, а именно на *регулярность* происходящего. Тогда кстати спросить: если никакой воли и никаких убеждений в строго каузальном порядке не подразумевается, что в таком случае представляет собой регулярность в следовании тем или иным правилам? Чем в обход акционистской парадигмы считать регулярную деятельность в мире, в котором нет и не может быть «деятелей»? Событием? Но есть ли у этих событий последовательность?

Что определяет «последовательность»? Какое правило обязывает двойку следовать за единицей в натуральном числовом ряду; более того, что обязывает меня эту «двойку» искать? Положим, я формулирую для себя правило: соотносить числовые значения с кивком головы. Что мне в таком случае считать за «один» и за «два»? Если однажды, кивнув головой, я посчитаю это действие за «один», а кивнув в другой раз – за «два», как мне понять, что кивнул я один или два раза, если «один» и «два» обозначают только то, что, однажды кивнув головой, я кивнул ей снова? Получается, ничего кроме единичности из этого правила вывести я не могу. С другой стороны, определяет ли хоть что-то описание следующего вида: 2 есть то, что предшествует 3 и следует за 1? Или так: только 2 следует за 1 и предшествует 3. Будут ли границы у данного способа определения? Какое в таком случае разумное объяснение остается для *самого большого натурального числа*, которого по определению не может быть вовсе? Не следует ли из этого в строго философском смысле, что и ясного понимания «последовательности» не может быть? А если немного отвлечемся от излишнего теоретизирования и поразмыслить над тем, как осуществляется счет в действительности? Возможно ли пересчитать от 1 до ∞ ? Озаботившись этим вопросом всерьез, вскоре можно обнаружить, что задача эта не из легких. И дело даже не в том, что это невозможно в действительности, сколько в том, что это невозможно по формальным признакам правилообразования.

Правило, как уже отмечалось, фиксирует не только причины, но результаты деятельности. В чистом виде причина деятельности – событие, инициирующее действие, результат – событие манифестации действия. Деятельность, таким образом, есть последовательность событий в порядке: *причина – действие – результат*. Обозначим действие как X , причину – как Y , а результат – Z . Тогда темпоральная структура деятельности определяется общей формулой: событие $X(t')$ происходит по причине события $Y(t)$ и вслед за ним тогда и только тогда, когда $t' - t > 0$, с результирующим событием $Z(t'')$, где $t'' = t'$. Как видно из примера, деятельность не может быть безрезультатной уже только потому, что результат деятельности является одновременно ее же содержанием. В таком случае необходимо признать, что любое правилообра-

зование *ad infinitum* в силу некорректности самой постановки вопроса невозможно. Стало быть, ни о какой практической выполнимости счета неограниченной периодичности не может быть и речи, что, к слову, очевидно само по себе. Тем отчетливее просматривается мысль, что понятие последовательности требует иного – отличного от операционалистской трактовки – истолкования. Существует ли такое истолкование?

Резюме

На примере концепции чистой логики Гуссерля показано, что универалистская трактовка познания, решая проблему релятивизма, не отвечает на вопрос о происхождении собственных оснований. Допущение корреляции между логико-теоретическим и логико-психологическим содержанием мышления оказывается фиктивным. В применении к собственным положениям априоризм гуссерлевского типа демонстрирует формальную ограниченность и эпистемологическую неполноту. Это подтверждается попыткой экспликации эпистемологических оснований логико-теоретических принципов в границах формальной элиминации, после чего вопрос о существовании универсальных принципов в познании сводится к проблеме следования правилу. Интерпретация скептического аргумента Витгенштейна указывает на несводимость логико-теоретического знания к универсальным принципам мышления. Общим выводом может быть предположение о непоследовательности универалистских взглядов в эпистемологии.

Литература

1. Декарт Р. Рассуждение о методе. СПб., 2000. 335 с.
2. Спиноза Б. Этика. М. : Харвест : АСТ, 2001. 336 с.
3. Лейбниц Г.В. Сочинения : в 4 т. М. : Мысль, 1984. Т. 3. 734 с.
4. Кант И. Критика чистого разума. М. : Мысль, 1994. 591 с.
5. Гапонов А.С. Интерпретация познавательной деятельности в феноменолого-герменевтической перспективе // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2018. № 45. С. 5–13.
6. Гуссерль Э. Логические исследования. Т. I : Прологомены к чистой логике / пер. с нем. Э.А. Бернштейна ; под ред. С.Л. Франка ; новая ред. Р.А. Громова. М. : Академический проект, 2011. 253 с.
7. Суровцев В.А. О соотношении категорий *to lekton* в философии стоиков и *Sinn* в семантической теории Г. Фреге: вопрос об их эпистемологическом статусе // Scholae. Античная философия и классическая традиция. 2018. № 12.2. С. 499–522.
8. Антух Г.Г. Философия очевидности в чистой логике Э. Гуссерля // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2016. № 4 (36). С. 217–224.
9. Рассел Б. Избранные труды / пер. с англ. В.В. Целищева, В.А. Суровцева ; вступ. ст. В.А. Суровцева. Новосибирск : Сиб. ун-в. изд-во, 2009. 260 с.
10. Ладов В. А. Формальный реализм. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2011. 132 с.
11. Витгенштейн Л. Философские исследования // Философские работы. М. : Гнозис, 1994. Ч. 1. 612 с.
12. Шульц Д.П., Шульц С.Э. История современной психологии / пер. с англ.: А.В. Говорунов, В.И. Кузин, Л.Л. Царук ; под ред. А.Д. Наследова. СПб. : Евразия, 2002. 532 с.
13. Антух Г.Г. К вопросу о психологизме: проблема логического правоприменения // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2015. № 4 (32). С. 151–158.

Gennady G. Antukh, Tomsk Scientific Center, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russian Federation); Siberian State Medical University (Tomsk, Russian Federation).
E-mail: g.antukh@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 49. pp. 5–16.

DOI: 10.17223/1998863X/49/1

EVIDENCE, THINKING, RULE-FOLLOWING

Keywords: evidence; relativism; skepticism; logic; thinking; rule-following paradox.

The starting point of the study is the question of the origin of evidence in cognition. On the example of the concept of pure logic by Edmund Husserl, the role of evidence in the foundation of logico-theoretical knowledge is considered. The advantages of this concept are demonstrated in opposition to the relativistic interpretation of cognition. The principle of the analytic truth of identity sentences with a problematization of the distinction between pure rationality and real conditions of rule implementation is criticized. The connection between language and thinking in the context of the relativistic argument of the “late” Ludwig Wittgenstein is discussed. The results of the research show that the universalistic interpretation of cognition in Husserl’s sense resolves the problem of relativism, but does not answer the question about its own foundations. The assumption of a necessary correlation between the logico-theoretical and logico-psychological content of thinking in cognition turns out to be fictitious. When applied to its own principles, the apriorism of Husserl’s type demonstrates formal limitations and epistemological incompleteness. This is confirmed by an attempt to explicate the epistemological foundations of logico-theoretical principles within a formal self-definition. Then the question of the existence of universal principles in cognition is reduced to the rule-following problem. The interpretation of Wittgenstein’s skeptical argument points to the irreducibility of logico-theoretical knowledge to universal principles of thinking. From this, a conclusion is made about the incoherence of universalistic views.

References

1. Descartes, R. (2000) *Rassuzhdenie o metode* [Discourse on the method]. TRanslated from French by N.N. Sretensky, M.M. Pozdnev, A. Guterman. St. Petersburg: Azbuka-Klassika.
2. Spinoza, B. (2001) *Etika* [Ethics]. Translated from Latin by V.I. Modestov. Moscow: Kharvest.
3. Leibniz, G.W. (1984) *Sochineniya v chetyrekh tomakh* [Works in four vols]. Vol. 3. Translated from German. Moscow: Mysl'.
4. Kant, I. (1994) *Kritika chistogo razuma* [Criticism of Pure Reason]. Translated from German. Moscow: Mysl'.
5. Gaponov, A.S. (2018) Interpretation of cognitive activity in the phenomenological hermeneutic perspective. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 45. pp. 5–13. (In Russian).* DOI: 10.17223/1998863X/45/1
6. Husserl, E. (2011) *Logicheskie issledovaniya* [Logical Investigations]. Vol. 1. Translated from German by E.A. Bernstein. Moscow: Akademicheskiy proekt.
7. Surovtsev, V.A. (2018) To lekton in Stoic philosophy and Sinn in G. Frege’s semantic theory: the question of their epistemological status. *Schola. Antichnaya filosofiya i klassicheskaya traditsiya – ΣΧΟΛΗ. Ancient Philosophy and the Classical Tradition. 12(2). pp. 499–522. (In Russian).*
8. Antukh, G.G. (2016) Philosophy of evidence in E. Husserl's pure logic. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 4(36). pp. 217–224. (In Russian).* DOI: 10.17223/1998863X/36/22
9. Russell, B. (2009) *Izbrannye trudy* [Selected Works]. Translated from English by V.V. Tselishchev, V.A. Surovtsev. Novosibirsk: Sib. univ. izd-vo.
10. Ladov, V.A. (2011) *Formal'nyy realizm* [Formal realism]. Tomsk: Tomsk State University.
11. Wittgenstein, L. (1994) *Filosofskie raboty* [Works on Philosophy]. Moscow: Gnozis.
12. Schulz, D.P. & Schulz, S.E. (2002) *Istoriya sovremennoy psikhologii* [A History of Modern Psychology]. Translated from English by A.V. Govorunov, V.I. Kuzin, L.L. Tsaruk. St. Petersburg: Evraziya.
13. Antukh, G.G. (2015) To a question about the psychologism: problem of logical rule-implementation. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 4(32). pp. 151–158. (In Russian).*

УДК 165.2

DOI: 10.17223/1998863X/49/2

Д.Н. Боровинская, В.А. Суровцев

РЕФЛЕКСИЯ И ПРИРОДА КРЕАТИВНОСТИ¹

Рассматривается категория креативности, характеризующая процесс, состоящий из последовательных этапов, включающих характеристики личности и способы их развития. С точки зрения мыслительных процессов природа креативности связывается с механизмами рефлексии. Показано, каким образом креативность связана с тем, как воспринимается мир с точки зрения идеальных образов, зависящих от предшествующих, настоящих и будущих состояний сознания.

Ключевые слова: мышление, процесс, структура, креативность, коммуникация, деятельность, рефлексия.

Определенный образ мышления порождает соответствующие формы общественного сознания. Актуальными становятся изучение и использование знаний о механизмах мышления, результатом которых являются необходимые современному обществу продукты, в частности цифровая техника и семиотические системы, являющиеся средствами познавательной и управленческой деятельности. Исследования в области методологии и теории мышления особое место в данном случае отводят рефлексии. Выявление специфики мышления, направленного на себя, включает детальное изучение таких понятий, как «деятельность», «действие», «операция», «мотив», «алгоритм».

В.М. Розин, обращаясь к природе рефлексии, в качестве условий таковой выделяет следующее. Во-первых, онтологией рефлексии является деятельность (сознания, самосознания, индивидуальная или массовая). Во-вторых, необходимы контекст и функция рефлексии, посредством которых накапливаются знания в форме понятий и представлений. В-третьих, границы существования рефлексии задаются принципом «универоумельности», т.е. рефлексия как механизм принадлежит тому же целому, к которому она применяется. В-четвертых, рефлексия мыслится как в искусственном, так и в естественном залоге (деятельность над душой и деятельность самой души) [1. С. 13].

Несколько иной подход реализуется в компетентностном подходе, характерном для современной системы образования. Так, В.С. Лазарев, ссылаясь на результаты предыдущих исследований в области психологии, предлагает логическую схему проектирования состава и содержания требований к результатам образования: деятельность – реализуемые в ней субъектом функции – решаемые задачи – действия – способы выполнения действий – содержание компетенций. В основе данной схемы лежит культурный способ действий, а именно: корректировка способа выполнения действия в ситуациях, когда фактически получаемый этим способом результат не соответствует

¹ Работа подготовлена при поддержке Российского научного фонда, грант «Аналитическая философия и современные исследования в области социальной теории», № 18-78-10082.

требуемому, осуществляется путем сопоставления нормативного (культурного) способа действия и фактически реализованного способа [2]. В этой ситуации в качестве одного из условий формирования умения решать практические задачи профессиональной деятельности В.С. Лазарев определяет рефлекссию обучающихся как выделение недостатков своего способа действия.

С позиции научно-технического прогресса проблема рефлексии в образовательной деятельности решается в контексте важнейших элементов творческих процессов. Есть, например, мнение, что рефлексия выступает в качестве механизма развития творчества. При соблюдении условий постоянного совершенствования образования актуальным становится определение философско-методологических оснований взаимосвязи рефлексии и креативности. Они, безусловно, позволяют расширить рамки представлений о результатах образовательного процесса, сформированных в отечественной науке, и наметить оптимальные пути для успешной модернизации образования, «где главным действующим лицом становится профессионал, образование и опыт которого позволяют ему отвечать требованиям, предъявляемым современным обществом. Конкурентное преимущество такого специалиста – это умение своевременно выходить из зоны комфорта, мыслить нестандартно, вне шаблона, и, конечно, умение решать сложные задачи» [3].

Проблема данного исследования предопределена тем, что если исследования рефлексии в методологическом, практическом и теоретическом плане носят аргументированный характер, то в отношении исследования креативности имеется весьма противоречивый набор доказательств. При этом если вопросы рефлексии раскрываются и в философии, и в психологии, то проблемы исследования креативности принято соотносить преимущественно с наработками в области психологии. Связано это, с одной стороны, с выявлением базовых признаков креативности с учетом сущностных составляющих человека, а с другой – с распространением инструментов и методов ускорения творческого процесса. Однако существующие подходы к изучению креативности в образовательном процессе не ориентируют на выработку универсальных, т.е. философско-методологических, оснований в построении модели мышления, понимания и рефлексии в структуре деятельности и, как следствие, не могут соответствовать ориентирам развития современного образования. Рефлексия же в образовательном процессе определяется как анализ и оценка обучающимися своего способа действия и носит сугубо односторонний характер. Здесь акцент переносится на деятельностный подход, трактуемый исключительно с позиции психологии как способ формирования функциональной структуры психики [4].

Знание о креативности в контексте образования является не только знанием о среде, в которой для нее имеются условия (климат, ситуация, место), о креативном процессе, состоящем из конкретных последовательных этапов (от постановки проблемы до оценки и доработки его деталей), о личностных характеристиках человека и способах их развития, о креативном продукте, но и знанием о возможностях субъекта познания, о структуре познавательной деятельности, формах знания. Возникающими в области образования новыми познавательными ориентирами и способами работы со знанием и обусловлены требования к детальному изучению онтологических и гносеологических установок. Креативность есть категория, открытая для самых различных ин-

терпретаций, каждая из которых может иметь свой особый смысл и область приложения. С точки зрения мыслительных процессов нас не будут интересовать конечный продукт мышления и его сущностные характеристики. Главную посылку дальнейшего изложения составит тезис, согласно которому природа креативности с позиции мышления обусловлена спецификой механизмов рефлексии.

Обращение к контексту рефлексии в ходе определения проблемного поля мышления, связанного с креативностью, представляется одним из возможных шагов, позволяющих выявить конкретные аспекты этой проблемы и наметить некоторые пути ее решения. Несмотря на достаточно широкое представление самых различных философских схем и трактовок термина «рефлексия», уточним его границы и будем использовать его в конкретном значении – как естественную способность мышления в онтологическом плане, будем понимать его как мыслительную деятельность, направленную на преодоление «ситуаций разрыва», на решение задач, для которых не срабатывают традиционные способы и средства. И в гносеологической экспликации термина акцентируем внимание на дуальности, которая реализуется через предметность, т.е. формирование четких, ясных мыслей, и вариативность мышления, в том числе и посредством языка. Далее с учетом существующих традиций философского осмысления мыслительных процессов для обоснования нашего тезиса выделим онтологические и гносеологические предпосылки взаимосвязи рефлексии и креативности.

Реальное сближение рефлексии и креативности как результата мыслительной деятельности, способствующей решению задач, для которых не срабатывают традиционные способы, прослеживается в контексте распространения исследований в области мышления, уточняющих и конкретизирующих данные понятия через устоявшиеся категории в онтологическом плане, такие как структура, процесс [5]. В рамках же гносеологических исследований вопросы взаимосвязи рефлексии и креативности определим через традицию собственно рефлексивного анализа сознания, ведущую к прояснению идеальных значений и связанную с конструированием идеальных объектов, и традицию понимания, ведущую к уяснению тех смыслов, которые проявляются в межличностном общении, в процессе коммуникации.

Согласно *традиции рефлексии* «мышление понимается как предметная данность, непосредственная очевидность, а процедуры и способы наблюдения, описания и репрезентации, характерные для предметно-ориентированного мышления, не только сохраняются, но и приобретают философско-гносеологическую санкцию. Можно сказать, что рефлексия – это философско-гносеологическая экспликация характеристик предметно-ориентированного сознания, придание им четкости, ясности и конструктивной силы» [6. С. 15]. Мы не всегда можем выразить идею словами, потому что не знаем еще саму идею: отсутствие опыта обозначений форм (в виде слов, образов, звуков) напрямую связано с отсутствием готовых идей. Соответственно предметное мышление проявляется в описании, оформлении и дальнейшей реализации идей, в том числе обладающих свойствами уникальности, неповторимости, соответствия духу времени.

Важным является и то, что в традиции рефлексии наряду с объектной трактовкой мышления и исследованием мышления как самого себя внимание

сосредоточивается на смыслополагающей деятельности сознания, которая фиксируется в формировании и выявлении идеальных образов и значений, относящихся к категориям разума. Так или иначе, «природа идеального коренится в механизмах рефлексии, выводима из них. Вне отношения к рефлексии категория идеального теряет смысл, ибо она как раз и характеризует сознание с точки зрения свойства, обнаруживаемого им в актах осознания» [7. С. 20]. При этом отметим, что если рефлексия есть конструирование идеального, то процесс объективации рефлексии – отклонение от этого идеального, изменение схем деятельности и мысли есть основа для формирования креативного результата. В свое время еще В.В. Давыдов отмечал, что формирование умственных действий предполагает творческую активность субъекта. При этом переход от материальных действий к идеальным тесно связан с привлечением и производством самим субъектом средств символизации [8]. Креативность зависима от того, как воспринимается мир, от знаний идеальных образов в какой-либо области, которые формируются с помощью рефлексии, так как достигается самосоотнесение сознания с другим сознанием, с предшествующим и будущим состоянием сознания и действия. Именно сравнение идеального образа с реально существующими и реализуемыми в повседневной деятельности позволяет формировать новый, уникальный, соответствующий духу времени результат мышления. Креативность – это не идеальный образ, скорее, отклонение от него. И в данном случае отклонение – «феномен неполноты выделения исследуемой системы» [9] – проблема, возможной решением которой является создание уникального продукта.

Направленность рефлексии позволяет выделить и другую традицию – *традицию понимания*, раскрывающую возможности определения оснований креативности. Если традиция рефлексии сосредоточила внимание на процессах, проясняющих идеальные значения, идеальный образ-результат, то в традиции понимания основной акцент делается на вариативность, изменчивость смысла, вплетенного в акты коммуникации, в том числе и языковой. Ибо «первым, с чем сталкивается человек в своей сознательной деятельности и что он имеет в качестве исходного материала для своего мышления, являются отнюдь не вещи и предметы практико-мыслительной деятельности, а именно значения, связанные со словами используемого им языка, и те смыслы, которые эти слова приобретают в разных контекстах речи. По сути дела, вещи и предметы мысли в их объектном натуральном существовании являются не чем иным, как определенным видом культурных значений. И этот вид культурных значений возникает лишь в определенных условиях и предполагает строго определенные средства и процедуры человеческой деятельности» [10. С. 65].

Особенность понимания заключается в том, что в процессе коммуникации не всегда восстанавливаются именно тот смысл и то содержание, которые предполагались на стадии создания. Очень часто понимание включает выявление в одном и том же тексте разных смыслов и соответственно этому строит разные поля и разные структуры содержания. Именно благодаря тому, что люди понимают по-разному, восстанавливают разный смысл соответственно различию своих позиций и определяемых этим ситуаций, и возникает рефлексия. Правоммерно и мнение, что «не всякое языковое проявление есть выражение мысленного образа, понятия; в знаках языка в ряде случаев

могут выражаться и чувственные образы в чистом виде» [11]. В свою очередь, обобщение результатов чувственного познания конкретных предметов и явлений есть основание для формирования абстрактных понятий.

Понимание в контексте коммуникации «выступает как определенная (смысловая) организация знаковой формы текста, осуществляющаяся в ходе соотнесения элементов текста с объектно-операциональными элементами ситуации (можно говорить, что таким образом восстанавливается структура смысла, заложенная в текст процессом мышления), и структурирование плоскости содержания соответственно смысловой структуре текста» [12]. Так или иначе, понимание опосредовано интерпретацией и наделяется смыслом, так как мышление всегда включено в контекст человеческого общения, функционирует в сети социокультурных связей, в определенной исторической ситуации. С одной стороны, фокусировка смыслов посредством предметного мышления и движение по образам, и с другой – расширение смыслов и содержаний в результате интерпретации способствуют созданию мира в нашей голове, который соткан из миллионов образов, мыслей, в том числе и не всегда готовых шаблонов и известных моделей. Мир, в котором не существует сопротивления реальности, отсутствуют понятия времени и пространства. Все смыслы абстрактного мира существуют вечно, не стареют, не покидают нас, только если мы сами этого не захотим. И выход за рамки паттернов мышления позволяет выявлять мыслимые идеи прошлого и будущего, определяя бесконечность знания.

Феномен креативности тесным образом переплетается с механизмами рефлексии как способности естественного мышления на этапе между предметным и абстрактным мышлением. При этом «рефлексия является существенным механизмом организации мышления, ориентированного на создание креативных результатов» [13]. Сегодня традиционные подходы, трактующие рефлекссию как предметную данность, уступают место подходам, определяющим рефлекссию через мышление в контексте акта коммуникации: актуальным становится изучение и дальнейшее применение на практике «мышления не о чем-то» предметно, а мышления в мире человеческой коммуникации. И знание в этом случае исполнено ситуативным смыслом.

Рефлексия на уровне предметно-ориентированного мышления предполагает воспроизводимую деятельность, которая является рационально реконструируемой. «Такая деятельность имеет сложную структуру, ее объектом является человек или группа людей, а целью – воздействие на тонкие и индивидуализированные структуры духовного мира» [14. С. 15]. Понимание воспроизводимой деятельности как многократно повторяемой одной и той же деятельности позволяет рассматривать рефлекссию как деятельность, направленную на получение нового знания, нового видения, исходя из старого. Еще Дж. Локк соотносил внутренний опыт с рефлексией, которая представляет познание души о своей собственной деятельности, получаемое через самонаблюдение [15]. Тогда как в условиях абстрактного мышления возможна невоспроизводимая деятельность, предполагающая создание нового, ранее не существовавшего.

«Рефлексия – это умение видеть все богатство содержания в ретроспекции (т.е. обращаясь назад: что я делал?) и немножко в проспекции. Проектирование и планирование возникают из проспективной, вперед направленной

рефлексии, когда человек начинает думать не „что я сделал?“, а так: „представим себе, что я вот это сделаю, и что дальше получится?“ Такое проигрывание вперед, перспективная рефлексия выливается дальше в планирование, проектирование, программирование и т.д.» [16. С. 155]. Креативность, существуя на стыке между предметным и абстрактным мышлением, в соотношении с деятельностью по решению задач, для которых не срабатывают традиционные способы и средства, может исходить не только из предыдущего опыта, но и из соответствия духу времени, ориентируя на будущность и позволяя создавать то, чего не было ранее. Если проблема, которая возникает с точки зрения специфики рефлексивных процессов – конфликт речи и мышления, то выявление природы креативности возможно только в аспекте противопоставления обозначенных традиций. Для человека, который регулярно занимается созданием и вербализацией идей проектов, креативных концепций, это проблема повседневная – фиксация идеи так, чтобы замыслы (порой неясные), образы, системы «внутри головы» превратились в понятный продукт, а именно во фразу, с помощью которой можно сделать первый шаг к воплощению идеи. Ведь как только идея озвучена, она в буквальном смысле существует, и с ней дальше можно работать: превращать ее в предметы, схемы, макеты, планы и образы. Можно эту идею менять, адаптировать, развивать, делать масштабнее или, наоборот, сужать.

В аспекте анализа традиции рефлексии и традиции понимания уточним философско-методологические основания взаимосвязи креативности и рефлексии. К числу существенных положений относятся следующие. Во-первых, по содержанию – это дуальность рефлексивных процессов, которые, с одной стороны, ведут к сдвигу в идеальных образах и связаны с конструированием идеальных объектов, с другой – это вариативность, изменчивость смысла, включенного в акты коммуникации, в том числе и языковой. И здесь феномен креативности переплетается с механизмами рефлексии как способности естественного мышления – на этапе между предметным и абстрактным мышлением. Во-вторых, по форме – это практическая деятельность, связанная с решением задач, для которых не срабатывают традиционные способы и средства. С позиции результата этой деятельности допустима и воспроизводимость как рациональная реконструируемость в рефлексивной картине – получение нового знания, нового видения, исходя из старого, а также невозможность, предполагающая создание нового, ранее не существовавшего результата мыслительной деятельности. Выявление и применение философско-методологических основ развития интеллектуальных процессов, связанных с появлением новых уникальных, необходимых обществу продуктов, способствует построению актуальной модели мышления, понимания и рефлексии в структуре обучающей деятельности и в дальнейшем будет соответствовать ориентирам развития образования.

Литература

1. Розин В.М. Методологические заметки о природе рефлексии // Рефлексия в науке и обучении : тез. докл. и сообщ. к науч.-метод. конф. Новосибирск, 1984. С. 12–14.
2. Лазарев В.С. Ключевые проблемы модернизации педагогического образования // Профессиональное образование. Столица. 2017. № 11. URL: <http://m-profobr.com> (дата обращения: 03.06.2019).

3. *Боровинская Д.Н.* Креативность как составляющая западной модели образования // Философия и гуманитарные науки в информационном обществе. Санкт-Петербург, 2018. URL: <http://fikiu.ru/?p=3449> (дата обращения: 03.06.2019).
4. *Лазарев В.С.* К проблеме модернизации педагогического образования // Педагогика. 2018. № 1. С. 3–13.
5. *Боровинская Д.Н.* О некоторых методологических проблемах исследования креативного мышления как процесса // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2017. № 38. С. 7–14.
6. *Огурцов А.П.* Альтернативные модели анализа сознания: рефлексия и понимание // Проблемы рефлексии. Современные комплексные исследования. Новосибирск : Наука, 1987. С. 13–19.
7. *Антипов Г.А.* Философская рефлексия и природа идеального // Проблемы рефлексии. Современные комплексные исследования. Новосибирск : Наука, 1987. С. 20–26.
8. *Давыдов В.В., Андронов В.П.* Психологические условия происхождения идеальных действий // Вопросы психологии. 1979. № 5. С. 40–54.
9. *Розов М.А.* К методологии анализа феномена идеального // Проблемы рефлексии. Современные комплексные исследования. Новосибирск : Наука, 1987. С. 32–42.
10. *Щедровицкий Г.П.* Мышление–Понимание–Рефлексия. М. : Наследие ММК, 2005. 800 с.
11. *Щедровицкий Г.П.* «Языковое мышление» и его анализ // Вопросы языкознания. 1957. № 1. С. 56–68.
12. *Щедровицкий Г.П., Якобсон С.Г.* Заметки к определению понятий «мышление» и «понимание». URL: <http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/67> (дата обращения: 03.06.2019).
13. *Боровинская Д.Н., Суrowцев В.А.* Креативность и мышление: категориальная характеристика // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2019. № 47. С. 15–24.
14. *Вутебский Л.Я.* К построению программы гносеологического исследования рефлексии как механизма воспроизводства деятельности // Рефлексия в науке и обучении : тез. докл. и сообщ. к науч.-метод. конф. Новосибирск, 1984. С. 14–17.
15. *Локк Дж.* Избранные философские произведения : в 2 т. М., 1960.
16. *Щедровицкий Г.П.* Оргуправленческое мышление: идеология, методология, технология (курс лекций). 2-е изд. М. : Путь, 2003. 480 с. (Из архива Г.П. Щедровицкого. Т. 4).

Daria N. Borovinskaya, Surgut State Pedagogical University (Surgut, Russian Federation).

E-mail: sweetharddk@mail.ru

Valeriy A. Surovtsev, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation); Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation).

E-mail: surovtsev1964@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 49. pp. 17–25.

DOI: 10.17223/1998863X/49/2

REFLECTION AND THE NATURE OF CREATIVITY

Keywords: thinking; process; structure; creativity; communication; activity; abstract thinking; objective thinking; reflection.

In the introduction part of the article, the authors prove the topicality of the issue, set the aim and formulate the problem of the research. According to the research in the field of the methodology and theory of thinking, a special place here is given to reflexive activity associated with the reflection of the main ways of life and human existence. The questions of reflection are studied in various subject areas. Today, some of the results of these studies are used from the perspective of the competence-based approach implemented in the modern education system. If conditions for a continuous improvements of the relationship between reflection and creativity becomes relevant, which makes it possible to expand the scope of ideas about the results of the educational process formed in the Russian science and outline the best ways for a successful modernization of education. The main thesis that the authors formulate is that the nature of creativity from the perspective of thinking stems from the specifics of the mechanisms of reflection. The authors determine the interrelation of reflection and creativity through the tradition of reflexive analysis of consciousness which clarifies ideal meanings and is associated with the construction of ideal objects and through the tradition of understanding which clarifies

meanings that manifest themselves in communication. Important is the fact that in the tradition of reflection, along with the objective interpretation of thinking and the study of thinking as oneself, attention focuses on the meaningful activity of consciousness. This activity is fixed in the formation and identification of ideal images and meanings related to categories of mind. Creativity is dependent on how the world is perceived, on the knowledge of ideal images in any field which are formed through reflection, since self-association of consciousness with another consciousness, with the previous and future states of consciousness and action is achieved. It is the comparison of an ideal image with real-life images realized in daily activities that allow forming a unique new result of thinking that corresponds to the spirit of the time. Creativity is not an ideal image, rather a deviation from it. In the tradition of understanding, the main focus is on the variability, the variability of the meaning interwoven into the acts of communication, including the linguistic one. Expansion of meanings and content as a result of interpretation contribute to the creation of the world in our heads. This world is woven from millions of images, thoughts, including patterns that are not always ready-made, and popular models. A world in which there is no resistance to reality has no concepts of time and space. All meanings of an abstract world exist forever, do not grow old, do not leave us unless we want it. Going beyond the patterns of thinking allows identifying the conceivable ideas of the past and the future that determine the infinity of knowledge. The phenomenon of creativity is closely intertwined with the mechanisms of reflection as an ability of natural thinking, at the stage between subject and abstract thinking. In conclusion, the authors identify the following philosophical and methodological foundations of the relationship between creativity and reflection. Firstly, in content, it is the duality of reflexive processes which lead to a shift in ideal images and are associated with the construction of ideal objects, on the one hand, and the variability, changeability of the meaning included in the acts of communication, including the linguistic one, on the other. And here the phenomenon of creativity is intertwined with the mechanisms of reflection as an ability of natural thinking – at the stage between subject and abstract thinking. Secondly, in form, it is a practical activity related to solving problems for which traditional methods and means do not work. From the standpoint of the result of this activity, reproducibility as a rational reconstructibility in the reflexive picture is admissible: obtaining new knowledge, a new vision proceeding from the old one. Non-reproducibility that involves the creation of a new, previously non-existent result of mental activity is also possible.

References

1. Rozin, V.M. (1984) Metodologicheskie zametki o prirode refleksii [Methodological notes on the nature of reflection]. In: Ladenko, I.S. (ed.) *Refleksiya v nauke i obuchenii* [Reflection in Science and Education]. Novosibirsk: [s.n.]. pp. 12–14.
2. Lazarev, V.S. (2017) Klyuchevye problemy modernizatsii pedagogicheskogo obrazovaniya [Key problems of modernisation of pedagogical education]. *Professional'noe obrazovanie. Stolitsa*. 11 [Online] Available from: <http://m-profobr.com>. (Accessed: 3rd June 2019).
3. Borovinskaya, D.N. (2018) Creativity as a Component of the Development of the Western Education Model. *Filosofiya i gumanitarnye nauki v informatsionnom obshchestve*. [Online] Available from: <http://fikio.ru/?p=3449>. (Accessed: 3rd June 2019). (In Russian).
4. Lazarev, V.S. (2018) K probleme modernizatsii pedagogicheskogo obrazovaniya [On modernization of pedagogical education]. *Pedagogika*. 1. pp. 3–13.
5. Borovinskaya, D.N. (2017) About some methodological problems of research of creative thinking as a process. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 38. pp. 7–14. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/38/1
6. Ogurtsov, A.P. (1987) Alternativnye modeli analiza soznaniya: refleksiya i ponimanie [Alternative models of the analysis of consciousness: reflection and understanding]. In: Ladenko, I.S. (ed.) *Problemy refleksii. Sovremennye kompleksnye issledovaniya* [Problems of Reflection. Modern Complex Research]. Novosibirsk: Nauka. pp. 13–19.
7. Antipov, G.A. (1987) Filosofskaya refleksiya i priroda ideal'nogo [Philosophical reflection and the nature of the ideal]. In: Ladenko, I.S. (ed.) *Problemy refleksii. Sovremennye kompleksnye issledovaniya* [Problems of Reflection. Modern Complex Research]. Novosibirsk: Nauka. pp. 20–26.
8. Davydov, V.V. & Andronov, V.P. (1979) Psikhologicheskie usloviya proiskhozhdeniya ideal'nykh deystviy [Psychological conditions of the origin of ideal actions]. *Voprosy psikhologii*. 5. pp. 40–54.
9. Rozov, M.A. (1987) K metodologii analiza fenomena ideal'nogo [On the methodology of analysis of the phenomenon of the ideal]. In: Ladenko, I.S. (ed.) *Problemy refleksii. Sovremennye*

kompleksnye issledovaniya [Problems of Reflection. Modern Complex Research]. Novosibirsk: Nauka. pp. 32–42.

10. Shchedrovitskiy, G.P. (2005) *Myshlenie – Ponimanie – Refleksiya* [Thinking – Understanding – Reflection]. Moscow: Nasledie MMK.

11. Shchedrovitskiy, G.P. (1957) “Yazykovoe myshlenie” i ego analiz [“Language thinking” and its analysis]. *Voprosy yazykoznaviya*. 1. pp. 56–68.

12. Shchedrovitskiy, G.P. & Yakobson, S.G. (n.d.) *Zametki k opredeleniyu ponyatiy “myshlenie” i “ponimanie”* [Notes to the definition of the concepts of “thinking” and “understanding”]. [Online] Available from: <http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/67>. (Accessed: 3rd June 19).

13. Borovinskaya, D.N. & Surovtsev, V.A. (2019) Creativity and thinking: Categorical characteristics. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 47. pp. 15–24. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/47/2

14. Vitebskiy, L.Ya. (1984) K postroeniyu programmy gnoseologicheskogo issledovaniya refleksii kak mekhanizma vosпроизводства deyatel'nosti [On the construction of the program of epistemological research of reflection as a mechanism for the reproduction of activity]. In: Ladenko, I.S. (ed.) *Refleksiya v nauke i obuchenii* [Reflection in Science and Education]. Novosibirsk: [s.n.]. pp. 14–17.

15. Locke, J. (1960) *Izbrannyye filosofskie proizvedeniya v dvukh tomakh* [Selected philosophical works in two volumes]. Translated from English by A.N. Savin. Moscow: [s.n.].

16. Shchedrovitskiy, G.P. (2003) *Orgupravlencheskoe myshlenie: ideologiya, metodologiya, tekhnologiya (kurs lektsiy)*. Iz arkhiva G.P. Shchedrovitskogo. Lektsiya 5 [Organizational thinking: ideology, methodology, technology (a lecture course). From G.P. Schedrovitsky's archive. Lecture 5]. 2nd ed. Moscow: Put'.

УДК 162

DOI: 10.17223/1998863X/49/3

Д.В. Зайцев, Н.В. Зайцева

ИСЧИСЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ¹

Предлагается натуральный вариант типового лямбда-исчисления понятий как функциональных абстрактов в духе Фреге. Дается общая характеристика подхода, разъясняется функциональная трактовка понятия, характеризуется ее когнитивно-феноменологическая интерпретация. Приводится формулировка исчисления как такового и обсуждается смысл некоторых правил вывода. В заключительной части статьи очерчивается перспектива исследований в данной области.

Ключевые слова: понятие, когнитология, типовое лямбда-исчисление, натуральное исчисление, интенциональность.

Введение

Эта статья продолжает цикл исследований, с одной стороны, посвященных развитию функциональной экспликации понятий с помощью формализмов (типового) лямбда-исчисления, а с другой – связанных с построением интенциональной когнитивно-феноменологически обоснованной теории понятия. В работе будет представлен натуральный вариант исчисления конкретных понятий. Для облегчения восприятия материала вводная часть содержит обзор проблематики и краткое изложение полученных ранее результатов. Далее излагается собственно само исчисление и обосновываются использованные при его построении дедуктивные постулаты. В заключении по традиции подводятся итоги исследования и намечаются перспективы его развития.

Понятие уже многие годы (если не века) является предметом исследования логиков, психологов, а в последнее время – специалистов в областях когнитивных и компьютерных наук. Несмотря на богатую историю, прогресс в этой сфере весьма условен. Так, в 1967 г. один из разработчиков современной версии классической теории понятия Е.К. Войшвилло в своей программной книге констатировал: «Остается невыясненным основное: что представляет собой понятие как форма мысли?» [1 С. 101]. По прошествии 50 лет Деннис Эрл (Dennis Earl) в соответствующей статье Интернет-энциклопедии философии замечает, что «исследования природы понятий продолжают как в философии, так и в психологии, но согласия относительно предпочтительной теории понятия не достигнуто» [2]. Имеющиеся на сегодняшний день разновидности теоретического осмысления понятия существенно разнятся. Укажем лишь некоторые наиболее распространенные трактовки.

Классическая теория понятия исходит из трактовки понятия как абстрактной сущности (мысль, результат мыслительной деятельности и т.п.), задаваемой дифференциальной структурой, характеризующей необходимые

¹ Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 19-011-00293).

и достаточные признаки, которыми должны обладать элементы объема понятия. В современном варианте эта теория представлена в работах Е.К. Войшвилло, В.А. Бочарова и В.И. Маркина. Согласно *прототипической теории понятия* (или близкой теории экземпляров) [3] понятие представляет собой ментальную репрезентацию, в центре которой находится образец – прототип или наиболее типичный представитель определенного класса, остальные члены категории связаны с образцом отношением сходства. *Теория теорий понятия* (theory-theory) [4] предполагает трактовку понятия как каузальной схемы объяснения в рамках некоторой более общей теории, т.е. фактически как специфической узкой теории чего-то. Наконец, *теория концептуального атомизма* [5] основана на представлении о понятии как о некоторой атомарной абстрактной сущности, не имеющей какой бы то ни было внутренней структуры.

Несколько в стороне от магистральных путей исследования понятия остается старая, но, наш взгляд, не теряющая своей привлекательности трактовка понятия как предметно-истинностной функции, предложенная Г. Фреге. В статье «Функция и понятия» он характеризует свою трактовку понятия предельно однозначно: «Да, мы можем прямо сказать: понятие есть функция, значение которой есть всегда какое-то истинностное значение» [6. С. 222]. Когда некоторому аргументу (Фреге рассматривает одноместные функции) понятийная функция ставит в соответствие значение «истина», этим выражается подпадание предмета под понятие. Соответственно, объем понятия характеризуется как «пробег значений функции, значение которой для любого аргумента есть истинностное значение» [Там же]. Таким образом, говоря современным языком, понятие представляет собой предикат (предметно-истинностную функцию), а его объем – ту часть предметов из области определения, на которой эта функция принимает значение «истина».

Попытки формального представления понятия как особого рода (релевантной) функции были предприняты в работах [7–9]. При этом использовались как типовое, так и бестиповое лямбда-исчисления, а понятие вполне ожидаемо трактовалось как функциональный абстракт. Соответственно, операция подведения предмета под понятие формально эксплицировалась как своеобразное правило исключения импликации (при типовом варианте формализации). В настоящей статье будет представлена несколько отличная от указанных трактовка понятия как предметной функции, что, с одной стороны, на наш взгляд, в большей степени соответствует когнитивной трактовке понятия и категоризации, а с другой – представляет собой естественное развитие интенциональной теории понятия, анонсированной в работах [10, 11].

На предыдущем этапе наши исследования фокусировались на процедуре категоризации. При этом мы исходили из нестандартной когнитивно-феноменологической интерпретации этой процедуры, предполагающей обращение к описанной Гуссерлем процедуре аналогизирующей апперцепции (аппрезентации). Аппрезентация представляет собой перенос смысла с предмета (образца) на новый случай на основании сходства этого случая с образцом. В процессе аппрезентации осуществляется так называемое удвоение, когда два предмета – стимул (объект интенции) и образец – рассматриваются сознанием в удвоении, представляющем собой форму пассивного синтеза, и

последующий аппрезентативный перенос смысла с образца на стимул. Подробно эта операция, которую Гуссерль противопоставляет рассуждению по аналогии, утверждая ее встроенный и произвольный характер, описана в «Картезианских рассуждениях».

В развиваемой трактовке «аппрезентативной модели» типизации (категоризации) принципиально важными оказываются следующие положения. Во-первых, благодаря телесной воплощенности, встроенности и дорефлексивности так понимаемая процедура категоризации вполне может претендовать на статус универсального познавательного механизма типизации объектов. Во-вторых, когнитивно-феноменологическая интерпретация категоризации делает возможным ее истолкование как встраивание интенционального объекта в имеющийся смысловой контекст. В-третьих, на наш взгляд, наиболее адекватной формой выражения этой процедуры оказывается интенциональная модификация теории понятия Фреге. В ее основе лежит ряд важных теоретических принципов:

1. Интенциональность понимается как универсальная фундаментальная характеристика познания, присущая не только человеку, но и другим живым существам.

2. Интенциональность может быть представлена как функциональное отношение (отображение) из множества стимулов (объектов интенции) в множество распознанных (и тем самым осмысленных) индивидов, релятивизированное относительно того или иного познающего субъекта. В такой трактовке интенциональности реализуется ее смыслообразующая и смыслонаделяющая функция.

3. Интенциональность может быть истолкована и как концептуальная функция из множества стимулов в множество интенциональных объектов.

Развивая эту трактовку, мы, различали две стадии категоризации, предполагающие: (1) распознавание и фиксацию чувственных данных по отдельности как сторон, моментов или характеристик (типа «красный», «небольшой», «круглый» и т.п.) некоторого еще неопределенного или непознанного предмета как целого; (2) распознавание и узнавание этого конгломерата частей и сторон, состоящие в его своеобразном узнавании или отождествлении, «достраивании» до известного, а значит типизированного ранее предмета. Соответственно, предлагая формальную экспликацию двухэтапной категоризации, мы рассматривали функциональные трактовки абстрактных и конкретных понятий. При этом конкретное понятие понимается как понятие об индивиде, а абстрактное – как о свойствах и отношениях индивида. В функциональном выражении через формализм лямбда-абстракций это привело к следующему результату.

В самом общем виде понятие трактуется как лямбда-терм, состоящий из функционального терма, предметного терма, операции приложения (аппликации) между ними и указания типа получившегося функционального абстракта через отображение типа A (область определения) в тип B (область значения):

$$\lambda x.F \bullet x: A \longrightarrow B.$$

Правило аппликации описывает приложение функционального абстракта к некоторому предмету из области определения соответствующей функции. При этом важным оказывается умение проследить порядок применения пра-

вила, т.е. зависимость результирующих термов от предшествующих термов в выводе, что реализуется через исчисление с характеристиками зависимости, задаваемыми стандартным образом. Кроме того, формулируются два важных правила перестановки, соответствующие двум разным случаям приложения понятия – приложение абстрактного понятия (*PerC*), позволяющее распознать сторону или характеристику объекта, и приложение конкретного понятия (*PerB*), приводящее к «узнаванию» индивида:

$$[PerB] \frac{\lambda v.F \bullet v \bullet t: B[\Gamma]}{F \bullet (v \bullet t)t: B[\Gamma]}; [PerC] \frac{\lambda V.V \bullet c \bullet t: B[\Gamma]}{(V \bullet t) \bullet c: B[\Gamma]}.$$

Для формальной экспликации отождествления распознаваемого объекта использовалось специальное правило подстановки (*I*):

$$[I] \frac{t_1 \bullet (v \bullet t_2) \bullet t_3: B[\Gamma]}{t_1 \bullet t_2 \bullet t_3: B[\Gamma]}.$$

Если к указанным правилам добавить правило образования понятий

$$[\rightarrow_{intro}] \frac{t: B[\Gamma, v: \mathbf{A}]}{\lambda v.t: \mathbf{A} \rightarrow B[\Gamma]},$$

то получается типовое лямбда-исчисление с характеристиками зависимости, аналог ВС1-логики, фрагмента импликативного фрагмента релевантной логики R без аксиомы ослабления.

Исчисление конкретных понятий

Рассмотренный выше вариант исчисления понятий фактически был предназначен для первичной экспликации категоризации, понимаемой по аналогии с подведением предмета под понятие. Результатом этой процедуры оказывалась понятийная форма высказывания, выражающая результат осмысления соответствующего предмета и его отнесение к определенному типу. Такой вариант исчисления понятий оперировал только с простыми понятийными термами и не был предназначен для формализации каких-либо иных операций над понятиями. Ниже будет построен в чем-то упрощенный вариант исчисления, при этом рассчитанный на более широкий спектр применения.

Мы будем рассматривать понятие как предметную функцию, выражающую результат когнитивной обработки стимула. Соответственно, область определения такой функции будут составлять те предметы из универсума, которые могут быть осмыслены как попадающие в объем данного понятия. Область значения составит множество предметов, распознанных как предметы определенного типа и, таким образом, попадающих в объем соответствующего понятия. Важно отметить, что такая трактовка понятийной функции предполагает, строго говоря, отображение между двумя множествами объектов разного онтологического статуса: множеством предметов, подводимых под понятие, и множеством интенциональных (осмысленных так-то и так-то) предметов, составляющих объем понятия. Ниже условимся первое множество характеризовать через универсальные признаки (понимая универсум не как универсум понятия, а как универсум объектов обобщения), а второе – через типобразующие признаки.

Нас в меньшей степени будет интересовать процедура категоризации *per se*, и в значительно большей – возможность установления стандартных отношений между понятиями, и в первую очередь – отношения включения,

позволяющего задать остальные фундаментальные и производные отношения. Поэтому мы будем рассматривать как простые, так и сложные типы предметов, образующиеся с помощью операций – аналогов конъюнкции, дизъюнкции и отрицания. При этом будем исходить из стандартных ограничений, накладываемых на процедуры установления отношений между понятиями:

– отношения устанавливаются только между сравнимыми понятиями (т.е. относящимися к одному универсуму);

– отношения устанавливаются между непустыми понятиями.

В данной работе мы ограничим рассмотрение только конкретными понятиями (понятиями об индивидах – носителях свойств), оставляя в стороне процедуру распознавания сторон, частей и моментов предметов как их признаков. Иными словами, нам потребуется только один вариант правила аппликации (приложения понятия к аргументу), поэтому на данном этапе нет необходимости разводить аппликацию и подстановку как два правила вывода. Кроме того, в развиваемом ниже простом формализме не предусмотрена экспликация понятий о множествах, n -ках и т.п. Можно сказать, что рассмотрение будет ограничено лишь понятиями первого уровня.

Таким образом, ниже будет построено типовое лямбда-исчисление конкретных понятий первого уровня с характеристиками зависимости формул от допущений. Допущения зависят сами от себя, для произвольной формулы зависимости устанавливаются правилами вывода. Далее для удобства в характеристиках зависимости вместо непосредственно самих формул будем указывать их номера в выводе.

В язык исчисления включаются множества индивидуальных переменных ($\{v\}$), индивидуальных констант ($\{c\}$), функциональных констант с нижними индексами по соответствующим типам ($\{F_A\}$), атомарных универсальных признаков ($\{A\}$), атомарных типобразующих признаков ($\{P\}$), символ лямбда-абстракции (λ), операция приложения (функции к аргументу) ($\bullet$), типобразующие связки ($\cap$, $\vee$, $-$, $\$$) и технические знаки – круглые скобки.

Терм: $t := v|c|F_A|t_1 \bullet t_2$.

Лямбда терм: λ_t выражение вида $\lambda x.F_A$.

Простой тип: $t\tau := P|\bar{B}|B \wedge B|B \vee B$.

Понятийный тип: $c\tau$ выражение вида $A \longrightarrow t\tau$.

Формула есть выражение одного из следующих типов: $t: t\tau$, или $t: A$, или $\lambda_t: c\tau$. Интуитивно формулы первых двух видов интерпретируются как утверждения о типизации некоторого объекта (например, $a: P$ или $a: A$), а формулы второго типа – как функциональные выражения понятий (например, $\lambda x.F_O: A \longrightarrow Q$).

Правила вывода:

$$[\longrightarrow_{elim}] \frac{\lambda v.F_B: A \longrightarrow B[\Gamma], t: A[\Delta]}{F \bullet t: B[\Gamma, \Delta]};$$

$$[\longrightarrow_{intro}] \frac{t: B[\Gamma, v: A]}{\lambda v.F_B: A \longrightarrow B[\Gamma]};$$

$$[\wedge_{intro}] \frac{t: B[\Gamma], t: C[\Gamma]}{t: B \wedge C[\Gamma]};$$

$$\begin{aligned}
& [\wedge_{elim_1}] \frac{t : B \wedge C[\Gamma]}{t : B[\Gamma]}; [\wedge_{elim_2}] \frac{t : B \wedge C[\Gamma]}{t : C[\Gamma]}; \\
& [\vee_{elim}] \frac{t : B \vee C[\Gamma], t : D[\Delta, t : B], t : D[\Delta, t : C]}{t : D[\Gamma, \Delta]}; \\
& [\vee_{intro_1}] \frac{t : B[\Gamma]}{t : B \vee C[\Gamma]}; [\vee_{intro_2}] \frac{t : C[\Gamma]}{t : B \vee C[\Gamma]}; [neg_{elim}] \frac{t : \bar{B}[\Gamma]}{t : B[\Gamma]}; \\
& [neg_{intro}] \frac{t : B[\Gamma], t : \bar{B}[\Delta]}{t : \bar{C}[\Gamma, \Delta \searrow \{t : C\}]}, \text{ где } \{t : C\} \subseteq \Gamma \cup \Delta.
\end{aligned}$$

Некоторые пояснения к правилам вывода.

В правиле $\rightarrow_{intro}$ существенно, что для образования понятия необходимо, чтобы утверждение о типизации терма t было получено с использованием допущения о типизации переменной как универсальной ($\forall: A$).

Установление отношения выводимости между двумя понятиями означает, что первое из них подчиняется второму. Рассмотрим достаточно прозрачный пример, демонстрирующий, что понятие

$$\lambda x.F_{P \wedge Q} : \mathbf{A} \longrightarrow (P \wedge Q)$$

подчиняется понятию

$$\begin{aligned}
& \lambda x.F_P : \mathbf{A} \longrightarrow P. \\
(1) \quad & \lambda x.F_{P \wedge Q} : \mathbf{A} \longrightarrow (P \wedge Q)[1] \quad \text{допущение} \\
(2) \quad & x : \mathbf{A}[2] \quad \text{допущение} \\
(3) \quad & F_{P \wedge Q} \bullet x : (P \wedge Q)[1, 2] \quad [\longrightarrow_{elim}] 1, 2 \\
(4) \quad & F_{P \wedge Q} \bullet x : P[1, 2] \quad [\wedge_{elim_1}] 2, 3 \\
(5) \quad & \lambda x.F_P : \mathbf{A} \longrightarrow P[1] \quad [\longrightarrow_{intro}] 4
\end{aligned}$$

Необходимость использования непрямого правила $\vee_{elim}$ и ограничения правил $\cap_{intro}$ и neg_{intro} обусловлена стремлением избежать нежелательных выводимостей, и в первую очередь, как и при выборе правил для натурального варианта релевантного исчисления, тех, которые связаны с противоречивыми типами. Отсутствие указанных ограничений привело бы к тому, что понятие с противоречивым содержанием подчинялось бы любому понятию, что, естественно, не соответствует стандартной трактовке отношений между понятиями. Проиллюстрируем это на примере правила $\vee_{elim}$.

Допустим, мы используем прямое правило исключения дизъюнктивных типов:

$$[\vee_{elim_d}] \frac{t : B \vee C[\Gamma], t : \bar{B}[\Gamma]}{t : C[\Gamma]}.$$

Тогда валидной оказывается следующая выводимость, даже при условии ограничений на остальные правила:

$$\begin{aligned}
(1) \quad & \lambda x.F_{P \wedge \bar{P}} : \mathbf{A} \longrightarrow (P \wedge \bar{P})[1] \quad \text{допущение} \\
(2) \quad & x : \mathbf{A}[2] \quad \text{допущение} \\
(3) \quad & F_{P \wedge \bar{P}} \bullet x : (P \wedge \bar{P})[1, 2] \quad [\longrightarrow_{elim}] 1, 2 \\
(4) \quad & F_{P \wedge \bar{P}} \bullet x : P[1, 2] \quad [\wedge_{elim_1}] 2, 3 \\
(5) \quad & F_{P \wedge \bar{P}} \bullet x : \bar{P}[1, 2] \quad [\wedge_{elim_1}] 2, 3 \\
(6) \quad & F_{P \wedge \bar{P}} \bullet x : P \vee Q[1, 2] \quad [\vee_{intro_1}] 4 \\
(7) \quad & F_{P \wedge \bar{P}} \bullet x : Q[1, 2] \quad [\vee_{elim_d}] 5, 6 \\
(8) \quad & \lambda x.F_Q : \mathbf{A} \longrightarrow Q[1] \quad [\longrightarrow_{intro}] 7
\end{aligned}$$

Заключение. Перспективы исследований

Итак, в статье предложен вариант натурального исчисления конкретных понятий. Признак, зафиксированный в содержании этих понятий (тип), может быть как простым, так и сложным, образованным с помощью типообразующих связок и оператора отрицания.

К числу интересных особенностей этого исчисления стоит отнести трактовку отрицательных типов и связанную с ней интерпретацию логически пустых понятий. Отмеченные выше ограничения на правила вывода были предложены для блокирования нежелательных следствий, но при этом возникает ряд вопросов, требующих более тщательного осмысления, связанных с процедурой введения понятий и, возможно, браковкой ранее введенных понятий.

Перспективы дальнейших исследований предполагают следующие направления.

Во-первых, построение адекватной семантики для предложенного исчисления.

Во-вторых, расширение исчисления на случай квантифицированных признаков.

В-третьих, распространение развиваемого формализма на представление абстрактных понятий.

В-четвертых, расширение исчисления, связанное с формализацией процедур введения новых понятий (образования понятий) и категоризации как распознавания стимулов в рамках одного формального подхода.

В-пятых, рассмотрение перспектив развиваемого формализма для computer science и проекта искусственного интеллекта как в области представления и обработки знаний, так и для моделирования процесса обучения (в особенности обучения на основании примера).

Литература

1. Войшвилло Е.К. Понятие. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1967.
2. Earl D. Concepts // Internet Encyclopedia of Philosophy. [s. a.]. URL: <http://www.iep.utm.edu/concepts/> (access date: 21.02.2019).
3. Rosch E., Mervis C.B. Family resemblances: Studies in the internal structure of categories // Cognitive psychology. 1975. Vol. 7 (4). P. 573–605.
4. Carey S. The origin of concepts. Oxford University Press, 2009.
5. Fodor J. A. Concepts: Where cognitive science went wrong. Oxford University Press, 1998.
6. Фреге Г. Логика и логическая семантика : сб. трудов. М. : Аспект Пресс, 2000.
7. Зайцев Д.В. Понятие: функциональный подход // Я (А. Слинин) и Мы : к 70-летию проф. Ярослава Анатольевича Слинина. СПб., 2002. С 169–178.
8. Зайцев Д.В. Понятие как релевантная функция // Труды научно-исследовательского семинара Логического центра Института философии РАН. 2002. Т. 16. С. 46–53.
9. Зайцев Д.В. Релевантная логика понятий // Логика и В.Е.К. : к 90-летию профессора Войшвилло Евгения Казимировича. М. : Современные тетради, 2003. С. 130–138.
10. Zaitsev D., Zaitseva N. Categorization in intentional theory of concepts // Lecture Notes in Computer Science. 2016. Vol. 9719. P. 465–473.
11. Зайцева Н.В., Зайцев Д.В. Феноменологическая перспектива в современной нейронауке // Философские науки. 2017. № 1. С. 71–84.

Dmitry V. Zaitsev, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation).
E-mail: zaitsev@philos.msu.ru

Natalia V. Zaitseva, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation), Russian Foreign Trade Academy (Moscow, Russian Federation).

E-mail: natvalen@list.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 49. pp. 26–33.

DOI: 10.17223/1998863X/49/3

THE CALCULUS OF CONCEPTS

Keywords: concept; cognitive science; typed lambda calculus; natural deduction; intentionality.

In this article, the authors propose a new version of a natural deduction system for a typed lambda calculus of concepts as functional abstracts in Frege's fashion. The introductory section provides a general description of the approach. In so doing, the authors briefly consider different theories of concepts and Fregean ideas among them. Next, the authors introduce their conception of neurophenomenology as far as the cognitive procedure of categorization is concerned. They also describe their previous results in the formal (logical) representation of concepts as functions. The second section introduces the calculus of concrete concepts (concepts whose extensions consist of substances) as a natural deduction system. The authors consider concepts as object-to-object functions expressing the result of the cognitive processing of perceptive stimuli. The current version of this calculus is designed to establish standard relations between concepts and, first of all, the inclusion relation, which allows specifying the remaining fundamental and secondary relations. The consequence relation between two concepts means that the extension of the first is included into the extension of the second. The authors formalize both simple and complex types of objects constructed with the help of operations that are analogs of conjunction, disjunction and negation. The section ends with the discussion of the meaning of some rules of inference. In the final part of the article, the authors sum up the findings and outline the prospect of further research in this area. The prospect is, first of all, the construction of adequate semantics for the proposed calculus and extension of the calculus to the case of quantified attributes. This calculus could be further modified in an obvious way to provide a formal representation of abstract concepts. All this allows considering the prospects of this formalism for computer science and the project of artificial intelligence in the field of knowledge representation and processing, as well as for modeling the machine learning process (in particular, instance-based learning).

References

1. Voyshvillo, E.K. (1967) *Ponyatie* [Notion]. Moscow: Moscow State University.
2. Earl, D. (n.d.). *Concepts*. [Online] Available from: <http://www.iep.utm.edu/concepts/>. (Accessed: 21st February 2019).
3. Rosch, E. & Mervis, C.B. (1975) Family resemblances: Studies in the internal structure of categories. *Cognitive Psychology*. 7(4). pp. 573–605. DOI: 10.1016/0010-0285(75)90024-9
4. Carey, S. (2009) *The Origin of Concepts*. Oxford University Press.
5. Fodor, J.A. (1998) *Concepts: Where cognitive science went wrong*. Oxford University Press.
6. Frege, G. (2000) *Logika i logicheskaya semantika* [Logic and logical semantics]. Translated from German. Moscow: Aspekt Press.
7. Zaytsev, D.V. (2002) *Ponyatie: funktsional'nyy podkhod* [Concept: functional approach]. In: Migunov, A.I. (ed.) *Ya. (A. Slinin) i My : k 70-letiyu prof. Yaroslava Anatol'evicha Slinina* [Ya. (A. Slinin) and We: to the 70th anniversary of Professor Yaroslav Anatolyevich Slinin]. St. Petersburg: Sankt-Peterburgskoe filosofskoe obshchestvo. pp. 169–178.
8. Zaytsev, D.V. (2002) *Ponyatie kak relevantnaya funktsiya* [The concept as a relevant function]. *Trudy nauchno-issledovatel'skogo seminar Logicheskogo tsentra Instituta filosofii RAN*. 16. pp. 46–53.
9. Zaytsev, D.V. (2003) *Relevantnaya logika ponyatiy* [Relevant logic of concepts]. In: Markin, V.I. (ed.) *Logika i V.E.K* [Logic and V.E.K.]. Moscow: Sovremennye tetrad. pp. 130–138
10. Zaitsev, D. & Zaitseva, N. (2016) Categorization in intentional theory of concepts. *Lecture Notes in Computer Science*. 9719. pp. 465–473. DOI: 10.1007/978-3-319-40663-3_53
11. Zaytseva, N.V. & Zaytsev, D.V. (2017) Phenomenological Perspective in the Modern Neuroscience. *Filosofskie nauki – Russian Journal of Philosophical Sciences*. 1. pp. 71–84. (In Russian).

УДК 160.1, 165.0, 510.20
DOI: 10.17223/1998863X/49/4

Л.Д. Ламберов

ПОНЯТИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В КОНТЕКСТЕ ТЕОРЕТИКО-ТИПОВОГО ПОДХОДА, II: ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТЕОРЕМ¹

Рассматривается понятие математического доказательства в связи с применением компьютеров в математике. Исследуются особенности этого понятия, а также связанных эпистемологических проблем. Особое внимание уделяется проблеме обозримости на примере доказательства теоремы о четырех красках. Настоящая работа представляет собой вторую статью в серии о понятии теоретико-типического доказательства.

Ключевые слова: основания математики, доказательство, теория типов, компьютерные науки, теорема, вычисления, теорема о четырех красках.

Настоящая статья является продолжением исследования эпистемологических особенностей понятия доказательства в рамках теоретико-типического подхода. Предыдущая статья [1] была посвящена эпистемологии доказательства (корректности) программ, в ней рассматривались проблемы обозримости указанного вида доказательств, вопрос об их социальной роли, а также соотношение доказательства с особенностями понимания абстракции в компьютерных науках. В свою очередь, в данной статье внимание обращено на применение различных компьютерных средств к доказательству теорем (т.е. использование вычислительных машин для получения математических результатов). В дальнейшем будут рассмотрены доказательства методом перебора.

Примеров применения вычислительных машин для получения математических результатов методом перебора достаточно. Если останавливаться только на самых известных, то следует указать доказательство К. Лама, Л. Тиля и С. Свирша [2] теоремы о несуществовании конечной плоскости порядка 10, а также доказательство Т. Хэйлса [3] гипотезы Кеплера о плотнейшей упаковке сфер в трехмерном пространстве (позже Т. Хэйлс представил и полное формальное доказательство на языке *HOL Light*). Тем не менее самым знаменитым остается, безусловно, доказательство теоремы о четырех красках, полученное в конце 1970-х гг. К. Аппелем и В. Хакеном [4, 5], которое и вызвало наиболее жаркие споры по поводу применения компьютеров в деле доказательства теорем. Помимо того, что доказательство всесторонне проверялось математическим сообществом, этот результат был независимо подтвержден еще несколько раз. Во-первых, Ф. Олэйр [6] построил в 1977 г. свое доказательство, применив некоторые другие эвристики, но в целом сохранив общий замысел К. Аппеля и В. Хакена. Во-вторых, Н. Робертсон, Д. Сандерс, П. Сеймур и Р. Томас [7] сформулировали в 1993 г. еще одно доказательство, в первую очередь для того, чтобы гарантировать «теоремность»

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00301.

рассматриваемого результата, поскольку некоторые новые результаты в теории графов зависели от него (использовали теорему о четырех красках в качестве леммы). В-третьих, это чистое формальное доказательство, построенное в 2005 г. Ж. Гонтье [8].

Для того чтобы лучше представить себе доказательство методом перебора, кратко рассмотрим общую структуру доказательства теоремы о четырех красках, как оно предложено К. Appelем и В. Хакеном. Для начала следует отметить, что их доказательство возникло не на пустом месте, а развивает попытки предыдущих исследователей (прежде всего А. Кэмпе и Г. Хиша). К примеру, несмотря на то, что доказательство А. Кэмпе было опровергнуто, (1) его доказательство для случая 6 и более красок является верным, (2) ряд ключевых идей и общая структура построения доказательства использованы в рассматриваемом доказательстве 1970-х гг.

Для начала необходимо дать определение нормальной карты. Нормальной картой называется карта, на которой ни одна «внутренняя» страна не охватывает целиком никакую другую страну, а также нет такой точки, в которой бы встречалось более трех стран. Любая карта может быть преобразована в нормальную карту при помощи специальной процедуры. Если для раскрашивания получившейся нормальной карты достаточно N цветов, то для раскрашивания оригинальной карты также достаточно N цветов. В своей работе А. Кэмпе показал, что любая нормальная карта должна содержать страну с менее чем шестью соседями. Таким образом, можно выделить несколько типов неизбежных наборов конфигураций: страна с двумя соседями, страна с тремя соседями, страна с четырьмя соседями, страна с пятью соседями. Далее требуется показать редуцируемость различных неизбежных наборов конфигураций. Контрпример П.Дж. Хивуда опровергал доказательство редуцируемости случая страны с пятью соседями в доказательстве А. Кэмпе, а в начале XX в. вопрос редуцируемости на графах был подробно разработан Дж. Биркгофом. Редуцируемость предполагает, что если имеется нормальная карта, для раскрашивания которой требуется, допустим, пять цветов, содержащая одну из неизбежных конфигураций, то должна существовать карта с меньшим числом стран, для которой также требуется пять красок. Тем не менее поскольку не может существовать минимальная нормальная карта, для раскрашивания которой требуется пять красок, то не может существовать карта, для которой требуется пять красок.

Для доказательства требуется (1) выделить неизбежный набор конфигураций и (2) показать его редуцируемость. Для этого К. Appelем и В. Хакеном и был использован метод перебора. По сути, их доказательство представляет собой доказательство методом индукции с (1) тривиальным случаем, (2) случаем, предполагающим несколько подслучаев, и (3) случаем, предполагающим более тысячи подслучаев. Индукция проводится по числу вершин карты (карта преобразуется в граф), демонстрируется, что для определенного набора редуцируемых конфигураций раскрашивание может быть выполнено с помощью четырех красок, а затем показывается, что набор редуцируемых конфигураций является неизбежным (т.е. любая карта содержит хотя бы одну такую конфигурацию). Другими словами, с помощью вычислительных машин были сформированы неизбежные наборы конфигураций и продемонстрирована их редуцируемость. Всего было затрачено более 1 200 часов ма-

шинного времени на трех разных машинах, потребовалось провести машинный анализ более 2 000 конфигураций, в финальном доказательстве используется редукция 1 482 конфигураций, ручная проверка которых, по словам авторов, просто невозможна [9. Р. 121].

Помимо амбивалентной реакции со стороны математического сообщества, доказательство теоремы о четырех красках методом перебора, не предполагающего человеческой проверки за разумное обозримое время, вызвало реакцию философов математики. Наиболее яркий и провокативный комментарий по поводу теоремы о четырех красках высказал Т. Тимошко [10]. Его аргументация касается понятия обозримости доказательства, а один из центральных моментов состоит в сомнении по поводу понятий теоремы и доказательства. С точки зрения Т. Тимошко, использование компьютеров при получении математических результатов приводит к введению в математику экспериментальных методов. В определенном смысле идеи Т. Тимошко оказываются весьма близки философии математики И. Лакатоса, который, надо сказать, упоминается в приведенной статье. Здесь имеются в виду фаллибилистское или квазиэмпиристское истолкование математики и процесса уточнения математических понятий, описываемые в «Доказательствах и опровержениях».

Итак, доказательство может быть понято (1) как средство достижения убежденности, (2) как обозримая конструкция, (3) как конструкция, которая может быть формализована. Причем доказательство обладает убедительной силой в том случае, если оно обозримо и формализуемо. Убедительность математического доказательства зависит от понимания общей структуры доказательства, а также от понимания каждого отдельного шага и перехода между элементарными шагами.

Вслед за Б. Бэслером [11, 12] можно обратить внимание на выделение понятия промежуточного шага и идеи непрерывности мышления у Ф. Бэкона, Р. Декарта и Дж. Локка. Соответственно, можно выделить обозримость в смысле интуитивной понятности перехода между элементарными шагами доказательства, которая вероятнее всего обеспечивается использованием достаточно элементарных правил и гарантируется прежде всего при формализации доказательств (т.е. при обращении к механической процедуре), а также интуитивное постижение сложной цепочки рассуждений целиком. С точки зрения Б. Бэслера, разумно выделить локальную и глобальную обозримости, предполагающие соответственно обозримость отдельных шагов доказательства в некотором порядке и обозримость всего доказательства целиком.

Применение предложенного Б. Бэслером различия к доказательству теоремы о четырех красках К. Аппеля и В. Хакена показывает, что само по себе доказательство является глобально обозримым, поскольку его общая логическая структура вполне понятна. Тем не менее следует признать, что несмотря на логическую простоту, это доказательство обладает высокой комбинаторной сложностью (в смысле сложности вычислений). Последнее обстоятельство не позволяет доказательству теоремы о четырех красках быть локально обозримым. При построении неизбежного набора конфигураций К. Аппелем и В. Хакеном было использовано около 500 правил, что дало, как уже указывалось, 1 482 конфигурации. Хотя в общем смысле принципы по-

строения и вообще концепция неизбежных наборов конфигураций могут быть понятны, сам процесс их формирования в данном конкретном случае никоим образом не является локально обозримым. В нем присутствует непрерывность рассуждения в смысле философов Нового времени, в нем присутствуют промежуточные шаги в том отношении, в каком можно выделить промежуточные шаги в вычислении в противовес логическому рассуждению. Однако сложность и (в первую очередь) длительность этой процедуры не позволяют ни одному живому человеку фактически проследить каждый шаг и каждое применение правила. Доказательство теоремы о четырех красках в лучшем случае может претендовать на потенциальную локальную обозримость (применение около 500 правил, конечно, вызывает определенные сомнения даже в потенциальной локальной обозримости). В этом случае получается, что глобальная обозримость не зависит от локальной обозримости.

Однако является ли обозримость неотъемлемым свойством доказательства? Необходимо отметить, что далеко не каждый математик проверяет абсолютно все математические результаты в процессе своего обучения и дальнейшей работы. Проверка доказательств является социальным процессом, о чем речь шла в предыдущей статье [1]. Правда, даже несмотря на своего рода «распределенность» требования обозримости по всему математическому сообществу, доказательства, подобные рассматриваемому доказательству теоремы о четырех красках, вряд ли могут считаться обозримыми в локальном смысле. Если не может быть гарантирована даже потенциальная локальная обозримость, то убежденность в правильности доказательства оказывается сродни вере в индуктивные обобщения. Так, в процитированной статье Т. Тимошко, как было указано ранее, проблематизирует понятия теоремы и доказательства и в конечном счете склоняется к точке зрения, что традиционного понятия доказательства недостаточно, поскольку оно исключает всяческие эмпирические элементы из математических результатов. По его мнению, доказательство теоремы о четырех красках, предложенное К. Appelем и В. Хакеном, является математическим доказательством, а сама «теорема» – полноценной математической теоремой. Дело лишь в том, что математика, по мнению Т. Тимошко, представляет собой фаллибилистское предприятие сродни естественным наукам. Комбинаторная сложность, сложность вычислений, используемых для получения и обоснования некоторых математических результатов, оказывается сродни эмпирическим элементам и экспериментам в естественных науках. Необходимо также отметить, что сам Т. Тимошко проводит различие, оказывающееся весьма близким различию локальной и глобальной обозримости и состоящее в разграничении собственно доказательства и описания доказательства. Представляется, что разграничение Б. Бэсслером локальной и глобальной обозримости перестает служить средством проблематизации эпистемологических вопросов касательно математических доказательств в духе вопроса о том, почему и в каких случаях глобальная обозримость не зависит от локальной обозримости. Последнее не вызывает проблем в связи с доказательством теоремы о четырех красках, поскольку то, что является в нем глобально обозримым, по сути, является описанием общей структуры доказательства, а для описания общей структуры доказательства вполне разумно абстрагироваться от мелких деталей, пред-

ставляющих собой отдельно взятые шаги, сохраняя лишь связность общей «картины».

Однако не оказывается ли эпистемологическое затруднение с доказательством теоремы о четырех красках еще более радикальным? Заметьте, исследователь верит в корректность работы вычислительной машины, и эта вера оказывается обоснованной в духе релейабилизма. Исследователь убежден в надежности работы вычислительной машины. Тем не менее эта убежденность весьма сложного вида: она предполагает убежденность в проекте вычислительной машины (включая всю теоретическую базу такого проекта), убежденность в правильности реализации проекта в конкретном железе, убежденность в том, что в момент запуска соответствующей вычислительной процедуры машина находится в «нормальном» состоянии (например, на нее не оказывается какое-либо физическое воздействие, способное изменить результат вычислений), убежденность в правильности вычислительной процедуры, убежденность в корректности реализации этой процедуры в виде компьютерной программы, убежденность в правильности работы операционной системы и ее компонентов и т.д. Таким образом, убежденность в надежности компьютерных вычислений не сильно отличается от убежденности в результатах работы черного ящика в словах гениального марсианского математика Саймона или в прозрениях Рамануджана. Безусловно, надежность работы вычислительной машины потенциально может быть проверена, что, правда, абсолютно не исключает возможности ошибки в силу каких-либо неучтенных даже при самой тщательной проверке факторов. Однако уже этого достаточно, чтобы доказательство теоремы о четырех красках не могло быть воздвигнуто на пантеон «традиционных» априорных математических доказательств.

А так ли важна обозримость для доказательства? Какую роль играет эта «интеллектуальная добродетель» в математической практике? В связи с этим вопросом можно обратиться к философии математики Л. Витгенштейна [13, 14], по мнению которого доказательства представляют собой грамматические конструкции, позволяющие «схватывать» смысл математических терминов, и определяют правила их употребления. Очевидно, что если доказательство не является обозримым, то мы не можем научиться употреблению определяемых им математических терминов. Следует отметить, что близкое затруднение связывается Л. Витгенштейном с изучением слов, обозначающих цвета. Суть затруднения состоит в разграничении доказательства и эксперимента в том отношении, что доказательство предполагает обозримость своих элементарных шагов, т.е. предполагает очевидные логические, концептуальные или нормативные отношения между отдельными шагами. Тем не менее следует отметить, что в отличие от рассмотрения слов, обозначающих цвета, при рассмотрении понятия доказательства Л. Витгенштейн более не использует идею «феноменологической обозримости» [15]. Необходимо обратить внимание на то, что описание операции (например, построения бесконечного ряда натуральных чисел) вполне может быть «схвачено»¹. Таким образом, несмотря на, казалось бы, экспериментальный характер некоторых частей доказательства теоремы о четырех красках, оно вполне может выполнять роль грамматиче-

¹ См.: [16. 4.1252, 5.232, 6.2 et al.].

ской конструкции, определяющей правила употребления соответствующих математических терминов, поскольку у нас имеется вполне обозримое описание доказательства, которое позволяет *воспроизводить* это доказательство, повторять процедуру доказывания¹.

Альтернативную точку зрения по поводу обозримости доказательства высказывает П. Теллер [17], согласно которому обозримые доказательства составляют человеческую математику, но не математику вообще. Обозримость требуется людям для выполнения проверки доказательств, но никакие обстоятельства не запрещают представить себе некоторые другие организмы, рассуждающие сходным с компьютерами образом, которые могут оказаться способными выполнить проверку комбинаторно сложных частей доказательства теоремы о четырех красках. Почему же в этом случае математика должна ограничиваться только тем, что доступно для проверки людьми? И тем не менее такая гипотетическая ситуация не обязательно будет схожа со случаем марсианского математика Саймона или Рамануджана, так как в конце концов надежность работы вычислительной машины может быть проверена, а сами комбинаторно сложные вычисления воспроизведены при наличии соответствующих ресурсов. Другими словами, вычислительная машина все же имеет более высокую степень надежности, чем оракул. Близкую идею высказывает Э. Коулмэн [18], указывая на то, что практически любое доказательство, если требовать полной экспликации и доказательства всех промежуточных результатов, на которых оно основывается, будет настолько длинным, что вполне выйдет за границы обозримости. Доказательства оказываются обозримыми лишь постольку, поскольку они являются частью записанного архива математических результатов и опираются без предъявления доказательств на множество промежуточных лемм и теорем, также входящих во «всемирный математический архив». Можно допустить, что даже комбинаторно сложные части некоторого доказательства могут быть представлены в виде некоторого количества промежуточных результатов, доступных для проверки не отдельно взятым математиком, но по частям всем математическим сообществом.

Литература

1. Ламберов Л.Д. Понятие доказательства в контексте теоретико-типового подхода, I: доказательство программ // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2018. № 6. С. 49–57. DOI: 10.17223/1998863X/46/6
2. Lam C.W.H., Thiel L., Swiercz S. The Non-Existence of Finite Projective Planes of Order 10 // Canadian Journal of Mathematics. 1989. № 41. P. 1117–1123.
3. Hales T.C. A Proof of the Kepler Conjecture // Annals of Mathematics, Second Series. 2005. Vol. 162, № 3. P. 1065–1185.
4. Appel K., Haken W. Every Planar Map is Four Colorable. I. Discharging // Illinois Journal of Mathematics. 1977. Vol. 21, № 3. P. 429–490.
5. Appel K., Haken W., Koch J. Every Planar Map is Four Colorable. II. Reducibility // Illinois Journal of Mathematics. 1977. Vol. 21, № 3. P. 491–567.
6. Allaire F. Another Proof of the Four Colour Theorem – Part I // Proceedings of the 7th Manitoba Conference on Numerical Mathematics and Computing / ed. by D. McCarthy; H.C. Williams. Winnipeg : Utilitas Mathematica Pub., 1977. P. 3–72.

¹ Тем не менее вопрос соотношения доказательства и эксперимента, парадигмы и шаблона в философии математики Л. Витгенштейна в настоящее время далек от ясности и требует отдельного обстоятельного исследования.

7. Robertson N., Sanders D., Seymour P., Thomas R. The Four-Colour Theorem // Journal of Combinatorial Theory, series B. 1997. Vol. 70. P. 2–44.
8. Gonthier G. Formal Proof – The Four-Color Theorem // Notices of the American Mathematical Society. 2008. Vol. 55, № 11. P. 1382–1393.
9. Appel K., Haken W. The Solution of the Four-Color-Map Problem // Scientific American. 1977. Vol. 237. P. 108–121.
10. Tymoczko T. The Four-Color Theorem and Its Philosophical Significance // The Journal of Philosophy. 1979. Vol. 76, № 2. P. 57–83.
11. Bassler O.B. The Surveyability of Mathematical Proof: A Historical Perspective // Synthese. 2006. Vol. 148, № 1. P. 99–133.
12. Целищев В.В. Эпистемология математического доказательства. Новосибирск : Параллель, 2006. 212 с.
13. Wittgenstein L. Remarks on the Foundations of Mathematics. Cambridge, MA : MIT Press, 1978. 444 p.
14. Shanker S. Wittgenstein and the Turning Point in the Philosophy of Mathematics. London : Croom Helm, 1987. 358 p.
15. Secco G.D., Pereira L. C. Proofs Versus Experiments: Wittgensteinian Themes Surrounding the Four-Color Theorem // How Colors Matter to Philosophy / ed. by M. Silva. Cham : Springer International Publishing, 2017. P. 289–307.
16. Wittgenstein L. Tractatus Logico-Philosophicus. London : Routledge, 2004. 108 p.
17. Teller P. Computer Proof // The Journal of Philosophy. 1980. Vol. 77, № 12. P. 797–803.
18. Coleman E. The Surveyability of Long Proofs // Foundations of Science. 2009. Vol. 14. P. 27–43.

Lev D. Lamberov, Ural Federal University (Yekaterinburg, Russian Federation).

E-mail: lev.lamberov@urfu.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 49. pp. 34–41.

DOI: 10.17223/1998863X/49/4

THE CONCEPT OF PROOF IN THE CONTEXT OF A TYPE-THEORETIC APPROACH, II: PROOFS OF THEOREMS

Keywords: foundations of mathematics; proof; type theory; computer science; theorem; computation; four color theorem

This article is a continuation of the study of the epistemological features of the concept of proof in the context of a type-theoretic approach. The previous article was devoted to epistemology of computer program correctness proofs. It addressed the problems of surveyability of this type of proof, the question of their social role. In turn, this article focuses on the use of various computer tools to prove theorems. The article considers the brute force proofs, briefly examines the general structure of the proof of the four color theorem as proposed by Kenneth Appel and Wolfgang Haken. The most interesting comment about the four color theorem was made by Thomas Tymoczko. His argument concerns the notion of surveyability of proof, and one of the central points is the doubts about the concepts of theorem and proof. According to Tymoczko, the use of computers in obtaining mathematical results leads to the introduction of experimental methods in mathematics. Otto Bradley Bassler emphasizes the concept of an intermediate step and the idea of continuity of thinking in Francis Bacon, René Descartes and John Locke. According to Bassler, it is reasonable to distinguish between local and global surveyability. The Appel–Haken proof of the four color theorem is globally observable, but not locally observable. It should be noted that not every mathematician checks absolutely all mathematical results in the process of learning and further work. Proof verification is a social process. If even potential local surveyability cannot be guaranteed, then conviction of the proof is akin to believing in inductive generalizations. The mathematician believes in the correctness of the work of the computer, and this belief turns out to be justified in the spirit of reliabilism. The researcher is convinced of the reliability of the computer. However, this conviction is very complex. Paul Teller expresses an alternative point of view regarding the surveyability of proof. According to Teller, the surveyability of proof constitutes human mathematics, but not mathematics in general. Edwin Coleman expresses a close idea. He points out that practically any proof, if we demand full explication and proof of all intermediate results, will be so long that it will completely go beyond the limits of surveyability. Proofs are surveyable only insofar as they are part of the written archive of mathematical results and rely on the set of intermediate lemmas and theorems that are also included in the “World Mathematical Archive”.

References

1. Lamberov, L.D. (2018) The concept of proof in the context of a type-theoretic approach, I: Proof of computer program correctness. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 46. pp. 49–57. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863Kh/46/6
2. Lam, C.W.H., Thiel, L. & Swiercz, S. (1989) The Non-Existence of Finite Projective Planes of Order 10. *Canadian Journal of Mathematics*. 41. pp. 1117–1123. DOI: 10.4153/CJM-1989-049-4
3. Hales, T.C. (2005) A Proof of the Kepler Conjecture. *Annals of Mathematics, Second Series*. 162(3). pp. 1065–1185.
4. Appel, K. & Haken, W. (1977) Every Planar Map is Four Colorable. I. Discharging. *Illinois Journal of Mathematics*. 21(3). pp. 429–490. DOI: 10.1215/ijm/1256049011
5. Appel, K., Haken, W. & Koch, J. (1977) Every Planar Map is Four Colorable. II. Reducibility. *Illinois Journal of Mathematics*. 21(3). pp. 491–567. DOI: 10.1215/ijm/1256049012
6. Allaire, F. (1977) Another Proof of the Four Colour Theorem – Part I. In: McCarthy, D. & Williams, H.C. (eds) *Proceedings of the 7th Manitoba Conference on Numerical Mathematics and Computing*. Winnipeg: Utilitas Mathematica. pp. 3–72.
7. Robertson, N., Sanders, D., Seymour, P. & Thomas, R. (1997) The Four-Colour Theorem. *Journal of Combinatorial Theory, series B*. 70. pp. 2–44. DOI: 10.1006/jctb.1997.1750
8. Gonthier, G. (2008) Formal Proof – The Four-Color Theorem. *Notices of the American Mathematical Society*. 55(11). pp. 1382–1393.
9. Appel, K. & Haken, W. (1977) The Solution of the Four-Color-Map Problem. *Scientific American*. 237. pp. 108–121. DOI: 10.1038/scientificamerican1077-108
10. Tymoczko, T. (1979) The Four-Color Theorem and Its Philosophical Significance. *The Journal of Philosophy*. 76(2). pp. 57–83. DOI: 10.2307/2025976
11. Bassler, O.B. (2006) The Surveyability of Mathematical Proof: A Historical Perspective. *Synthese*. 148(1). pp. 99–133. DOI: 10.1007/s11229-004-6221-7
12. Tselishchev, V.V. (2006) *Epistemologiya matematicheskogo dokazatel'stva* [Epistemology of mathematical evidence]. Novosibirsk: Parallel'.
13. Wittgenstein, L. (1978) *Remarks on the Foundations of Mathematics*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
14. Shanker, S. (1987) *Wittgenstein and the Turning Point in the Philosophy of Mathematics*. London: Croom Helm.
15. Secco, G.D. & Pereira, L.C. (2017) Proofs Versus Experiments: Wittgensteinian Themes Surrounding the Four-Color Theorem. In: Silva, M. (ed.) *How Colors Matter to Philosophy*. Cham: Springer International Publishing. pp. 289–307.
16. Wittgenstein, L. (2004) *Tractatus Logico-Philosophicus*. London: Routledge.
17. Teller, P. (1980) Computer Proof. *The Journal of Philosophy*. 77(12). pp. 797–803.
18. Coleman, E. (2009) The Surveyability of Long Proofs. *Foundations of Science*. 14. pp. 27–43.

УДК 1:62

DOI: 10.17223/1998863X/49/5

А.Ю. Нестеров, А.И. Демина

КАТЕГОРИИ «ЗНАЧЕНИЕ» И «ИЗОБРЕТЕНИЕ» В КОНТЕКСТЕ СЕМИОТИКИ ТЕХНИКИ¹

Обобщены результаты, полученные авторским коллективом при работе над проектом по исследованию семиотических оснований техники и технического сознания, представленные в докладах конференций 2017–2018 гг. Предметом анализа является переход от рецептивного семиозиса к проективному, фиксируемый в философии техники через понятие «изобретение» и влекущий создание «нового». Интерпретируются классические работы по философии техники П.К. Энгельмейера и Ф. Дессауэра, анализируется концепция изобретения И.И. Лапина, общей методологией выступает трансцендентальная семиотика, как она отображена в работах А.Ю. Нестерова.

Ключевые слова: философия техники, проективный семиозис, проблема нового, изобретение, значение.

Техническая деятельность человека является одним из наиболее доступных предметов философского рассуждения, стремящегося с максимальной ясностью продемонстрировать неснимаемую сложность своего категориального аппарата, показать произвольность тех или иных метафизических допущений, необходимый характер полученных выводов. В настоящем рассуждении мы обращаем внимание на категории «значение» и «изобретение», как они могут быть показаны средствами семиотики на примере аналитической философии техники [1–3].

В истории семиотики вопрос о «значении» задается определением знака и вида деятельности, в котором участвует знак (вида семиозиса). Знак есть то, посредством чего учитывается некоторая отличная от него сущность, – это функциональное определение, выработанное во «всеобщей характеристике» XVII–XVIII вв. Знаком того или иного рода является любая сущность, фиксируемая человеком как существующая, познаваемая, ценностная и т.п. Знак, во-первых, понимается или познается, во-вторых, создается, выражается или производится. Семиозис, таким образом, делится на рецептивный и проективный. Для первого характерно представление о понимании как о переходе от знака к учитываемой посредством него сущности, т.е. к значению. Такое определение понимания встречается уже у Августина [4. Гл. 1]. Для второго характерно представление о выражении как об учете некоторой сущности посредством того или иного знака и о понимании как о создании или воссоздании сущности, учитываемой посредством знака. Одним из первых представление о проективном семиозисе ясно сформулировал М. Мерсенн в XVII в. [5. С. 191].

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-00-00760 КОМФИ.

Значение как учитываемая посредством знака сущность создается в акте понимания / познания. Этот тезис, фиксирующий положение дел в проективном семиозисе, ведет к ряду онтологических проблем, требующих если не решения, то хотя бы учета: как возможна коммуникация, если каждый из участников создает «свои» значения? как возможно познание, если значения принадлежат индивиду как таковому (проблема солипсизма)? как именно создаются новые сущности? XX в. показал, что попытки поставить эти вопросы в традиционном рецептивном смысле не приводят к новым результатам даже при учете новейших научных данных, существенно расширяющих границы познаваемого. Реализм и конструктивизм, подменив собой эмпиризм и рационализм, по-прежнему не способны к синтезу и, взятые в себе, находятся одинаково далеко от решения этих вопросов. Аргументы, сводящиеся к отсутствию у кого-либо доступа к «реальности», к констатации «равнозначности» множества «объективно существующих миров» или же к тезисам о всеобщности «законов природы» и о «единстве мира», ничего не приобретают и не теряют, даже будучи повторенными в рецептивном ключе в терминах квантовой механики или нейробиологии.

В первой половине XX в., в том числе под влиянием Ч.С. Пирса и Э. Маха, формируется философия техники как новая отрасль философского знания, в которой сугубо эмпиристские или сугубо постмодернистские подходы лишены смысла. П.К. Энгельмейер представил эту отрасль как раздел общей теории творчества, той части рефлексивного познания, в которой ставятся вопросы о «новом», «изобретении», механизмах его возникновения и формах существования. Именно философия техники позволяет поставить вопрос о синтезе реализма и конструктивизма в контексте трансцендентально-семиотического подхода, исходящего, с одной стороны, из многообразия объективно и реально существующих правил, с другой стороны, из представления об иерархическом (*Stufung und Schichtung*) характере сознания, обеспечивающего рецептивное и проективное взаимодействие этих правил в процессе жизни.

Техника, если под ней понимать «всякое целесообразное обращение наружу» [6. С. 90], ставит вполне ясную философскую проблему: что такое новое? как оно возможно? До тех пор, пока сфера «нового» исторически ограничивалась художественным творчеством в условиях естественной природы, ею можно было пренебрегать, однако в условиях второй и третьей «природы», когда технические объекты функционируют в сверхфизических областях рассудка и претендуют на управление рефлексивными процессами человеческой деятельности, такого рода пренебрежение недопустимо. Реалистская позиция в технике заключается в том, что «новое» есть особое царство («четвертое царство» Ф. Дессауэра [7. Гл. 2]) предустановленных форм решений, мир технических идей, открывающийся человеку соразмерно его потребностям и знаниям. Конструктивистская позиция здесь заключается в том, что все изобретения человек делает «из самого себя», человек сам производит новое.

Семиотическое представление техники учитывает и платонистскую доктрину о «потенциальном космосе», содержащем все возможные решения всех корректно поставленных задач, и конструктивистское представление об активности индивидуального сознания, создающего объекты в актах познания,

понимания и творчества. П.К. Энгельмейер представляет творческую деятельность в виде «трехакта», осуществляющегося во всех сферах, где создается что-либо новое. По сути, он формулирует неокантианскую версию проективной деятельности трансцендентального субъекта, берущую начало в разуме (фантазии, рефлексии), продолжающуюся путем рассудочного оформления (языкового выражения, конструкции) и завершающуюся созданием чувственно воспринимаемого объекта (артефакта, исполнения).

Работа сознания в акте рецепции начинается с чувственного восприятия, продолжается языковым оформлением и завершается рациональной рефлексией. Акт проекции обращает эту последовательность. Семиотическое выражение подобного трансценденталистского подхода подразумевает семиотический характер каждой из ступеней познания или творчества, т.е. наличие знаковых средств, выраженных некоторым материальным субстратом, наличие навыков означивания или интерпретации, наличие синтаксических и семантических правил. Следовательно, «новое» необходимо связано с тем или иным компонентом семиотического четырехугольника на ступени разума, рассудка или чувственного восприятия и подразумевает ту или иную проблематизацию конкретного компонента.

Само понятие «нового» в общем случае определяется через отрицание или через сдвиг границы познаваемого, мыслимого, возможного: новое есть то, что количественно и / или качественно трансформирует опыт (опыт как совокупность мышления, памяти и воображения) индивида в конкретном отрезке времени. Как правило, в философии техники количественную трансформацию опыта связывают с понятием открытия, а качественную – с понятием изобретения. Однако серьезный анализ приводит к формуле, согласно которой «открытие есть изобретение мысли, отвечающей определенным требованиям» [8. С. 133], «в основе всякого открытия, если оно не есть случайная находка, лежит новое изобретение мысли, конструкция нового научного понятия» [9. С. 31].

Изобретение – предмет философии техники и, шире, философии творчества. Ф. Дессауэр, обобщая в 1958 г. свои длившиеся в течение без малого полвека исследования техники, пишет, что изобретение – это «исток техники», «здесь техника является сама собой, не столь сильно перемешана и затемнена другими факторами человеческого общества» [7. С. 95]. Изобретение – это проявление ключевого свойства человека, способности творить: «Источник технических новообразований точно так же кроется в... напряжении между жизнью, воспринимаемой в качестве несовершенной, и созерцанием возможных усовершенствований. Всякий момент времени определяется попыткой приведения существующего, того, что есть, к тому, чем оно должно быть или могло бы быть. Так пробуждается и поддерживается в пробужденном состоянии латентная творческая сила» [Там же. С. 98]. В качестве иллюстрации ситуации, побуждающей к изобретению, Ф. Дессауэр приводит сюжет о Робинзоне [Там же. С. 84–85; С. 185]: в условиях противостояния одиночки первобытной природе человек реализует себя как техник-изобретатель, и лишь с появлением Пятницы возникают разделение труда и обмен результатами труда, т.е. экономика. Это рассуждение показательное в свете споров рубежа XIX–XX вв. о применимости к человеку дарвинистской модели эволюции: человек не приспосабливается к окружающей среде, он

приспосабливает окружающую среду под свои нужды. Исходной формой такого активного приспособления естественной среды под свои нужды, т.е. объективирующей технической деятельности, и является изобретение. Эту мысль высказывают как неокантианцы в терминах философии культуры [10], так и П.К. Энгельмейер, создавая первую в истории позитивистскую систему творчества в философии техники. Следствие этого рассуждения выражено в прагматистском (и марксистском) понимании человека: человек – творческое существо, он не ограничивается достижением истинностного знания о мире, но применяет это знание для изменения мира.

Процесс осуществления изобретения описывается в терминах теории познания и теории деятельности и определяется тем, каким образом формы, ступени и структуры процесса познания оказываются задействованными в проективной – творческой и технической – деятельности, возникающей посредством изобретения. Ф. Дессауэр выделяет три аспекта человеческой деятельности, являющихся условием возможности творчества: *homo investigator*, *homo inventor*, *homo faber*. Человек исследует, конструирует и воплощает. Во взаимодействии исследования, конструирования и воплощения исполняются цели деятельности, соединяются сферы возможного (потенциального) и действительного (актуального) миров. Точки соединения – изобретенные артефакты, исполняющие технические задачи согласно человеческим целям [7. Гл. 2].

П.К. Энгельмейер более чем за 20 лет до выхода первой монографии Ф. Дессауэра о технике сформулировал общие основания творческой технической деятельности, назвав их «трехактом»: «В первом акте изобретение предлагается, во втором доказывается, в третьем осуществляется. В конце первого акта это – гипотеза; в конце второго – представление; в конце третьего – явление. Первый акт определяет его телеологически, второй – логически, третий – фактически. Первый акт дает замысел, второй план, третий – поступок» [8. С. 103]. Практически одновременно с Ч.С. Пирсом он ставит вопрос о проективной, объективирующей деятельности как таковой на фоне рецептивных, субъективирующих процессов познания. Собственно изобретение – это то, что делает человек при переходе от познания к деятельности, «скачок через логическую пропасть» [Там же. С. 8]. Механизм изобретения – это пересборка состава опыта, т.е. системная трансформация опыта, не вытекающая из самого опыта: в акте изобретения «прежний опыт распадается на составные части и из них тут же составляется новое сочетание» [Там же. С. 39]. Дефиниция изобретения звучит так: «Это искусственный предмет, действие и мысль... имеющие значение орудия» [Там же. С. 57]. Очевидно, что неявный фон рассуждений П.К. Энгельмейера задается не только работами Э. Маха с анализом «мысленного эксперимента» на фоне чувственных данных, но и критической теорией Г. Когена, А. Введенского и др.: концепция трехакта есть, в сущности, обращение трехступенчатого трансценденталистского представления об акте познания, состоящего из чувственного восприятия, рассудка и разума. Техника и творчество есть изменение направления семиозиса познания, творческий семиозис задается разумом (как средой фантазии, воображения, рефлексии, целеполагания), осмысливается рассудочными схемами и завершается чувственно воспринимаемым артефактом, выполненным соразмерно законам природы. Изобретение – это создание нового (на языке

семиотики – создание нового знака), условием возможности изобретения является переход от субъективации к объективации, т.е. «интуиция», или «откровение» [8. С. 60]. О значимости философских находок П.К. Энгельмейера говорит тот факт, что действующее определение изобретения в законодательстве РФ построено в его модели: «Изобретение представляет собой новое и обладающее определенными отличиями от других техническое решение, направленное на решение определенной задачи (получение конечного продукта или реализацию особого процесса) в любой сфере человеческой деятельности, предполагающее некий положительный эффект» [11].

Важные для определения содержания «изобретения» результаты получил И.И. Лапшин, развивая и конкретизируя в рамках критической философии теорию творчества П.К. Энгельмейера. И.И. Лапшин в рассуждении о «научных фантазмах» [9. С. 103–107] на несколько десятков лет опережает популярную формулировку гипотетико-дедуктивного метода К.Р. Поппером и стремится описать изобретение в виде логического вывода, т.е. в качестве того нового суждения, что возникает в результате умозаключения: «Всякое научное изобретение есть вывод с одной или двумя синтетическими посылками и, следовательно, с синтетическим умозаключением. Большая посылка выражает момент непрерывного накопления. Это то ранее приобретенное знание, которое находится в распоряжении памяти и рассудка ученого. Меньшая посылка выражает момент изобретательности или, как выражается Кант, способности суждения. Заключение есть синтетический вывод разума из двух процессов – непрерывного накопления знания рассудком и прерывного – догадки, силы суждения» [Там же. С. 138–139]. И.И. Лапшин, если сопоставлять его рассуждения с работами П.К. Энгельмейера и Ф. Дессауэра, уделяет большее внимание психологическому описанию изобретения, нежели техническим примерам, рассуждает в первую очередь об изобретении в деятельности философской рефлексии, называя его «самым поздним плодом человеческой культуры» [Там же. С. 161]. Исторически человек научается изобретать артефакты в сфере чувственного восприятия (орудия труда), затем в сфере рассудка (языки), и после этого – артефакты в сфере рефлексии. Философские изобретения – это афоризм, диалог и система [Там же. С. 163–164]. Обоснование исторически позднего характера философского изобретения, данное И.И. Лапшиным, позволяет видеть в неокантианстве системное обоснование логики и направления технического развития, развертывания «мировой силы» техники в виде перехода от естественной природы к искусственной природе второго и третьего порядков: если естественные механизмы человеческой рефлексии осознаются в последнюю очередь (и по сей день интуиция и догадка часто описываются в виде сверхрационального озарения или мистического откровения), то и техническому преобразению они оказываются подвержены в последнюю очередь. Технический прогресс на первом шаге охватывает области чувственного восприятия (в пределах теории органопоекции), на втором – области рассудка (в виде формализации процессов мышления: теория мышления как исчисления, неархимедовы машины и т.п.), на третьем – области разума (формализация абдуктивного вывода).

Исключительной ценностью для понимания психической основы изобретательской деятельности обладают рассуждения И.И. Лапшина об интуиции, равно как и о трех принципиальных точках зрения на основания теории изоб-

ретения. Об интуиции, понимаемой в качестве сверхрациональной формы познания, он высказывается весьма радикально: «Не существует никакой творческой интуиции как особого творческого акта, который не разлагался бы без остатка на... переживания чуткости (т.е. памяти на чувства ценности или значимости известных образов, мыслей или движений), пронизательности (т.е. умения пользоваться теми же чувствами ценности в комбинационной работе воображения, мышления и двигательных процессов) и чувства целостной концепции (т.е. опять же способности учуять по эмоциональным подголоскам сродство между собою образов, мыслей или движений, организуемых нами в направлении известной конечной цели)» [9. С. 219]. Это существенный шаг в конкретизации понимания интуиции как акта пересборки имеющегося у изобретателя до акта изобретения опыта. Подобное разложение понятия интуиции позволяет, например, в контексте общей семиотики проанализировать интуицию в виде набора прагматических правил, комплексная реализация которых порождает новый знак. Принципиальные точки зрения на изобретение И.И. Лапшин делит на мистическую, рациональную и эмпирическую [Там же. С. 310–311]. Это вполне традиционный для кантианца ход, позволяющий (с полным правом) сформулировать критическую теорию в виде инструмента преодоления неразрешимых для каждой отдельно взятой модели противоречий. Следует добавить, что благодаря усилиям Э. Кассирера критическая теория была сформулирована как общая теория знаков, или семиотика, в рамках которой можно и нужно дать системное представление изобретения для каждого из уровней познания.

Анализ истории понятия изобретения, даже фрагментарный и неполный, позволяет увидеть в техническом объекте, возникающем в результате акта изобретения, прагматистское решение проблемы значения, невозможное вне привлечения трансцендентально-семиотического подхода. Рассуждение строится следующим образом. В проективной деятельности субъект последовательно исполняет: 1) семантическое правило рационального семиозиса; 2) семантическое правило рассудочного семиозиса; 3) семантическое правило семиозиса чувственного восприятия. На первом шаге новое возникает как новое соотношение мыслимого и немислимого, новый порядок расположения мыслей, новые мысли (новые гипотезы, фантазмы), новый субстрат рефлексии; на втором шаге – как новое соотношение выразимого и невыразимого в языке, новый порядок расположения знаков (предложений и текстов на том или ином языке), новое обозначение, новый субстрат языкового выражения (например, программирование); на третьем шаге – как новое соотношение возможного и невозможного, новые правила деятельности (законы природы), новые объекты чувственного восприятия (артефакты), новые субстраты объективирующей деятельности (например, создание артефактов в микромире).

Значение как исполнение семантического правила проективного семиозиса – это: 1) продукт рефлексии в виде «фантасма» в смысле И.И. Лапшина, «теории» в смысле К.Р. Поппера или «идеи» в смысле актуальных моделей инновационной цифровой экономики; 2) продукт выражения в виде конструируемого языком языкового обозначения; 3) продукт сообразного законам природы технического исполнения в виде конкретного артефакта, технического объекта. Анализ процессов создания значений в творческой техниче-

ской деятельности позволяет с большей полнотой увидеть сложность процесса изобретения как сдвига границ мыслимого / немислимого, выразимого / невыразимого и возможного / невозможного и учесть ее в практических рекомендациях субъектам, участвующим в процессах технической, экономической, образовательной деятельности.

Техника как таковая, если следовать определению Ф. Дессауэра, является узкой областью проективного материального осуществления форм рассудка в субстрате физического мира, доступного чувственному восприятию. Эту область можно обозначить как область технического семиозиса, где синтаксические правила фиксируют способы преобразования рассудочных схем в объекты и процедуры физического мира, прагматические правила показывают применение так определенного синтаксиса в рамках доступного конкретному субъекту запаса знаний, навыков и умений, семантические правила показывают воплощенные в физическом мире технические объекты как значения и технические среды – как системы значений.

Таким образом, мы можем сформулировать определение категорий изобретения и значения в проективном семиозисе техники. «Значением» в контексте философии техники является исполнение семантического правила в семиозисе разумной, рассудочной и физической деятельности человека. «Изобретением» является трансформация правила образования и / или преобразования знаков, возникающая в результате изменения прагматического правила, задающего направление семиозиса, и влекущая новое значение.

Такое определение «значения» позволяет в общем смысле классифицировать проективный семиозис по признаку полноты: например, полным технический объект является тогда, когда включает в себя значения всех доступных слоев семиозиса, т.е. реализуется как понятие, предмет и наблюдаемый объект, неполным – когда в нем невозможно исполнение семантического правила уровня чувственного восприятия и / или рассудочной деятельности. Подобная классификация важна при различении, например, эстетического, художественного и технического объектов.

Определение «изобретения» позволяет ясно увидеть «уровень развития» того или иного субъекта семиозиса посредством фиксации уровня, на котором происходит изменение направления семиозиса, и определения суммы осуществленных трансформаций синтаксических правил данного уровня, влекущих те или иные исполнения. В общем случае это следствие значимо для антропологии и истории, позволяя получить, например, количественные характеристики исторического субъекта или же количественные основания для деления субъектов на «рутину», «талант» и «гений» в смысле И. Канта и П.К. Энгельмейера [8. С. 159–177].

Литература

1. Нестеров А.Ю. Семиотические основания техники и технического сознания. Самара, 2017.
2. Нестеров А.Ю. «Исполнение» в семиотике техники // Гуманитарный вектор. 2018. Т. 13, № 3. С. 111–118.
3. Нестеров А.Ю. «Изобретение» в университете 3.0 и 4.0 // Перспективные информационные технологии (ПИТ 2018) : международная научно-техническая конференция. 2018. С. 1376–1381.
4. Кузнецов В.Г. Герменевтика и гуманитарное познание. М., 1991.

5. Рополь Г. Техника как противоположность природы // *Философия техники в ФРГ*. М., 1989.
6. Энгельмейер П.К. *Философия техники*. СПб., 2013.
7. Дессаур Ф. *Спор о технике*. Самара, 2017.
8. Энгельмейер П.К. *Теория творчества*. М., 2010.
9. Лапшин И.И. *Философия изобретения и изобретение в философии : введение в историю философии*. М., 1999.
10. Дмитриева Н.А. *Русское неокантианство : «Марбург» в России : историко-философские очерки*. М., 2007.
11. *Право интеллектуальной собственности. Общие положения* / Н.А. Новосёлова (общ. ред.). Т. 1 // Информационная система «КонсультантПлюс».

Alexandr Yu. Nesterov, Samara National Research University (Samara, Russian Federation).

E-mail: phil@ssau.ru, aynesterow@yandex.ru

Anna I. Demina, Samara National Research University (Samara, Russian Federation).

E-mail: phil@ssau.ru, ademina83@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 49. pp. 42–50.

DOI: 10.17223/1998863X/49/5

THE CATEGORIES “MEANING” AND “INVENTION” IN THE CONTEXT OF THE SEMIOTICS OF TECHNOLOGY

Keywords: philosophy of technology; projective semiosis; problem of the new; invention; meaning.

The article summarizes the results obtained by the team of authors when working on a project on the study of semiotic foundations of technology and technical consciousness presented in the reports of the conferences in 2017–18. The notion of meaning is considered in the context of general semiotics as the fulfillment of the semantic rule of semiosis. Semiosis itself is divided into receptive and projective; receptive semiosis is referred to as “cognition”, projective semiosis as “technology”. The subject of analysis is the transition from receptive semiosis to projective one, fixed in the philosophy of technology through the concept of “invention” and entailing the creation of the “new”. The authors interpret classical works on the philosophy of technology of Peter K. Engelmeyer and Friedrich Dessauer, the concept of invention of Ivan I. Lapshin. The general methodology is transcendental semiotics as reflected in the works of Alexandr Yu. Nesterov. The reasoning is constructed as follows. In the projective activity, the subject consistently performs (1) the semantic rule of semiosis in intellect [intellectus, Vernunft], (2) the semantic rule of semiosis in reason [ratio, Verstand], (3) the semantic rule of semiosis in sensory perception. At the first step, the “new” arises as a new ratio of the imaginable and unthinkable, the new order of the arrangement of thoughts, new thoughts (new hypotheses, phantasms), a new substratum of reflection; at the second step, it arises as a new expression of the expressible and the ineffable in the language, a new order of the arrangement of signs (sentences and texts in one or another language), a new designation, a new substratum of linguistic expression (for example, programming); at the third step, as a new relationship between the possible and the impossible, new rules of activity (laws of nature), new objects of sensory perception (artifacts), new substrata for objectifying activity (for example, creating artifacts in the microworld). The result of the work is formulated in the form of definitions: “meaning” in the context of the philosophy of technology is the consistent fulfillment of the semantic rule in the semiosis of the intellectual, rational and physical activity of man, “invention” is the transformation of the rule of formation and/or the transformation of signs resulting from a change in the pragmatic rule direction of semiosis and entailing a new meaning.

References

1. Nesterov, A.Yu. (2017) *Semioticheskie osnovaniya tekhniki i tekhnicheskogo soznaniya* [Semiotic foundations of technology and technical consciousness]. Samara: [s.n.].
2. Nesterov, A.Yu. (2018) “Execution” in the Semiotics of Technology. *Gumanitarnyy vector – Humanitarian Vector*. 13(3). pp. 111–118. (In Russian). DOI: 10/21209/1996-7853-2018-13-3-111-118
3. Nesterov, A.Yu. (2018) [“Invention” at the University 3.0 and 4.0]. *Perspektivnye informatsionnye tekhnologii (PIT 2018)* [Advanced Information Technologies (ITT 2018)]. Proc. of the International Conference. Moscow. pp. 1376–1381. (In Russian).

4. Kuznetsov, V.G. (1991) *Germenevtika i gumanitarnoe poznanie* [Hermeneutics and humanitarian knowledge]. Moscow: Moscow State University.
5. Ropol, G. (1989) Tekhnika kak protivopozlozhnost' prirody [Technology as the opposite of nature]. In: Arzakanyan, Ts.G. & Gorokhov, V.G. (eds) *Filosofiya tekhniki v FRG* [Philosophy of Technology in Germany]. Translated from English and German. Moscow: Progress.
6. Jengelmejer, P.K. (2013) *Filosofiya tekhniki* [Philosophy of Technology]. Translated from German. St. Petersburg: [s.n.].
7. Dessauer, F. (2017) *Spor o tekhnike* [Philosophy of Technology]. Translated from German by A.Yu. Nesterov. Samara: Samara Academy for the Humanities.
8. Jengelmejer, P.K. (2010) *Teoriya tvorchestva* [Theory of Creativity]. Translated from German. Moscow: Librokom.
9. Lapshin, I.I. (1999) *Filosofiya izobreteniya i izobretenie v filosofii: Vvedenie v istoriyu filosofii* [Philosophy of invention and invention in philosophy: Introduction to the history of philosophy]. Moscow: Respublika.
10. Dmitrieva, N.A. (2007) *Russkoe neokantianstvo: "Marburg" v Rossii: Istoriko-filosofskie ocherki* [Russian Neo-Kantianism: Marburg in Russia: Historical and Philosophical Essays]. Moscow: Rosspen.
11. Novoselova, N.A. (ed.) (n.d.) *Pravo intellektual'noy sobstvennosti. Obshchie polozheniya* [Intellectual Property Law. General Provisions]. Vol. 1. [Online] Available from: Konsultant Plus.

УДК 167/168

DOI: 10.17223/1998863X/49/6

О.И. Целищева

КОНФЛИКТ НОРМ В ФИЛОСОФСКОМ МЫШЛЕНИИ: СЛУЧАЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Рассмотрена проблема конфликта норм в философском мышлении в рамках одной парадигмы. Предметом анализа были выбраны стили мышления в современной аналитической философии в трактовке восходящего к Аристотелю тезиса эссенциализма о наличии у объектов необходимых и случайных свойств. Исследуется конфликт между антиметафизической трактовкой эссенциализма У. Куайном и возрождением метафизики эссенциализма С. Крипке. В статье делается вывод, согласно которому история неприятия и возрождения в аналитической философии аристотелевского эссенциализма представляет собой изменение концепции нормативности.

Ключевые слова: норма, парадигма, эссенциализм, метафизика, Хинтиikka, Куайн, Крипке, Рорти.

Каждой философской школе присущи свои способы обсуждения и решения проблем. При всех разговорах о Философском Методе, подразумевающих неявно единственность такого метода и его отличие от научных методов, различия в таких способах являются настолько существенными, что неприятие философскими направлениями друг друга доходит до полного отрицания принадлежности соперника к философии вообще. Однако внутри каждой из конфликтующих школ существуют значительные разногласия по множеству вопросов. Такое положение дел ставит под сомнение саму идею особого философского метода. С другой стороны, вполне возможно, что упомянутые противоречия между методами различных философских направлений являются преувеличением, поскольку зачастую можно говорить о том, что противники в философии охотно заимствуют проблематику друг у друга и разделяют некоторые базисные предпосылки.

В данной статье рассматривается случай аналитической философии, которая, по общему убеждению, противоположна так называемой континентальной философии во многих отношениях, по крайней мере в отношении метафизики. Со времени критики Б. Расселом и Дж. Муром британского абсолютного идеализма и исключения метафизики из философии Венским Кружком метафизические темы долгое время не приветствовались в аналитической философии. Однако начиная с 1980-х гг. можно говорить о нарушении этого табу, проявившемся в успешном применении модальной логики к анализу метафизических контекстов. В самое последнее время возник интерес к таким темам, как аналитическая эстетика или аналитическая теология. В определенном смысле это явилось нарушением признанных норм философствования в аналитической философии. Представляет интерес рассмотрение этого феномена с двух разных точек зрения – континентальной и аналитической. В качестве представителя первой нами выбран известный критик аналитической философии прагматист Ричард Рорти, а представителем второго – ведущий логик и философ науки Я. Хинтиikka. Предметом их оценки

является обоснованность попыток возрождения метафизической доктрины эссенциализма одним из наиболее известных аналитических философов С. Крипке. Для понимания ситуации следует сделать некоторый экскурс в соотношении логики и философии.

Б. Рассел полагал, что в основе метафизических систем лежат, явно или неявно, логические доктрины, провозгласив знаменитый лозунг «Логика есть сущность философии», который определил этим самым важную составляющую аналитической философии. Убедительным примером такой стратегии является выделение Расселом «доктрины внутренних отношений», лежащей в основе метафизики Ф. Брэдли, и провозглашение «доктрины внешних отношений», требуемой для новой философии логики и математики, положенной в основу аналитической традиции [1]. Дальнейший «лингвистический поворот» обобщил эту тенденцию, расширив роль, предназначавшуюся логике, до анализа языка вообще, поставив в центр внимания анализ значения [2]. Наконец, усилиями Венского Кружка аналитическая философия окончательно сориентировалась на научный способ обсуждения своих проблем. В частности, атака на метафизику увенчалась убеждением, что утверждения, не являющиеся эмпирически проверяемыми, являются попросту бессмысленными. К осмысленным, но неинформативным, относились математические и логические утверждения. Антиметафизическая направленность явно стала считаться нормой аналитического способа философствования. Таким образом, логика и лингвистический анализ стали играть ведущую роль в формировании аргументов против метафизики как допустимого метода в философии.

Однако дальнейшее развитие логики привело к тому, что сама логика стала неявной поддержкой метафизики. В частности, речь идет об эссенциализме Аристотеля. Модальная логика апеллирует к метафизическим концепциям необходимого и случайного утверждений. Эссенциализм как доктрина резко контрастирует с эмпиризмом как неотъемлемой частью аналитической традиции. Для сохранения последней в чистоте роль экзорциста взял на себя виднейший логик и, пожалуй, наиболее видный аналитический философ второй половины XX в. У. Куайн. Будучи сторонником тотального проникновения эмпиризма в философию в виде так называемой натурализованной эпистемологии, Куайн в своей критике метафизики сделал вполне обоснованный шаг, приведя аргументы против возможности кванторной модальной логики [3]. Именно в языке этой логики возможна строгая формулировка понятий необходимости и возможности, по крайней мере так называемой алетической модальности. Больше того, именно в этом языке находят точное выражение понятия *de re* и *de dicto* модальностей, употребление которых было важным в аристотелевского толка метафизике. Куайн представил аргументацию, согласно которой квантификация модальных контекстов ведет к аристотелевскому эссенциализму, который считался им попросту недопустимым в научно ориентированной философии. Эти аргументы сводились в представлении им в кванторной модальной логике парадоксов, разрешение которых не представлялось легким делом.

Конечно же, речь не идет о том, что с помощью логики Куайн опроверг эссенциализм как метафизическую доктрину; на самом деле он отвергает ее изначально. Речь идет о том, что в основу метафизики необходимости и возможности нельзя класть логику. Лишение логики статуса верховного судьи в

этом вопросе сильнейшим образом подрывает саму идею аналитического метода. Парадоксы кванторной модальной логики Куайна породили значительную вторичную литературу, цель которой состояла в попытках ограничения значимости куайновской аргументации. В частности, речь шла о степенях вовлечения кванторной модальной логики в эссенциализм. Некоторые степени такого вовлечения оказались достаточно невинными, и тем не менее окончательно избавиться от парадоксов не удавалось. Дело в том, что парадоксы намекали на формальные дефекты самой кванторной модальной логики. Далеко не все аналитические философы были согласны с тем, что узкие технические вопросы логики должны иметь такое решающее значение для философии как таковой. Параллельно с их сомнениями шли активные поиски удовлетворительной в формальном отношении системы кванторной модальной логики. Иронией судьбы во всей этой истории является то, что корректность данной логики была показана не кем иным, как аспирантом Куайна, впоследствии известным философом Д. Феллесдалем. Любопытным обстоятельством является и то, что впоследствии Д. Феллесдаль много усилий приложил для установления связей аналитической философии и феноменологии.

Но реакции Куайна практически не последовало, что подтверждало точку зрения тех, кто не видел прямой связи между логикой и метафизикой. Дело в том, что позиция Куайна в отношении метафизики определялась не столько частными техническими проблемами кванторной модальной логики, сколько его более общей эмпиристской позицией, в которой не было места концепции значения как интенциональной сущности. Его работа 1951 г. в этом направлении «Две догмы эмпиризма» [4] сделала его доминирующей фигурой в аналитическом движении. Сама идея «необходимой истины», важнейшей категории в доктрине эссенциализма, оказалась под вопросом. В этом отношении Куайн унаследовал традицию, идущую от Фреге и Рассела, согласно которым полагание одних свойств необходимыми, а других случайными – это просто наследие схоластики средневековой схоластики, восходящей к Аристотелю. Куайн убедительно показал, что необходимость и случайность на самом деле зависят от способа описания или указания объекта, обладающего этими свойствами. Таким образом, указание объекта определяется значением, потому что описание создает в определенном смысле объект.

В этом смысле история неприятия и возрождения в аналитической философии аристотелевского эссенциализма представляет собой изменение концепции нормативности как некоторого рода предписания, что можно там делать, а что нельзя. Неизбежно соотнесение изменения норм с переходом к одной парадигмы к другой. Но, на наш взгляд, было бы естественным считать изменение норм процессом в рамках одной парадигмы, процессом в рамках нормального периода развития науки. Но и при этом исследование такого процесса является важным для понимания структуры философского мышления.

Таков фон, на котором развернулось сражение за изменение норм. Появление работы С. Крипке «Именование и необходимость» [5] стало шоком для философов, которые придерживались точки зрения Фреге–Рассела–Куайна на метафизику, в частности на эссенциализм. Вряд ли эмпирически настроенные философы были готовы принять идею, что некоторые свойства внутренне

присущи вещам. Конструкции этих философов отвергали наивный реализм, утверждая, что указание и значение есть ментальные конструкции, не отвечающие прямо объектам внешнего мира. Аристотель в своем эссенциализме взывал как раз к такому наивному реализму, который присущ также обычному человеку и ученому. Оба они верят, что язык есть инструмент описания объектов, а не создания их. Технически Крипке представил концепцию, которая апеллировала к семантике возможных миров, т.е. в конечном счете к той самой кванторной модальной логике. В частности, он ввел понятие «твердого десигнатора», т.е. термина, который указывает на один и тот же объект во всех возможных мирах. Это означает, что указание на объект этим термином не зависит от значения термина, в полном противоречии с концепцией указания как Фреге, так и Рассела. Но в этом противостоянии есть нюанс, который превратился в своего рода идеологическое противоборство: интуиция против логической техники. Теория указания Рассела опиралась на его теорию дескрипций, которая стала частью машинерии в основаниях математики. Столь же изощренные средства использовал Фреге в своей теории смысла и указания. А вот Крипке, от которого как от автора семантики для модальной логики можно было ожидать как раз технических средств для обоснования концепции твердого десигнатора, апеллировал к интуиции, которая, с его точки зрения, обосновывала эту концепцию. Понятие твердого десигнатора и его роль в оправдании доктрины эссенциализма вызвала лавину вторичной литературы, анализ которой не предполагается в данной статье. Интерес представляет неожиданно одинаковая реакция на такое изменение норм двух антагонистов – Я. Хинтикки и Р. Рорти.

Некоторые философы считают, что появление работы Крипке «Именование и необходимость» стало новой страницей в аналитическом движении. В чем состояла важность этой работы Крипке в общепhilosophическом контексте? Одно из достижений Крипке в опоре на интуицию обыденного человека состояло в обнаружении необходимых апостериорных утверждений, которые не допускались прежней аналитической философией. Здесь интересно мнение Рорти по поводу важности этой находки Крипке: «Мое собственное мнение об открытии необходимых апостериорных утверждений сводится к тому, что не имеет такого уж большого значения, да и не будет, вероятно, иметь. Я не вижу никаких свидетельств, что аналитические философы используют другие „фундаментальные методологические понятия“ по сравнению с теми, которые использовались ими до 1970 г. Мое впечатление, что спустя 35 лет после революции Крипке множество философов могли бы сказать ему: „Мы видели вашу точку зрения об аристотелевской интуиции обыденного человека, и готовы вслед за вами назвать необходимыми истинами „Вода есть H₂O“ и „Киты это не рыбы“. Мы отрекаемся от веры в том, что необходимость есть все что угодно, но только не аналитичность. Ну и что с того? Что отсюда следует? Что вы сделали, кроме как изменили наше употребление термина „необходимость“, так это сделали его немного менее парадоксальным“» [6. Р. 12].

Причина скепсиса подобного рода состоит в том, что апелляция к интуиции не всегда оправдана. Поскольку Крипке был известен фундаментальными результатами в области модальной логики (изобретя семантику для формальных систем модальной логики одновременно и независимо от

аналогичных работ Я. Хинтикки и С. Кангера), ожидания публики, что Крипке, вооруженный новой логической техникой, будет использовать ее для своей аргументации, не оправдались. Крипке в качестве «верховного судьи» в философской аргументации выбрал не логику, а «интуицию» обыденного человека. По мнению Р. Рорти, обычной стратегией Крипке стал не поиск сногшибательных аргументов, а «интуитивность», противостоящая всяким там ложным ухищрениям различных философских школ. Как выразился Р. Рорти, после появления труда «Именование и необходимость» Крипке, обещавшего новую эру в аналитической философии, все ждали, «когда Крипке бросит следующий башмак в стену».

«Часто в литературе предполагается, что хотя за понятием необходимости может лежать некоторого интуиция... это понятие (различие между необходимыми и случайными свойствами) есть просто доктрина, придуманная каким-то плохим философом, который (я полагаю) не понимал, что есть несколько способов указания на одну и ту же вещь... весьма далеко от истины представление (что свойство может быть существенным или случайным для объекта независимо от его описания). Не имеет интуитивного содержания, которое ничего не значит для обычного человека. Предположим, кто-то говорит, указывая на Никсона, „это парень, который мог бы проиграть выборы“. Кто-то еще другой говорит, „о нет, если вы описываете его как истинно победителя, тогда не истинно, что мог бы проиграть“. Ну и кто из них философ, не-интуитивный человек? Для меня ясно, что это второй. Этот второй имеет философскую теорию. Первый человек мог бы сказать, с большим убеждением: „Ну, конечно, победитель в выборах мог бы быть кем-то еще...“ Поэтому такие термины, как „победитель“ или „проигравший“, не обозначают один и тот же объект во всех возможных мирах. С другой стороны, термин „Никсон“ есть просто имя этого человека» [7. Р. 3].

Но обладает ли обычный человек достаточной компетенцией, которая позволит ему на самом деле анализировать логику контрфактических ситуаций? На техническом жаргоне семантики возможных миров эта ситуация связана с прослеживанием индивидов сквозь возможные миры, и эти индивиды у Крипке являются как раз твердыми десигнаторами. В какой степени правдоподобно предположение, что обычный человек имеет прямую интуицию «твердости» имен, или десигнаторов? Такие ситуации связаны с тонким философским анализом, выливающимся во многие противоречащие друг другу концепции обозначения. По сути, вся западная эпистемология связана с проблемой обозначения терминами языка объектов внешнего мира и, как следствие, с проблемой того, какие термины могут быть адекватны для этой функции и как они это делают. На первом месте стоит, конечно, проблема собственных имен: есть теория Дж.С. Милля, есть теория Г. Фреге, есть теория Рассела и теперь уже теория С. Крипке. И трудно поверить, что обычный человек компетентен в выборе между этими теориями.

Таким образом, с точки зрения Рорти, существует значительный зазор между тем, что Крипке считает интуицией обыденного человека, и более реалистическим представлением об этом человеке, интуиция которого вряд ли выдержит сопоставление с философскими тонкостями, окружающими теории именования. В конце концов можно представить себе затруднения, в которые может попасть обыденный человек со своей интуицией при осмыслении си-

туаций, хотя и в некотором отношении искусственных, но не в большей степени, чем это он делает у Крипке. Рорти приводит такой пример: «Представим себе что имя „Аристотель“ принадлежит переписчику всех произведений, которые составляют корпус сочинений, приписываемый настоящему Аристотелю. Каждый трактат в этом корпусе написан кем-то из окружения Аристотеля, а некоторые даже им самим. А теперь посмотрим, как среагирует обычный человек, вооруженный своей интуицией, на вопрос об истинностном значении предложения „Аристотель менее религиозен, чем Платон“» [7. Р. 3].

Ясно, что тут требуется тонкий анализ, и опираться просто на интуицию будет опрометчиво. Но даже если оставить в стороне такие казусные случаи, возникает вопрос, решает ли что-либо интуиция в нашем выборе между, скажем, Аристотелем и Платоном? Так вот Крипке явился первым, по сути, аналитическим философом, который посчитал эссенциализм верной доктриной, реабилитируя Аристотеля, и, естественно, веру обычного человека. Что касается такой веры, то ясно, что она обязана интуиции, близко граничащей со здравым смыслом. Традиционно философы полагали такие веры наивными, не заслуживающими внимания, поскольку эти веры не являлись частью изощренных философских конструкций. Вопрос о том, в какой мере философы должны учитывать интуиции подобно рода, не пользовался особым успехом у них, пока Крипке не сделал его актуальным, провозгласив, что размышления философов в конечном счете основаны на такой интуиции, которая представляет собой до-философский дискурс.

Таким образом, важность позиции Крипке, отвлекаясь от частного случая модальной логики, заключается в том, что в основе всякой философской теоретической аргументации лежат до-философские, до-теоретические представления, которые надо учитывать, а в некотором случае ставить во главу угла, в уточненных философских конструкциях.

Следует предположить, что для обычного человека с его интуитивными представлениями вопрос о том, чья теория – Крипке или Рассела – более предпочтительна, глубоко безразличен. И вряд ли имеет смысл полагаться на интуицию обычного человека в такого рода вопросах. Но даже если мы не будем утрировать ситуацию обращением к фигуре обычного человека вместо понимания места этих дебатов в общей культуре, ясно, что следствия семантических теорий указания вряд ли окажут какое-либо влияние на культуру в целом. Для Рорти, если мы говорим о философии вообще, является важным положение о том, что философия является частью культуры, и такие технические вопросы, как роль логических концепций в философских взглядах, вряд ли что-либо меняют в оценке роли философии в культуре. Однако столь общая постановка вопроса нивелирует вообще вопрос о специфике философского метода, наличие которого Рорти отрицает полностью.

С другой стороны, если мы не хотим остановиться на уровне «обычный человек *vis a vis* культура в целом», нас прежде всего интересует философская позиция в отношении уже философской интуиции, облагороженной средствами философии интуиции обычного человека. С этой точки зрения чрезвычайно интересна точка зрения соперника Крипке по изобретению семантики для модальной логики, Я. Хинтикки. Он резко критикует понимание задачи философии как систематизации интуиций философа относительно

исследуемого предмета. В определенной мере такие интуиции весьма близки к до-философской интуиции.

«Я нахожу подобную практику скандальной. В прошлом каждый видный философ, который вызвал к интуиции, имел теорию или объяснение того, почему мы можем получить новое знание или понимание, размышляя над нашими собственными идеями... Но современное использование интуиции в философии редко подкрепляется таким обоснованием. Уже этого вполне достаточно, чтобы такого рода апелляции к интуиции выглядели в высшей степени подозрительно» [8. С. 289].

Ни для никого не было секретом, против кого направлено это обвинение. Соперничество Крипке и Хинтикки было достаточно на слуху. Однако у Хинтикки были основания для такой критики, потому что апелляция к интуиции требует серьезного подкрепления интересными следствиями более технического порядка.

Но, как известно, этого не произошло, и больше того, интуиция подвела самого Крипке: его интерпретация Витгенштейна в работе «Витгенштейн о правилах и индивидуальном языке» большинством специалистов посчиталась ошибочной, что явилось шоком для звезды аналитической философии [9]. В каком же случае опора на интуицию является все-таки оправданной? И откуда взялось в аналитической философии стремление апеллировать не к анализу, а к интуиции? Хинтикка раскрывает «генезис» этой тенденции, продолжая разговор об угрозах аналитической философии со стороны этой тенденции.

Методологически неподкованные философы начали в 1960-х гг. имитировать Хомского, или скорее имитировать то, что они приняли за методологию Хомского. Эта методология воспринималась как существенное полагание на интуицию компетентного говорящего по поводу грамматически различных цепочек символов. Иногда задача грамматики характеризовалась как регламентация таких интуиций. Чего с самого начала не понимали философы, имитирующие Хомского, так это того, что он был тайным картезианцем, который за собой имел скрытое подкрепление своей апелляции к интуиции, которая, по крайней мере, удовлетворяла его. Увы, огромное число философов, которые в наши дни призывают к интуиции, не являются картезианцами и не имеют никакой другой теоретической поддержки для своей апелляции к интуиции. Поэтому они не предлагают никаких резонов в пользу того, почему мы должны доверять любому их заключению, которое прямо или косвенно основывается на апелляции к интуиции [8. С. 289].

В конечном счете по прошествии некоторого времени первоначальный энтузиазм, связанный с использованием Крипке «аргументации от интуиции», пошел на спад, потому что стало ясно, что опора на до-философские представления при формировании философских теорий несовместима с задачей, которую ставит перед собой аналитическое движение: согласно Куайну, экспликация есть элиминация, и если речь идет об экспликации до-теоретических понятий, то необходима их элиминация, которая исключает возврат к понятию, которое требует экспликации.

В этом смысле предложенная краткая история неприятия, возрождения и дальнейшего неприятия в аналитической философии аристотелевского эссенциализма представляет собой изменение концепции нормативности как неко-

того рода предписания, что можно там делать, а что нельзя. Неизбежно соотнесение изменения норм с переходом от одной парадигмы к другой. Но на наш взгляд, было бы естественным считать изменение норм процессом в рамках одной парадигмы, процессом в рамках нормального периода развития науки. Однако и при этом исследование такого процесса является важным для понимания структуры философского мышления.

Литература

1. Russell B. *My Philosophical Development*. London : Unwin Books, 1975.
2. *The Linguistic Turn* / ed. R. Rorty. Chicago : Chicago University Press, 1992.
3. Куайн У. Референция и модальность // Куайн У. С логической точки зрения / пер. В. Ладова и В. Суровцева. М. : Канон+, 2010. С. 200–228.
4. Куайн У. Две догмы эмпиризма // Куайн У. С логической точки зрения / пер. В. Ладова и В. Суровцева. М. : Канон+, 2010. С. 45–80.
5. Kripke S. *Naming and Necessity*. Cambridge : Harvard University Press, 1980.
6. Rorty R. How Many Grains make a Heap? // *London Review of Books*. 1980. Vol. 27, № 2. P. 12–13.
7. Rorty R. Kripke vs Kant // *London Review of Books*. 1980. Vol. 2, № 17. P. 4–5.
8. Хинтикка Я. Кто там готов убить аналитическую философию? // Целищев В. Философский переписчик : переводы и размышления. Новосибирск : Омега-Пресс, 2014. С. 283–292.
9. Бейкер Г.П., Хакер П.М.С. Скептицизм, правила и язык / пер. В. Суровцева и В. Ладова. М. : Канон+, 2008.

Oxana I. Tselishcheva, Institute of Philosophy and Law, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation).

E-mail: oxanatse@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 49. pp. 51–59.

DOI: 10.17223/1998863X/49/6

A CONFLICT OF NORMS IN PHILOSOPHICAL THINKING: THE CASE OF ANALYTIC PHILOSOPHY

Keywords: norm; paradigm; essentialism; metaphysics; Hintikka; Quine; Kripke; Rorty.

The article considers the problem of the conflict of norms in philosophical thinking within the framework of one paradigm. The subject of analysis is the styles of thinking in modern analytic philosophy in the treatment of the thesis of Aristotelian essentialism, a doctrine about necessary and contingent properties for objects. The conflict between the anti-metaphysical treatment of essentialism by Willard Quine and the revival of metaphysics of essentialism by Saul Kripke is investigated. The two approaches are compared within the framework of one paradigm of analytic philosophy on the basis of Quine's objections to quantifier modal logic and the admissibility of this logic in the concept of naming by Kripke. It is shown that Quine adopts normative guidelines within the framework of Russell's thesis "logic is the essence of philosophy", while Kripke's normative guidelines are based on recognizing the importance of pre-theoretical thinking inherent in the intuition of an ordinary person. The development of Kripke's new naming theory results in a revision of a significant number of traditional concepts, among which the justification for a priori necessary assertions stands out. Two ways of assessing the conflict of norms in analytic philosophy are considered. The first, belonging to Jaakko Hintikka, a prominent representative of the analytical trend, rejects the idea of the importance of pre-theoretical thinking not explicated by logic. Hintikka believes that the refusal to use the logical apparatus when interpreting philosophical theses speaks of the weakness of the position of Kripke, who is known as the author of important logical ideas. The second, belonging to Richard Rorty, a prominent opponent of the analytical school, is based on the insignificance of addressing universal human intuition for philosophy. Rorty's position is motivated by the total criticism of the paradigm of analytic philosophy, while Hintikka's position is motivated by criticism of the norm of philosophical thinking within the framework of one paradigm. The article concludes that the history of rejection and revival in the analytic philosophy of Aristotelian essentialism is a change in the concept of normativity as a kind of a prescription of what can be done and what cannot be done there. As a consequence, the change of norms with the transition from one paradigm to another is inevitable. A view is suggested that it would

be natural to regard the change in norms as a process within the framework of one paradigm, that is, a process within the framework of the normal (according to Thomas Kuhn) period of the development of science.

References

1. Russell, B. (1975) *My Philosophical Development*. London: Unwin Books.
2. Rorty, R. (1992) *The Linguistic Turn*. Chicago: Chicago University Press.
3. Quine, W. (2010) *S logicheskoy tochki zreniya* [From a Logical Point of View]. Translated from English by V. Ladov, V. Surovtsev. Moscow: Kanon+. pp. 200–228.
4. Quine, W. (2010) *S logicheskoy tochki zreniya* [From a Logical Point of View]. Translated from English by V. Ladov, V. Surovtsev. Moscow: Kanon+. pp. 45–80.
5. Kripke, S. (1980) *Naming and Necessity*. Cambridge: Harvard University Press.
6. Rorty, R. (1980a) How Many Grains make a Heap? *London Review of Books*. 27(2). pp. 12–13.
7. Rorty, R. (1980b) Kripke vs Kant. *London Review of Books*. 2(17). pp. 4–5.
8. Hintikka, J. (2014) Kto tam gotov ubit' analiticheskuyu filosofiyu? [Who is there ready to kill analytical philosophy?]. In: Tselishchev, V. (ed.) *Filosofskiy perepischik: perevody i razmyshleniya* [Philosophical copyist: translations and reflections]. Novosibirsk: Omega-Press. pp. 283–292.
9. Baker, G.P. & Hacker, P.M.S. (2008) *Skeptitsizm, pravila i yazyk* [Skepticism, rules and language]. Translated from English by V. Surovtsev, V. Ladov. Moscow: Kanon+.

УДК 165

DOI: 10.17223/1998863X/49/7

И.В. Черникова, Д.В. Черникова

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Проанализированы изменения структуры науки (дисциплинарность, междисциплинарность, трансдисциплинарность) и методологии научного исследования на новом этапе социальной динамики и в связи с формированием новой парадигмы научности – технонауки. Осуществляется сравнительно-исторический анализ классической, неклассической методологии науки с методологиями и технологиями постнеклассической науки: системно-эволюционным подходом в познании сложных саморазвивающихся систем, методологией проективной деятельности в технонауке и постнеклассическими практиками конвергирующих технологий (NBICS-технологии).

Ключевые слова: структура науки, дисциплинарность, междисциплинарность, трансдисциплинарность, технонаука, методология познания сложности.

На новом этапе социальной динамики и в связи с формированием новой парадигмы научности – технонауки – есть потребность в анализе изменений в структуре науки и методологии научного исследования. Вопрос о том, меняется ли и как научное знание, является актуальным не только в контексте эпистемологии; ответ на него важен и для выбора адекватной стратегии социального развития, поскольку роль науки и научных технологий в современном обществе только возрастает. Изменения в структуре науки представлены ростом слоя междисциплинарных исследований и, что более важно, изменением стратегии познавательной деятельности, выраженной в трансдисциплинарных исследованиях и парадигме сложности.

В исследовании динамики науки в западной культуре мы опираемся на концепцию философии науки, получившую признание в современной мировой философии и обозначающую как эпистемологический конструктивизм В.С. Степина. Им предложена типология науки, в которой выделены классическая, неклассическая и постнеклассическая парадигмы научности [1. С. 505–523]. Классическая парадигма научности описывает мир как пространство, заполненное веществом, взаимодействующим по типу механизма, ее становление связано с Декартом и Ньютоном. Неклассическая научность обозначена физической парадигмой, которая оформилась со становлением релятивистской и квантовой физики. Вселенная стала осознаться как единое неделимое целое. Познавательное отношение в неклассической науке формулируется через понятия «наблюдаемое–наблюдатель». Реальность стала мыслиться как сеть взаимосвязей. Неклассическая наука учитывает связь между знаниями об объекте и характером средств и операций деятельности, в которой обнаруживается и познается объект. Постнеклассический тип научной рациональности расширяет поле рефлексии над деятельностью: учитывается соотношенность получаемых знаний не только со средствами деятельности, но и с ценностно-целевыми структурами. Определяющей особенностью

постнеклассической научности является так называемая «человекоразмерность» объекта.

Каждый новый тип научной рациональности ориентирован на определенный тип системных объектов и предполагает соответствующую ему схему метода познавательной деятельности. Покажем, что этим парадигмам научности соответствует определенная структура знания и определенная методология.

Классическая наука представлена как дисциплинарно организованная система научного знания. Классическая методология науки являлась способом нормирования исследовательской деятельности, универсальным инструментарием исследования, приложимым к любым объектам (универсальность). Методология классической науки нацелена на соединение знания о деятельности и мышлении со знаниями об объектах этой деятельности и мышления. Классическая методология исследования соответствует принципу классического рационализма, который М.К Мамардашвили охарактеризовал как «принцип пространственности», т.е. требование полной пространственной артикулированности предмета вне самого себя как условия того, что мы вообще можем знать о нем научно [2]. Рационально понимаемо в классической науке то, что человек сделал сам. Отсюда колоссальная роль так называемых наглядных моделей в классическом физическом мышлении.

В неклассической парадигме научности значительное место занимают междисциплинарные исследования – общая теория систем, кибернетика, информатика и т.д. При исследовании микромира нельзя не учитывать воздействия прибора, поэтому предметом познания является не объект сам по себе, а его взаимодействие с другим объектом – средством измерения.

Постнеклассическая рациональность не является чисто познавательной рациональностью, претендующей на моделирование реальности «как она есть», она выступает как форма социально-гуманитарной проектно-конструктивной рациональности. Именно постнеклассическая рациональность сталкивается с иным типом предметности (не объектным), но затрагивает человеческий мир. Поэтому постнеклассическую научность соотносят с этапом, обозначаемым термином «технонаука» [3. С. 75–76]. Общие представления о технонауке, разделяемые представителями различных школ философии науки, в том, что для нее характерна неразрывная связь собственно исследовательской деятельности с практикой создания инновационных технологий. Фундаментальности она противопоставляет прирост нового знания, но при этом возникает новое понимание знания. Знание, обозначаемое как технонаука, представляет собой кластер наук и технологий, в котором осуществляется взаимодействие нано-, био-, информационных, когнитивных и социальных технологий (NBICS). Технонаука формирует такую модель взаимодействия знания и общества, в которой знание социально-практически обусловлено, производство знаний обеспечивается цифровизацией науки, сращиванием науки и производства. Здесь трудно говорить о познании как о моделировании существующей вне человека «естественной» реальности.

Сегодня, когда научное познание трансформируется в технонауку, человек конструирует не только видимый мир, который в классической рациональности мы называем объективным миром. Теперь этот естественный мир наполняется искусственными созданиями биотехнологий и нанотехнологий.

Природные комплексы, включающие человека, недостаточно рассматривать в рамках привычной дихотомии «естественное–искусственное». Особенность этих конструкций в том, что в них не моделируется объектная реальность, а конструируется ее новый фрагмент, в котором проявляется взаимопроникающее единство природного и человеческого мира. Возникновение нового типа рациональности не уничтожает исторически предшествующие ему типы, но ограничивает поле их действия. Каждый новый тип научной рациональности вводит новую систему идеалов и норм познания. Меняется категориальная сетка философских оснований науки.

Существенные изменения, происходящие в современной науке, характеризуются учеными и философами как «радикальные изменения видения природы» (И. Пригожин), парадигмальный сдвиг (Ф. Капра), смена парадигм научной рациональности (В.С. Степин). Наблюдаемые перемены затрагивают как содержательные стороны научного знания, так и структурные. В структуре науки, еще недавно строго дисциплинарной, к середине XX в. оформился самостоятельный уровень знания, – междисциплинарное знание. К концу XX в. стали выделять трансдисциплинарные исследования.

Трансформация структурной организации научного знания

На наш взгляд, важно обратить внимание на то, что дисциплинарность, междисциплинарность и трансдисциплинарность – это формы структурной организации знания, связанные соответственно с классической, неклассической и постнеклассической парадигмами научности. В рамках классической парадигмы научное знание дисциплинарно организовано. Общенаучная картина мира напоминала пестрое лоскутное одеяло из физической, биологической, геологической и прочих картин мира. В конце XIX – начале XX в., в период формирования неклассической парадигмы научности, в структуре науки обозначился самостоятельный слой знания – междисциплинарное знание. В научной картине мира первой половины XX в. реальность характеризуется как сеть взаимосвязей.

В конце XX в. стало очевидным, что «наука выполняет некую универсальную миссию, затрагивающую отношения не только человека с природой, но и человека с человеком» [4. С. 47]. Наука более не претендует быть отображением реальности, существующей вне нас (классический идеал). Картина мира, выстраиваемая современной наукой, радикально отлична от картины мира классической физики и естествознания XVIII–XIX вв. Постнеклассическая наука в картину мира пытается включить человека, а человек, в свою очередь, осознает себя не социальным атомом, а участником единого процесса. Единство мира современный человек воспринимает как эмпирический факт благодаря таким реальностям, как единое информационное пространство, сеть Интернет, единое экономическое пространство, единая экологическая система и т.д. Описать такую реальность с позиции внешнего наблюдателя невозможно. В основании новой картины мира, получившей название системно-эволюционной картины мира, лежат такие идеи, как идея глобального эволюционизма, нелинейности, самоорганизации, коэволюции, формирующие представления об универсуме как единой саморазвивающейся системе. Физическая реальность описывается сегодня как нелинейная, временная, темпоральная (И.Р. Пригожин). Теория самоорганизации составляет

ядро постнеклассической парадигмы научности. Ее важнейшей характеристикой является включение человека во внутринаучный контекст уже не только как наблюдателя, а в социо-гуманитарном аспекте. Постнеклассической парадигме научности соответствует новый уровень интеграции – трансдисциплинарный.

Трансдисциплинарность вошла в практику науки как исследовательская стратегия, которая пересекает дисциплинарные границы и развивает холистическое видение явлений и процессов. Приставка «транс» (*от лат. trans – сквозь, через*) указывает на новый тип производства знаний. Если междисциплинарность – это внутринаучный феномен, то трансдисциплинарность – выход за пределы естественнонаучного и гуманитарного знания в область практически значимых проблем. Впервые термин «трансдисциплинарность» использовал Э. Янч для обозначения координации между образованием и инновационными процессами [5]. Сегодня трансдисциплинарность как методологическая установка на познание исторически изменчивых сложных систем в их многомерном измерении особенно актуальна в связи с технаукой и конвергентными технологиями.

Изменение методологических стратегий исследования

Далее покажем, как трансформируются методологические стратегии исследований в трех рассматриваемых типах научности: классической, неклассической и постнеклассической.

Классическая научность отличается установкой на изучение природного мира самого по себе (объектность рассмотрения), элиминацией всего субъективного («расколдовывание мира», по М. Веберу). Предметом научного познания является система объектных связей, сохраняется строгая дихотомия вещества и существа, отход от которой оценивается как отказ от научности. В классической науке знание о деятельности и мышлении соединяется со знаниями об объектах.

Методология междисциплинарных исследований – это горизонтальная, связь реальности с метафорическими переносами, зачастую с символическим мотивом, несущим колоссальный эвристический заряд, в отличие от причинно-следственной связи дисциплинарной методологии. «Дисциплинарный подход решает конкретную задачу, возникшую в историческом контексте развития предмета, подбирая методы из устоявшегося инструментария. Прямо противоположен междисциплинарный подход, когда под данный универсальный метод ищутся задачи, эффективно решаемые им в самых различных областях деятельности» [6. С. 235]. Это иной способ структурирования реальности, здесь ход от метода, а не от задачи.

Трансдисциплинарность как методологическая установка нацелена на познание исторически изменчивых сложных систем в их многомерном измерении. Она становится особенно актуальной в контексте технауки и конвергентных технологий. Согласно Б. Николеску, одному из ведущих теоретиков концепции трансдисциплинарности, она базируется на трех постулатах. Во-первых, утверждается существование многоуровневой реальности, где каждый уровень изучается отдельной дисциплиной, в то время как трансдисциплинарная методология ориентирует на описание динамики процесса на нескольких уровнях одновременно. Во-вторых, применяется иная логика по-

нимания процессов, в которой противоположности не противопоставляются, а синтезируются по принципу дополнительности. В-третьих, в трандисциплинарном подходе сопрягается сложность мира со сложностью человеческого знания. Новое измерение («скрытое третье») возникающего описания, обозначаемого понятием «космодернити», играет фундаментальную роль в понимании единого мира [7. С. 63].

Трандисциплинарные исследования, в сравнении с междисциплинарными, отличается выход в практику жизни, это социально распределенное производство знаний. Трандисциплинарными, в отличие от междисциплинарных, Л.П. Киященко называет такие познавательные ситуации, в которых научный разум вынужден в поисках целостности и собственной обоснованности осуществить трансцендирующий сдвиг в пограничную с жизненным миром сферу [8. С. 110].

Классическая методология науки, выявляя причинно-следственные связи, стремилась соединить знания о деятельности и мышлении со знаниями об объектах этой деятельности и мышления (Г.П. Щедровицкий). В дисциплинарно организованном научном знании и в междисциплинарных исследованиях сохраняется горизонтальная направленность движения мысли в плоскости объекта, несмотря на экстенсивное расширение границ и коммуникативные связи между дисциплинами. Методологию междисциплинарных исследований можно характеризовать как раскрывающую горизонтальные связи реальности.

Когда предметом познания становятся человекоразмерные системы, в конструируемую модель реальности включаются параметры, характеризующие не только объект, но и сферу практического применения знания, его социального функционирования. В трандисциплинарных исследованиях горизонт объектных параметров, описываемых редукционистской методологией, пересекает новое вертикальное измерение, которое выводит из плоскости объектных редукционистских связей в сферу человека, его жизнедеятельности, практики, социально-культурных ценностей. В трандисциплинарных исследованиях редукционистскую методологию дополняют такие подходы, как холизм и эмерджентизм, а познавательная деятельность характеризуется как сложно-системное мышление.

Методологию познания такого рода реальности (сложных саморазвивающихся систем, включающих человека) называют методологией познания сложности. «Системное отношение между наблюдателем и наблюдением может быть понято и более сложным образом, когда сознание наблюдателя, воспринимающего существа, его теория, а в более широком плане – его культура и его общество, рассматриваются как своего рода экосистемные оболочки изучаемой физической системы; ментальная / культурная экосистема необходима, чтобы возникла система как понятие; она не создает рассматриваемую систему, но ее со-производит и подпитывает ее относительную автономию...» [9. С. 179].

Эволюционно-синергетическую парадигму, которая является ядром постнеклассической парадигмы научной рациональности, называют еще парадигмой сложности. На ее основе формируется картина мира, которую называют холистической, системной, экологической. В этой картине мира человек укоренен в природе, мир и человеческое бытие соразмерны и потому

конструирование искусственной природы и социальных институтов осуществляется в единой сети взаимодействий. Г. Хакен считает, что синергетику можно рассматривать как науку о коллективном поведении, организованном и самоорганизованном, причем поведение это подчиняется общим законам.

Г. Хакен проводит сопоставление между традиционным описанием сложных систем и синергетикой. Единицей описания в традиционном подходе является отдельный элемент рассматриваемой системы, например клетка, нейрон, компьютер в сети. Единица описания в синергетике – это сеть, состоящая из клеток, нейронов, компьютеров. В обычном описании свойства приписываются индивидуальному объекту, в синергетике – ансамблям, множествам объектов. То есть за результат работы, способность быть наделенными теми или иными свойствами «отвечают» не отдельные элементы системы, а их коллективные взаимодействия. Функционирование и описание таких систем многократно усложняется, однако во время фазового перехода происходит сжатие информации. Система, детерминированная огромным числом параметров, самоорганизуется, возникают новые управляющие параметры, позволяющие описать функционирование системы существенно проще. Активность сложных систем обеспечивается рекурсивной связью. Рекурсивный процесс – это процесс, конечные состояния которого продуцируют исходные состояния. Идея рекурсии означает, что изолированно ничто не является порождающим, но только процесс, взятый в его целостности, является порождающим при условии замыкания на самого себя.

Анализируя феномен сложности, Э. Морен не случайно приходит к понятию сложного мышления, сопрягая сложность, порождаемую познанием, и сложность саморазвивающихся природных систем. В контексте декартовой традиции мышление – это способность субъекта, а не объекта. Субъектно-объектный дуализм, привычное для классического мышления противопоставление объективной реальности и субъективной познавательной деятельности, обуславливают обыденную трактовку сложного, с одной стороны, как характеристики объективно существующих системных образований, с другой – как характеристики познания, отличающегося рефлексивностью, контекстуальностью, диалогичностью.

Познавательное отношение из линейной субъектно-объектной связи в дисциплинарно организованной классической науке трансформируется в коммуникативное действие, сложные детерминистические отношения, характеризующиеся как рекурсивный детерминизм. Принцип рекурсивного детерминизма, по мнению сторонников парадигмы сложности (В.И. Аршинов, Г. Бэйтсон, Ф. Варела, Э. Морен, У. Матурана, Н. Луман, Х. фон Ферстер и др.), не только обеспечивает обратную связь в познании сложных саморазвивающихся систем, но и формирует целостность субъекта и среды его активности. Разрушается субъектно-объектное противостояние, когда субъект занимал внешнюю по отношению к объекту позицию. Установка познавательной деятельности: субъект – не сторонний наблюдатель, а участник, изменяющий окружающую среду и одновременно себя. При этом действительность не только воспринимается разумом, но конструируется им. Принцип организации знания в данном случае характеризуют термином «трансдисциплинарность».

Трансдисциплинарность как более глубокий уровень интеграции предполагает конвергентное проникновение научных дисциплин и методов. Это современный тип производства научного знания, который представляет собой гибрид фундаментальных исследований, ориентированных на познание истины, и исследований, направленных на получение полезного эффекта, трансдисциплинарность «размещена в интервале между истиной и пользой» [10].

Трансдисциплинарность, вошла в практику науки и особенно актуальна в связи с технонаукой и конвергентными технологиями. В отличие от междисциплинарных трансдисциплинарные исследования ориентируются на запрос социальной сферы. Что нового в этой характеристике знания? Ведь и прежде в развитии науки наряду с такой линией, как «знание ради знания», существовали исследования, обусловленные сферой применения, а наряду с когнитивными факторами не меньшую роль играли социокультурные параметры. В новой концепции производства знаний, по М. Гиббонсу, фундаментальное знание преломляется различными социальными субъектами с целью производства своего отдельного знания. Отмечаемое размывание границ между наукой и обществом (М. Гиббонс, Х. Новотны), между фундаментальными теоретическими исследованиями и инновациями позволяет исследователям говорить о трансцендирующем сдвиге научного знания в жизненный мир. Таким образом, трансдисциплинарные исследования – это качественно новый этап интегрированности науки в общество.

Выводы

Для нового этапа развития науки характерно снятие субъектно-объектного дуализма, в результате уходит со сцены науки «абсолютный наблюдатель», наступает эпоха диалога, происходит переход от статического структурно ориентированного мышления к мышлению динамическому, ориентированному на процесс. Современная наука, ориентируясь на целостное, холистическое мировидение, сопрягает познавательный опыт с эпистемологией соучастия, что, в свою очередь, предполагает и новую онтологию, и новую этику.

Современные высокие технологии, примером которых являются NBICS-технологии, имеют столь мощное воздействие на окружающий мир и человека, что не могут рассматриваться как дело «кабинетного ума». Решающее значение в философии стали приобретать вопросы этики науки и техники. Внедрение сложных технических систем именно в силу их все возрастающей сложности характеризуется непрогнозируемостью возникающих при их создании и функционировании нежелательных побочных последствий. Социальная оценка техники и техническая этика призваны способствовать созданию механизмов самоограничения и самоконтроля в условиях неопределенности. Оценочный процесс не может ограничиваться профессиональной деятельностью ученых и инженеров, а предполагает участие в нем общественности и экспертного сообщества.

Таким образом, показано, что дисциплинарность, междисциплинарность и трансдисциплинарность – это формы структурной организации знания, связанные соответственно с классической, неклассической и постнеклассической парадигмами научности. В рамках классической парадигмы научное

знание дисциплинарно организовано. В неклассической парадигме в структуре науки обозначился самостоятельный слой знания – междисциплинарное знание. Постнеклассической парадигме научности соответствует новый уровень интеграции знания – трансдисциплинарный. Развитие науки характеризуется также изменениями методологических стратегий исследований в трех рассматриваемых парадигмах научности. Классическая методология науки стремилась соединить знания о деятельности и мышлении со знаниями об объектах этой деятельности и мышления. Неклассическая методология предполагает экспликацию операциональной основы вводимой системы понятий и необходимость учета условий познания (способа задавать вопросы природе). В трансдисциплинарных исследованиях редукционистскую методологию дополняют такие подходы, как холизм и эмерджентизм, а познавательная деятельность характеризуется как сложно-системное мышление. Методологию познания такого рода реальности (сложных саморазвивающихся систем, включающих человека) называют методологией познания сложности.

Литература

1. Степин В.С. Философия и методология науки. М. : Академический проект, 2015. 716 с.
2. Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы рациональности. М. : Логос, 2004. 239 с.
3. Черникова И.В. Типология науки в контексте современной философии науки // Вопросы философии. 2011. № 11. С. 71–79.
4. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М. : Прогресс, 1986. 432 с.
5. Jantsch E. Towards Interdisciplinarity and Transdisciplinarity in Education and Innovation. Interdisciplinarity // Problems of Teaching and Research in Universities. Paris : OECD, 1972. P. 97–121.
6. Аришинов В.И., Буданов В.Г. Синергетика наблюдения как познавательный процесс // Философия, наука, цивилизация : к 65-летию В.С. Степина. Москва, 1999 г. М. : Едиториал УРСС, 1999. С. 230–246.
7. Nicolescu B. The hidden third and the multiple splendor of being // Трансдисциплинарность в философии и науке: подходы, проблемы, перспективы. М. : Навигатор, 2015. С. 62–79.
8. Киященко Л.П. Философия трансдисциплинарности : подходы к определению // Трансдисциплинарность в философии и науке: подходы, проблемы, перспективы. М. : Навигатор, 2015. С. 109–136.
9. Морен Э. Метод. М. : Прогресс-Традиция, 2005. 464 с.
10. Конвергенция биологических, информационных, нано- и когнитивных технологий: вызов философии (материалы круглого стола) // Вопросы философии. 2012. № 12. С. 3–24.

Irina V. Chernikova, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: chernic@mail.tsu.ru

Darya V. Chernikova, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: chdv@mail.tsu.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 49. pp. 60–68.

DOI: 10.17223/1998863X/49/7

METHODOLOGICAL AND STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF THE CONTEMPORARY SCIENCE

Keywords: structure of science; disciplinarity; interdisciplinarity; transdisciplinarity; technoscience; methodology of complexity cognition.

The article analyses the structural changes in the contemporary science and research methodologies at the new stage of social dynamics and in connection with the development of a new scientific paradigm – technoscience. Significant changes in the contemporary science are characterized as a shift of the scientific rationality paradigms. The observed changes involve both substantive and structural aspects of scientific knowledge. It is shown that disciplinarity, interdisciplinarity and transdisciplinarity are forms of the structural organization of knowledge associated respectively with the classical, non-

classical and post-non-classical paradigms of scientificity. Within the framework of the classical paradigm, scientific knowledge is disciplinarily structured. In the non-classical paradigm within the structure of science, an independent layer of knowledge is designated – interdisciplinary knowledge. Informatics, general theory of systems, cybernetics, synergetics have an interdisciplinary status. The post-non-classical paradigm of science corresponds to a new level of knowledge integration – transdisciplinarity. The development of science is also characterized by changes in the methodological research strategies in the three considered paradigms of science. The classical methodology of science sought to combine knowledge about activity and thinking with knowledge about the objects of this activity and thinking. In disciplinarily structured scientific knowledge and in interdisciplinary research, the horizontal movement of thought in the plane of the object is maintained, despite the extensive expansion of boundaries and connection between the disciplines. The methodology of interdisciplinary research can be characterized as uncovering the horizontal connections of reality. When human-dimension systems become the subject of cognition, parameters that characterize not only the object, but also the sphere of its social functioning are included in the constructed model of reality. It is post-non-classical rationality that encounters a different type of objectivity (not an objective one), but it affects the human world; therefore, post-non-classical scientificity is associated with a stage defined by the term “technoscience”. Technoscience forms a model of interaction between knowledge and society, in which knowledge is socially and practically conditioned, the production of knowledge is provided by the digitalization of science, the coalescence of science and production. Transdisciplinarity entered the practice of science and is particularly relevant in connection with technoscience and convergent technologies. In transdisciplinary studies, the reductionist methodology is complemented by approaches such as holism and emergentism, and cognitive activity is characterized as a complex systemic thinking. The cognition methodology of this kind of reality (complex self-developing systems involving a human) is called the methodology of complexity cognition.

References

1. Stepin, V.S. (2015) *Filosofiya i metodologiya nauki* [Philosophy and methodology of science]. Moscow: Akademicheskii proekt.
2. Mamardashvili, M.K. (2004) *Klassicheskii i neklassicheskii idealy ratsional'nosti* [Classical and non-classical ideals of rationality]. Moscow: Logos.
3. Chernikova, I.V. (2011) Tipologiya nauki v kontekste sovremennoy filosofii nauki [Typology of science in the context of modern philosophy of science]. *Voprosy filosofii*. 11. pp. 71–79.
4. Prigogine, I. & Stengers, I. (1986) *Poryadok iz khaosa* [Order out of Chaos]. Translated from English by Yu.A. Danilov. Moscow: Progress.
5. Jantsch, E. (1972) *Towards Interdisciplinarity and Transdisciplinarity in Education and Innovation*. Paris: [s.n.].
6. Arshinov, V.I. & Budanov, V.G. (1999) Sinergetika nablyudeniya kak poznavatel'nyy protsess [Synergetics of observation as a cognitive process]. In: Kazyutinsky, V.V. (ed.) *Filosofiya, nauka, tsivilizatsiya: k 65-letiyu V.S. Stepina* [Philosophy, Science, Civilization: To the 65th anniversary of V.S. Stepin]. Moscow: Editorial URSS. pp. 230–246.
7. Nicolescu, B. (2015) The hidden third and the multiple splendor of being. In: Bazhanov, V. & Sholts, R. (eds) *Transdistsiplinarnost' v filosofii i nauke: podkhody, problemy, perspektivy* [Transdisciplinarity in philosophy and science: approaches, problems, prospects]. Moscow: Navigator. pp. 62–79.
8. Kiyashchenko, L.P. (2015) Filosofiya transdistsiplinarnosti: Podkhody k opredeleniyu [Transdisciplinarity philosophy: an approaches to the definition]. In: Bazhanov, V. & Sholts, R. (eds) *Transdistsiplinarnost' v filosofii i nauke: podkhody, problemy, perspektivy* [Transdisciplinarity in philosophy and science: approaches, problems, prospects]. Moscow: Navigator. pp. 109–136.
9. Morin, E. (2005) *Metod* [Method]. Translated from English. Moscow: Progress-Traditsiya.
10. Lektorsky, V.A. et al. (2012) Konvergentsiya biologicheskikh, informatsionnykh, nano-i kognitivnykh tekhnologiy: vyzov filosofii (materialy kruglogo stola) [Convergence of biological, informational, nano-and cognitive technologies: the challenges of philosophy (materials of the round table)]. *Voprosy filosofii*. 12. pp. 3–24.

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

УДК 101.1:316

DOI: 10.17223/1998863X/49/8

А.Г. Иванов

НАРРАТИВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО МИФА¹

Современный политический миф представлен как явление, реализующееся на двух уровнях – «архаическом» и «конъюнктурном» («инструментальном»), при доминировании последнего. Важнейшее место в политическом мифотворчестве занимают нарративы. Делается вывод, что нарратив способен выступить в качестве средства обретения политическим мифом внутренней органики, сглаживая конфликты между уровнями мифа.

Ключевые слова: политический миф, «архаический» и «конъюнктурный» («инструментальный») уровни современного мифа, нарратив, конфликт между уровнями мифа.

Разговор о современном мифе практически невозможен без обращения к политическому пространству, в котором местами сохраняется присущее архаическим обществам понимание основных социальных процессов.

Современный социальный миф – это сложный феномен, рассматривая который следует выделить два уровня: «архаический» и «конъюнктурный» («инструментальный»). Такая двухуровневость отличает современный миф от архаического мифа и идеологических конструкторов.

Первый уровень, «архаический», содержит устойчивые архетипы, образы, мифологемы, ритуалы, которые вырабатываются преимущественно коллективно. Эта совокупность устойчивых мифологических архетипов, образов, сюжетов имплицитно наличествует на уровне менталитета и составляет фундамент любого мифа.

Второй уровень, «конъюнктурный» («инструментальный»), представляет собой своеобразную «мифологию идей» – результатов рациональной целенаправленной деятельности отдельных мифотворцев, зачастую предстающих в виде идеологов. На этом уровне осуществляются теоретическая обработка фундаментальных мифологических архетипов и их преобразование в четко сформулированные идеи, концепты и программы. При этом базовые мифологические архетипы интерпретируются в соответствии с интересами, целями и задачами так называемых мифотворцев, в роли которых выступают преимущественно элиты.

Например, миф о свершениях героя основывается на исходной мифологеме героя, безусловно, относящейся к «архаическому» уровню мифа, как и

¹ Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ 17-33-01056 а2 «Мифы о прошлом в современной медиа-среде: практики конструирования, механизмы воздействия, перспективы использования».

сопутствующие этому истории о рождении героя, его борьбе с врагами, преодолении героем испытаний. Но в соответствии с интересами мифотворцев свершения героя могут приобретать конкретные формы, вписываясь в современный контекст (борьба героя с коррупцией; герой, осуществляющий модернизацию социальной сферы и т.п.), причем в качестве фигуры героя могут выступать политические лидеры, руководители органов исполнительной власти и т.д. (даже не обязательно использовать само слово «герой»: адресат мифа и сам наделит актора героическими архетипическими чертами). Мифотворец / представитель элиты использует в данном случае миф в качестве инструмента для достижения своих целей (отсюда – другое название второго уровня мифа: «инструментальный»). В результате происходит определенное надстраивание «инструментального» уровня над архетипическими сюжетами, традициями.

Выделение «конъюнктурного» уровня является ключевым для определения сущности современного социального мифа. Одной из особенностей «конъюнктурного» уровня социального мифа является то, что на данном уровне выражаются в первую очередь интересы отдельных социальных групп, которые следует назвать элитами, политическим классом, мифотворцами. По большому счету, мы здесь можем вести речь об идеологии, воплощенной в конкретных социальных мифах современности. Это обстоятельство, в свою очередь, не может не привести к необходимости рассуждений о значении политического поля для функционирования современных мифов. На наш взгляд, политическая сфера общественной жизни дает шанс более ярко и полно увидеть практические проявления социального мифа (так, некоторые авторы (например, С.В. Рязанова [1]) рассматривают политический миф как кульминацию социальной мифологии).

Не случайно представители основных существующих в настоящее время направлений исследований мифов современности не остались в стороне от изучения проявлений мифов в политической сфере. Так, в поле зрения представителей психоаналитической школы, ориентированной на поиск мифологических компонентов в том числе и в современном обществе, не раз оказывались проблемы политического преломления мифа. Стоит вспомнить заметку Дж. Кэмпбелла «Мифологии войны и мира» [2. С. 163–190] или фрагмент работы М. Элиаде «Аспекты мифа» [3. С. 171–173], в котором автор упоминает и высказывает свои соображения, например, о расистском мифе об арийцах и об использовании К. Марксом мифа о герое. Однако особенно «преуспели» в апеллировании к политике исследователи, работающие с рационализированной социальной мифологией (например, Р. Барт [4], П.С. Гуревич [5]).

Кроме того, существует целый ряд как зарубежных, так и отечественных политологов, по-разному относящихся к собственно политическому мифу (К. Боттичи, К. Флад, К.Ф. Завершинский, О.Ю. Малинова, Г.И. Мусихин, Н.И. Шестов, Н.Г. Щербинина и др.). Так, отдельный интерес представляет предложенное Н.Г. Щербининой [6] понятие героического политического мифа, выработанное в конструктивистской парадигме.

Мы понимаем политический миф прежде всего как разновидность социального мифа. В политическом мифе также просматривается характерная для современного мифа двухуровневость: с одной стороны, разделяемые веками

коллективные представления, с другой стороны, составляющие, коррелятивные текущей политической конъюнктуры.

Наличие двух вышеуказанных уровней характерно для любого современного мифа, в том числе и для политического. Сочетание «архаического» и «конъюнктурного» («инструментального») уровней делает миф уникальным феноменом; отличает его, с одной стороны, от древнего, или классического, мифа и, с другой стороны, от идеологических построений. Политический миф демонстрирует нам все специфические особенности проявления «конъюнктурного» («инструментального») уровня мифа в наиболее яркой манере. Во многом это объясняется тем, что политическая сфера общественной жизни дает шанс увидеть всю гамму практических проявлений мифа, определить место мифа в изменчивой политической конъюнктуре и роль мифа как инструмента в политической борьбе.

Здесь мы соглашаемся со сложившимся в настоящее время мнением о природе политического мифа, отмеченным К.Ф. Завершинским: «При всей вариативности современных политологических трактовок природы политического мифотворчества в них продолжает доминировать установка на понимание политического мифа как некоего комплекса коллективных представлений (архетипов, стереотипов, ментальностей и т.п.), пришедших к нам из прошлого и влияющих на настоящее» [7. С. 18]. Специфика же политического мифа, на наш взгляд, состоит в том, что он, располагаясь преимущественно на «конъюнктурном» уровне, всегда стремится продемонстрировать свои «архаические» корни (и как тут не вспомнить слова Р. Барта о стремлении современного мифа выдать искусственное за природное). Функционирование политических мифов несет для общества известную опасность. Так, уже в середине XX в. Э. Кассирер справедливо замечал, что «...миф перестал быть свободной и спонтанной игрой воображения, его хорошо отрегулировали, приспособили для политических нужд и использовали с весьма конкретными политическими целями» [8. С. 14]. Мы исходим из того, что политический миф, являясь неотъемлемой составляющей социального мифа, отчетливо и в более практическом плане демонстрирует имманентно присущую современному социальному мифу конструктивно-деструктивную роль.

Подробное исследование основных вопросов, связанных с пониманием современного политического мифа, было предпринято О.Ю. Малиновой. В результате автор дает свое определение политического мифа и, что особенно важно в контексте названия нашей статьи, использует термин «нарратив»: «Политический миф – это убеждение / нарратив, который разделяется социальной группой, воспринимается ею как констатация „естественного порядка вещей“» [9. С. 13].

Для того чтобы политические мифы легче достигли своей цели (а цель во многом определяется интересами мифотворцев), важно, так сказать, наполнить мифы конкретными фактами, событиями, действиями, наполнить их повседневными вещами, в конечном счете наполнить миф нарративами. Перефразируя высказывание К. Боттичи «...до какой степени возможно написание истории без нарратива» [10. Р. 205], мы можем сказать: до какой степени возможно создание политического мифа без нарратива. Нарратив, на наш взгляд, занимает важнейшее место в политическом мифотворчестве. Так, относящаяся к «архаическому» уровню современного мифа мифологема героя,

одна из самых востребованных в современной политической практике, демонстрирует свою наибольшую эффективность, фактически будучи встроенной в нарратив. Да и в рождении самого современного мифа нарратив играет ключевую роль. По большому счету, с нарратива можно вести отсчет так называемым стадиям мифологизации: нарратив – панегирический нарратив – мифологический сюжет (с присутствием множества мифологем) – оформленный «работающий» миф, устойчиво удерживающийся в сознании. Более того, в одной из основных работ, посвященных рассмотрению и анализу мифов современности, – «Мифологиях» Р. Барта [4] – постоянно подчеркивается, что нарративная форма мифа в настоящее время является почти всеохватывающей.

Нарративное измерение мифа имеет немаловажное значение и в случае, когда мы пытаемся ответить на вопрос о масштабе влияния политического мифа на социум. Ответ на этот вопрос кроется, по нашему мнению, в плоскости коммеморативных практик: насколько полно политическим классом «ангажируются» распространенные в народе практики памяти о прошлом в качестве средства для достижения конкретных политических целей. Так, здесь осуществляются попытки специального выделения нарративов коллективной памяти: «волшебная сказка, героический миф, миф самопожертвования» [11. С. 9]. Заметим, что фигура героя и здесь занимает важное место.

Другое дело, что сам масштаб влияния политических мифов на коммеморативные практики зависит от целого ряда факторов: от типа политического мифа (исторический, религиозный и т.д.); от конкретной формы политического мифа (прежде всего, от задействованных в нем архетипических сюжетов); от субъекта, транслирующего миф: мифотворец, зная завершение, развязку сюжета, заложенного в мифологическом повествовании, может специально подгонять ход развития событий к требуемому формату; от средств (даже от технических средств), задействованных в трансляции политического мифа (здесь особенно интересны трансформации механизма функционирования политического мифа, способов политической коммуникации, обусловленные развитием медиасреды).

Решающее же влияние на масштаб воздействия политического мифа на социум оказывают, на наш взгляд, контекст и уровни наррации. Контекст напрямую связан со степенью мифологизированности социума на конкретном этапе развития. Так, В.Н. Сыров отмечал в этой связи следующее обстоятельство: «...для функционирования и господства мифосознания нет надобности в наличии или создании целостных развернутых повествований. Достаточно отдельных знаков в виде слов или высказываний из кинофильмов, рекламных посланий, звуков музыки, частей одежды, жестов, действий и т.д.» [12. С. 257]. Добавим, что контекстуальный фактор выходит на первый план в переходные исторические периоды. Например, в 1990-е гг. значительная часть российского общества довольно быстро и легко стала разделять и жить новыми «демократическими» мифами – мифами о том, что все решит рынок, мифами о приватизации, мифами об угрозе коммунизма [13].

Фактор же уровней наррации требует более пристального внимания и разъяснения. Говоря об уровнях наррации, мы исходим прежде всего из рассмотрения Г.Л. Тульчинским наррации как системы, реализующейся на трех уровнях:

«1. Демонстрация, череда событий, персонажей, документов, артефактов, формирующая фактологическую базу.

2. Агрегация этих фактов в хронологические и каузальные связи, образующие основу сюжетики.

3. Толкование этого целого, рефлексия над ним, выявляющая направленность процесса развития к финалу как „точке сборки“ нарратива, раскрывающей смысл, а иногда и замысел происходившего» [14. С. 69].

Выделенные уровни наррации во многом коррелятивны выделяемой нами внутренней двухуровневости современного мифа. При этом если «фактологическая база» и в какой-то мере «сюжет» располагаются преимущественно на «архаическом» уровне современного мифа, то «точка сборки» – это «конъюнктурный» («инструментальный») уровень, отражающий интересы мифотворцев. Важно, чтобы все уровни наррации и мифа оказались полностью реализованными и успешно транслируемыми аудитории, так как, например, «незаконченность сюжета» «...разрушает негласно заявленный миф» [15. С. 38].

Но самое главное, что в процессе развертывания системы наррации могут случаться конфликты между «архаическим» и «конъюнктурным» уровнями современного мифа, легко превращающиеся в конфликты ценностей и идентичностей. Происходят такого рода конфликты в результате нестыковок «...между обеспеченным традиционным мифическим содержанием сознанием и современной, непрерывно меняющейся, склонной к дивергенции мифологией...» [14. С. 80]. По-другому говоря, разжиганию вышеуказанного внутреннего конфликта современного политического мифа способствует отсутствие органичного сочетания, с одной стороны, элементов «архаического» уровня мифа, связанных с традиционными мифологемами и классическими фабулами, и, с другой стороны, элементов «конъюнктурного» уровня, наполненных идеями и смыслами мифотворцев, пытающихся не выпасть из изменчивой политической конъюнктуры, актуальной повестки дня.

Зачастую имеет место отрыв «конъюнктурного» («инструментального») уровня от архаики. Это выражается прежде всего в том, что в погоне за сиюминутной выгодой и в стремлении обеспечить реализацию интересов так называемых мифотворцев (в роли которых выступают преимущественно элиты) нарушаются механизмы трансляции и не выполняются важнейшие для обеспечения действенности мифа (мифологического сюжета, смыслового фрейма наррации) этапы его реализации. Так, К. Воглер, основываясь на идеях Д. Кэмпбелла, изложенных в его знаменитой работе «Тысячеликий герой» [16], выделил стадии путешествия героя («1. Обыденный мир; 2. Зов к странствиям; 3. Отвержение зова; 4. Встреча с наставником; 5. Преодоление первого порога; 6. Испытания, союзники, враги; 7. Приближение к сокрытой пещере; 8. Главное испытание; 9. Награда (обретение меча); 10. Обратный путь; 11. Возрождение; 12. Возвращение с эликсиром» [17. С. 47–48]), повествование о которых образует эффективно работающий нарратив, раскрывающий смысл мифа о свершениях героя. Эти стадии, зарекомендовавшие себя на «архаическом» уровне мифа, могли бы эффективно работать и в современной политической плоскости, однако в реальной политической практике такое соответствие практически не встречается в силу целого комплекса причин (посто-

янно меняющаяся политическая конфигурация, к которой нужно подстраиваться, фактически как нарушая последовательность стадий, так и искажая смыслы действий; столкновение различных интересов – экономических, финансовых). Кроме того, мифологический сюжет может просто оказаться не в полной мере реализованным: «Невнятное же завершение истории... разрушает героический миф...» [15. С. 39].

Если «архаический» уровень мифа отсылает к устойчивым образам, то «конъюнктурный» («инструментальный») уровень слишком изменчив и далеко не всегда способен в точности соответствовать базовым архетипическим стандартам. Все это позволяет говорить о том, что в современном мифе заложен внутренний конфликт между «архаическим» и «конъюнктурным» («инструментальным») уровнями, в наиболее явной форме проявляющийся в политическом мифе. В настоящее время в политическом поле наряду с мифом о свершениях героя вышеупомянутую внутреннюю конфликтность можно обнаружить и в этиологических мифах.

Для того чтобы политический миф обрел внутреннее единство и смог претендовать на участие в процессе обеспечения политической стабильности (т.е. того, что необходимо находящемуся у власти политическому классу), важным представляется нейтрализация конфликта между уровнями мифа. Не последнюю роль в достижении такой внутренней органики политического мифа играет изящный нарратив, сюжетная линия которого как бы объединяет в себе архаику и современность, индивидуальное и коллективное, уникальное и общее.

Рассматривая миф о свершениях героя и этиологический миф в качестве смысловых фреймов наррации, следует отметить ряд важных обстоятельств, позволяющих понять, как нарратив преодолевает конфликт между уровнями мифа.

Так, история развития арийского и хазарского мифов в России, серьезно проработанная и подробно изученная В.А. Шнирельманом [18–20], демонстрирует нам, как нарратив, содержащийся в этиологических мифах (арийском и хазарском), способен сглаживать противоречия и конфликты между «архаическим» и «конъюнктурным» («инструментальным») уровнями мифа.

Нарративная форма придает политическому мифу неповторимую событийную уникальность, содержащуюся в каждом сюжете. Более того, будучи облачен в нарративную форму, политический миф более органично воспринимается массовой аудиторией. Рассматривая политическое пространство, можно обнаружить как минимум две причины такой успешной адаптации политического мифа к жизненному миру обывателя. Во-первых, нарративное измерение мифа способно сделать политический миф ближе и понятнее человеку в силу наличия «повествовательных фрагментов», актуализирующих личный опыт реципиента, в то время как политика в целом может продолжать оставаться областью, «трансцендирующей за рамки нашего опыта повседневной жизни» [21. С. 501]. Например, обращение к некогда величественному Хазарскому каганату в художественно-нарративной форме делает сюжетную линию хазарского мифа понятной и близкой широким слоям населения, позволяет легче использовать данный миф в политической борьбе.

Во-вторых, нарративы – как входящие в мифологический сюжет, так и сами по себе – играют ключевую роль в символической презентации, в формировании чувства принадлежности к определенной общности, действуя, таким образом, как идентификационные интеграторы. Например, арийский миф использовался политической элитой для легитимации автохтонности нации, выступая как дополнительный фактор при предъявлении претензий на определенные территории.

Следует заметить, сам по себе нарратив выступает лишь в качестве инструмента в руках политических мифотворцев. Ключевое значение имеет модальность нарратива, т.е. то, в какой степени он усиливает или же ослабляет тот или иной миф. Иначе говоря, нужная или правильно выбранная модальность нарратива позволяет политическому мифу легче достигать своих целей (а целей у политического мифа может быть много: это и укрепление власти, и формирование идентичности, и трансляция ценностей и т.п.).

И здесь в качестве средства преодоления конфликта между уровнями мифа нарратив выполняет примерно ту же функцию, что и классический миф у К. Леви-Стросса: «...миф обычно оперирует противопоставлениями и стремится к их постепенному снятию – медиации» [22. С. 235]. Но меняются инструменты и противоположности, между которыми осуществляется медиация. Теперь место классического мифа в роли медиатора занимает включенная в сюжет, в канву риторическая фигура нарратива. В результате мы встречаем слова «общественная организация» вместо слова «партия», «патриотизм» вместо, например, «либерализм» или «социализм». Такой подменой обеспечивается близость к корням, близость к «архаическому» уровню. Ведь в первом случае апеллируют ко всему обществу, а не к какой-либо социальной группе, а во втором случае – к отечеству, а не к идеологии.

Но стоит отметить, что вопрос об эвристическом потенциале нарратива, в том числе и о его способности решать конфликт между уровнями современного мифа, выходит за рамки настоящей статьи и, безусловно, заслуживает отдельного детального анализа. Кроме того, потребуется помощь историков, политологов, социологов, социальных психологов, которые займутся выявлением степени влияния конкретного нарратива, входящего в политический миф, на общественное сознание, поведенческие установки, политические процессы.

Сейчас же можно констатировать, что нарративы играют ключевую роль в процессах мифотворчества и мифологизации, выступая в качестве связующего элемента между двумя уровнями современного мифа – «архаическим» и «конъюнктурным» («инструментальным»), и наиболее отчетливо это заметно на примере политических мифов.

Литература

1. Рязанова С.В. Архаические мифологемы в политическом пространстве современности. Пермь : Перм. гос. ун-т, 2009. 326 с.
2. Кэмпбелл Дж. Мифы, в которых нам жить. Киев : София ; Москва : Гелиос, 2002. 256 с.
3. Элиаде М. Аспекты мифа. М. : Академический проект, 2000. 222 с.
4. Барт Р. Мифологии. М. : Изд-во им. Сабашниковых, 2004. 320 с.
5. Гуревич П.С. Социальная мифология (критика буржуазной идеологии и ревизионизма). М. : Мысль, 1983. 175 с.

6. Щербинина Н.Г. Мифо-героическое конструирование политической реальности России. М. : РОССПЭН, 2011. 287 с.
7. Завершинский К.Ф. Политический миф в структуре современной символической политики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6. Политология. Международные отношения. 2015. Вып. 2. С. 16–25.
8. Кассирер Э. Техника современных политических мифов // Вестник Московского университета. Сер. 12. Политические науки. 1994. № 5. С. 12–16.
9. Малинова О.Ю. Миф как категория символической политики // Символическая политика : сб. науч. тр. / ред. О.Ю. Малинова и др. М. : ИНИОН РАН, 2015. Вып. 3: Политические функции мифов. С. 5–24.
10. Bottici C. A Philosophy of Political Myth. Cambridge : Cambridge University Press, 2007. 286 p.
11. Эрлих С.Е. Три нарратива коллективной памяти: волшебная сказка, героический миф, миф самопожертвования // Историческая экспертиза. 2017. № 2. С. 9–16.
12. Сыров В.Н. Массовая культура: мифы и реальность. М. : Водолей, 2010. 328 с.
13. Осипов Г.В. Социология и социальное мифотворчество. М. : НОРМА, 2002. 656 с.
14. Тульчинский Г.Л. Нарратив в символической политике: уровни и диахрония // Символическая политика : сб. науч. тр. / ред. О.Ю. Малинова и др. М. : ИНИОН РАН, 2016. Вып. 4: Социальное конструирование пространства. С. 65–83.
15. Шолова С.А. От мистерии до стрит-арта. Очерки об архетипах культуры в политической коммуникации. М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. 262 с.
16. Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой. Москва : Рефл-бук : АСТ ; Киев : Ваклер, 1997. 384 с.
17. Воглер К. Путешествие писателя. Мифологические структуры в литературе и кино. М. : Альпина нон-фикшн, 2015. 476 с.
18. Шнирельман В.А. Хазарский миф: идеология политического радикализма в России и ее истоки. Москва ; Иерусалим : Мосты культуры, Гешарим, 2012. 312 с.
19. Шнирельман В.А. Арийский миф в современном мире. М. : Новое литературное обозрение, 2015. Т. 1. 536 с.
20. Шнирельман В.А. Арийский миф в современном мире. М. : Новое литературное обозрение, 2015. Т. 2. 440 с.
21. Шюц А. Избранное : Мир, светящийся смыслом. М. : РОССПЭН, 2004. 1056 с.
22. Леви-Стросс К. Структурная антропология. М. : ЭКСМО-Пресс, 2001. 512 с.

Andrey G. Ivanov, Lipetsk State Technical University (Lipetsk, Russian Federation); Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Lipetsk Branch (Lipetsk, Russian Federation).

E-mail: agivanov2@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 49. pp. 69–78.

DOI: 10.17223/1998863X/49/8

THE NARRATIVE DIMENSION OF A POLITICAL MYTH

Keywords: political myth; “archaic” and “conjunctural” (“instrumental”) levels of contemporary myth; narrative; conflict between levels of myth.

The article presents the contemporary social myth as a phenomenon that is realized at two levels – “archaic” and “conjunctural” (“instrumental”). At the “archaic” level, there are stable archetypes, images, mythologems, rituals that are developed mainly collectively, while at the “conjunctural” level, a kind of “mythology of ideas” is found – the results of a rational purposeful activity of individual mythmakers often appearing as ideologies. The political myth, understood as a kind of a social myth, dominates at the “conjunctural” level that expresses the interests of the political class. The specificity of the political myth is that this kind of myth constantly seeks to demonstrate its “archaic” roots while being located mainly at the “conjunctural” level. The danger and ambiguity of the consequences associated with the functioning of the political myth in society are noted; they are explained by the unpredictability of the activities of mythmakers and elites. The most important role in political mythmaking belongs to narratives. The author asks a question about the degree of the political myths’ impact on society, primarily on the commemorative practices, and identifies a number of factors that determine the scale of this impact. Special attention is paid to the levels of narration; they are compared with the

levels of a contemporary myth. The article emphasizes the decisive importance of the fact that all the levels of narration and myth have been completely implemented and successfully broadcast. The author believes that in the development of the system of narration there may occur conflicts between the “archaic” and “conjunctural” (“instrumental”) levels of the contemporary myth. The emergence of this internal conflict of the contemporary political myth is favored by the absence of the following organic combination: on the one hand, the elements of the “archaic” level of the myth, associated with traditional mythologems and classic plots, and, on the other hand, the elements of the “conjunctural” (“instrumental”) level, filled with ideas and meanings of mythmakers who are trying not to fall out of the changing political situation, the current agenda. Narratives can act as a primary means of gaining political myth internal organics. The storyline of the narrative, which is part of the myth, combines the archaic and the modern, the individual and the collective, the unique and the general. As a means of overcoming the conflict between the levels of the myth, narratives perform a function similar to Claude Levi-Strauss’ myth. But now the place of the classical myth in the role of the mediator is taken by a rhetorical narrative figure which is included in the plot, in the outline.

References

1. Ryazanova, S.V. (2009) *Arkhaicheskie mifologemy v politicheskom prostranstve sovremennosti* [Archaic Mythologems in the Political Space of Modernity]. Perm: Perm State University.
2. Campbell, J. (2002) *Mify: v kotorykh nam zhit'* [Myths to Live by]. Translated from English. Kyiv: Sofiya; Moscow: Gelios.
3. Eliade, M. (2000) *Aspekty mifa* [Aspects of Myth]. Translated from French. Moscow: Akademicheskyy Proekt.
4. Barthes, R. (2004) *Mifologii* [Mythologies]. Translated from French by S. Zenkin. Moscow: Sabashnikov.
5. Gurevich, P.S. (1983) *Sotsial'naya mifologiya (kritika burzhuaiznoy ideologii i revizionizma)* [Social Mythology (Criticism of Bourgeois Ideology and Revisionism)]. Moscow: Mysl'.
6. Scherbinina, N.G. (2011) *Mifo-geroicheskoe konstruirovaniye politicheskoy real'nosti Rossii* [Myth-Geroic Constructing of Russia's Political Reality]. Moscow: ROSSPEN.
7. Zavershinsky, K.F. (2015) Political Myth in the Structure of Modern Symbolic Politics. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 6. Politologiya. Mezhdunarodnye otnosheniya – Vestnik of St. Petersburg University. Series 6. Political Science. International Relations*. 2. pp. 16–25. (In Russian).
8. Cassirer, E. (1994) Tekhnika sovremennykh politicheskikh mifov [Technique of Modern Political Myths]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 12. Politicheskie nauki – Moscow University Bulletin. Series 12. Political Science*. 5. pp. 12–16.
9. Malinova, O.Yu. (2015) Mif kak kategoriya simvolicheskoy politiki [Myth as a Category of Symbolic Politics]. In: Malinova, O.Yu. (ed.) *Simvolicheskaya politika* [Symbolic Politics]. Issue 3. Moscow: INION RAS.
10. Bottici, C. (2007) *A Philosophy of Political Myth*. Cambridge: Cambridge University Press.
11. Ehrlich, S.E. (2017) Three Narratives of the Collective Memory: Fairy Tale, Heroic Myth, Self-Sacrifice Myth. *Istoricheskaya ekspertiza*. 2. pp. 9–16. (In Russian).
12. Syrov, V.N. (2010) *Massovaya kul'tura: mify i real'nost'* [Mass Culture: Myths and Reality]. Moscow: Vodoley.
13. Osipov, G.V. (2002) *Sotsiologiya i sotsial'noye mifotvorchestvo* [Sociology and Social Mythmaking]. Moscow: NORMA.
14. Tulchinsky, G.L. (2016) Narratsiya v simvolicheskoy politike: urovni i diakhroniya [Narration in Symbolic Politics: Levels and Diachrony]. In: Malinova, O.Yu. (ed.) *Simvolicheskaya politika* [Symbolic Politics]. Issue 4. Moscow: INION RAS.
15. Shomova, S.A. (2016) *Ot misterii do strit-art'a. Ocherki ob arhetipah kul'tury v politicheskoy kommunikatsii* [From Mysteries to Street Art: Essays on Cultural Archetypes in Political Communication]. Moscow: HSE.
16. Campbell, J. (1997) *Tysyachelikiy geroy* [The Hero with a Thousand Faces]. Translated from English. Translated from English by A.P. Khomik. Moscow: REFL-book, AST; Kyiv: Vakler.
17. Vogler, C. (2005) *Puteshestvie pisatelya. Mifologicheskie struktury v literature i kino* [The Writer's Journey. Mythic Structure for Writers]. Translated from English by M. Nikolenko. Moscow: Alpina non-fiction.
18. Shnirelman, V.A. (2012) *Hazarский миф: идеология политического радикализма в России и ее истоки* [The Khazar Myth: Ideology of Political Radicalism in Russia and its Origins]. Moscow; Jerusalem: Mosty kultury, Gesharim.

19. Shnirelman, V.A. (2015) *Ariysky mif v sovremennom mire* [The Aryan Myth in the Modern World]. Vol. 1. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
20. Shnirelman, V.A. (2015) *Ariysky mif v sovremennom mire* [The Aryan Myth in the Modern World]. Vol. 2. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
21. Schutz, A. (2004) *Izbrannoe: Mir, svetyashchiysya smyslom* [Selected Works: A World Glowing with Meaning]. Translated from German and English. Moscow: ROSSPEN.
22. Lévi-Strauss, C. (2001) *Strukturnaya antropologiya* [Structural Anthropology]. Translated from French. Moscow: EKSMO-Press.

УДК 167; 301.1

DOI: 10.17223/1998863X/49/9

А.Ю. Моисеева, С.Е. Овчинников

ОБЪЯСНЕНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В СОЦИОЛОГИИ: ПРОТИВ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ КРИТИКИ П. УИНЧА¹

Статья посвящена оценке значения идей П. Уинча и его последователей для методологии социологических исследований. Показано, что трудности, с которыми сталкивается социология, не только не зависят от конкретного метода, но также родственны тем трудностям, с которыми сталкивается естественная наука. В конце статьи предлагается минималистская программа защиты научного статуса социологии.

Ключевые слова: П. Уинч, методология социальной науки, теория социального действия.

«Возможна ли социология как наука?» – так, отдавая дань Канту, можно было бы сформулировать главный вопрос, которым задается Питер Уинч в книге «Идея социальной науки и ее отношение к философии» [1]. Вопрос выглядел бы совершенно праздным и неуместным, поскольку социология уже в момент своего рождения была наречена «социальной физикой» [2] и конструировалась как наука, если бы не тип аргументации, которую использует П. Уинч для отрицательного ответа на него. Опираясь на философию позднего Витгенштейна, он разделяет методы познания на эмпирические, характерные для естественных наук, и концептуальные, характерные для философии [1. Р. 9]. Эмпирические методы в рамках социологического исследования бьют мимо цели, поэтому необходимо использовать концептуальные, что делает социологию скорее философией, чем наукой. Таким образом, его аргумент состоит из двух частей. Первая – философская, в рамках которой доказывается содержательность априорного концептуального анализа и, более того, сводимость философии к вопросу о социальном действии. Вторая – социологическая, в рамках которой доказывается, что эмпирическая социология не способна схватить социологическую действительность.

Цель настоящей статьи – показать, что значение идей П. Уинча для методологии социологических исследований не так велико, как можно было бы предположить, поскольку необходимость концептуального анализа в социологии очевидна, но также очевидно и то, что он не является исчерпывающим. Поэтому мы концентрируемся на второй части его аргумента. Порядок изложения следующий. Сначала воспроизводится аргументация Уинча и то, как эта аргументация понимается наиболее радикальными из его последователей. Затем представлены аргументы в пользу того, что интерпретирующая социология, сторонником которой был Уинч, на самом деле не решает проблемы, поставленной им. В третьей части статьи мы демонстрируем, что, вообще

¹ Работа подготовлена при поддержке Российского научного фонда, грант «Аналитическая философия и современные исследования в области социальной теории», № 18-78-10082.

говоря, трудности, с которыми сталкивается социология, схожи с трудностями, возникающими в методологии естественных наук, и с учетом всех этих трудностей познание социальной действительности научными методами можно считать возможным при достаточно аккуратном и реалистичном подходе к вопросу.

Аргументация П. Уинча и радикальные выводы из нее

В своей критике социологии как науки П. Уинч отталкивается от понимания «научности» социологии, которое предлагает Дж.Ст. Милль, поскольку последний «простодушно защищает позицию, которая лежит в основании утверждений большей части современных социологов» [1. Р. 66]. Позиция Милля состоит в том, что исследователь в рамках эмпирического метода устанавливает единообразие явлений, затем делает некоторое обобщение, выводит из него следствия и проверяет их. Возможность применения этого индуктивного подхода к социологии зависит от предположения о том, что «между духовными состояниями существуют единообразия последовательностей и что единообразия эти можно устанавливать при помощи наблюдения и опыта» [3. С. 774], но Уинч отрицает возможность однозначного установления подобного единообразия в предмете социологического исследования. В основании его аргументации лежит мысль Л. Витгенштейна о том, что критерий тождественности, необходимый для фиксирования чего-либо как единообразного, является результатом применения некоторого правила. Применяя разные правила, можно получать различные ответы на вопрос о тождественности ситуаций, следовательно, ученый, исследующий феномены, для того чтобы определить их как тождественные, должен, помимо прочего, владеть единственным правилом, которое отсылает его к соответствующим характеристикам. Отсюда делается вывод, что установление единственного правила и его применение возможны только в контексте отношения между ученым и его сообществом. Следовательно, в познании необходимо присутствуют два элемента – изучение феноменов и научное сообщество, «но здесь мы встречаемся с трудностью; в случае естественной науки ученый имеет дело только с одним набором правил, а именно с тем, который управляет научным исследованием, но в случае социолога и то, что он изучает, и само исследование представляют собой человеческую деятельность и, следовательно, осуществляются в соответствии с правилами. И именно эти правила, а не те, которые управляют исследованием социолога, определяют то, что считается „совершением того же самого“ в отношении данного вида деятельности» [1. Р. 87]. Таким образом, заключает П. Уинч, в рамках социологии исследуются не эмпирические регулярности, а правила, которые разделяет то или иное сообщество, поэтому социологическое исследование должно представлять собой концептуальный анализ.

Все это можно было бы воспринимать как призыв социологов к тому, чтобы сделать свою науку более «понимающей», более «качественной» и «гуманистической», к тому, чтобы больше внимания уделять в процессе исследования ценностям и целям людей. Это поместило бы П. Уинча где-то рядом с В. Виндельбандом, равно как и со всеми сторонниками различения «наук о природе» и «наук о духе». Такое воскрешение старого и вроде бы уже решенного спора, конечно, было бы не особенно интересным и едва ли

обеспечило бы «Идее социальной науки» такую известность, какой пользуется эта книга. Однако, судя по всему, Уинч имел в виду нечто существенно более сильное, а именно что социология вообще не способна к какому бы то ни было производству знания как чего-то такого, что никто ранее не знал. По крайней мере такую точку зрения защищают его современные последователи, авторы книги с характерным названием «Нет такой вещи как социальная наука: в защиту Питера Уинча» [4] Ф. Хатчинсон, Р. Рид и В. Шеррок. Более того, они утверждают, что этот вывод является неизбежным, если серьезно относиться к аргументу Уинча.

Ход рассуждений Ф. Хатчинсона, Р. Рида и В. Шеррока вкратце следующий. То, что сами социальные акторы обладают собственным пониманием своих действий, ставит социолога в неудобную позицию конкуренции с исследуемым им объектом. Чтобы выйти из этой конкуренции победителем, социолог приписывает себе роль привилегированного наблюдателя и интерпретатора. Он утверждает, что обладает особым методом познания социологической реальности, более «объективным» и поэтому более надежным, чем те методы, которыми пользуются непрофессионалы. Он намекает на множество факторов (таких как идеология, личная заинтересованность и эмоциональная вовлеченность), способных исказить, сделать ошибочным их понимание собственных действий, и обещает помочь исправить эти ошибки. Подчеркивая свою значимость в качестве такого привилегированного интерпретатора для интерпретируемого им общественного порядка, он претендует на высокий статус внутри этого порядка или по отношению к нему и получает искомый статус. Между тем, говорят авторы книги, та «реальность», которую описывает действующий подобным образом социолог, является его собственным творением. Ведь задача социолога как ученого должна бы состоять в том, чтобы описать, что движет социальными акторами, когда они действуют тем или иным способом, а что может ими двигать, кроме их собственного понимания ситуации? Да и сам способ, которым действуют социальные акторы, если он идентифицируется социологом не так, как первично идентифицируют его сами эти акторы, идентифицируется им неверно, необоснованно. «Соответствующий критерий идентификации „деятельности, которую необходимо объяснить“ не принадлежит социологическим или каким-либо иным теоретическим схемам и не выводится из них, а [берется] из социальных условий (settings) в которых происходит деятельность» (цит. по: [5. С. 139–140]). Таким образом, социология либо фиктивна, либо излишня.

Подобные рассуждения неоднократно повторяются не только в этой книге, но и в других работах ее авторов. Так, в статье Ф. Хатчинсона «Два мира действия: социальная наука, социальная теория и системы социологической рефракции» [6] ставится под сомнение применимость в социологии различения реальности и явления, которое, по мнению этого автора, является основой научного метода. Ф. Хатчинсон полагает, что целью социальной науки является освобождение социального действия от «социологической рефракции», т.е. от систематического искажения интерпретации действия актором, что позволяет говорить о «реальном» действии [6. С. 84] и производить его обобщающие объяснения [Там же. С. 99]. Но способы, при помощи которых социологи раскрывают «реальное» действие, оказываются неудовлетворительными, поскольку используемые для этого инструментальные теории

лишь по видимости похожи на теории, используемые в естественных науках в аналогичных ситуациях. Ключевым отличием социологических «инструментов» от естественнонаучных является принципиальная непроверяемость результатов их работы опытом. Наблюдения, произведенные при помощи телескопа, можно проверить на практике («Мы можем наблюдать активность субатомных частиц (электронов) и затем использовать ее при конструировании микропроцессоров» [6. С. 94]), в то время как никакая проверка не поможет установить, было определенное действие альтруистическим или нет. Вместо того чтобы опираться на опыт, социолог подводит под свое объяснение данного действия некую более общую теорию, которую он опять-таки не может проверить, но может объяснить исходя из нее другие действия, что создает иллюзию большой согласованности с фактами. Но ни на каком уровне этого объяснения факты так и не появляются, поэтому в случае, когда имеются две конкурирующие теории, у нас нет эмпирических критериев для выбора между ними. Таким образом, заключает Хатчинсон, различие «явленного» и «реального» по отношению к социальному действию не имеет смысла, а следовательно, построение «социальной теории» по образцу естественной науки невозможно¹.

Проблема интерпретации в методологических исследованиях социологов

Бесспорно, книга П. Уинча оказала значительное влияние как на социологов, так и на социальных философов, однако справедливости ради следует сказать, что она не была ни единственной, ни самой удачной попыткой развития подобных идей в соответствующий период. Сам термин «понимающая социология» был введен, как известно, М. Вебером, в трудах которого проблема интерпретации в социологии уже проявляется достаточно ясно. Специально методологические трудности социальных наук, связанные с процессом интерпретации, рассматривал Г. Шервхейм, работавший десятилетием раньше Уинча (репринт см. в [7]). Практически одновременно в попытке преодолеть именно эти трудности создавал свою этнометодологию Г. Гарфинкель. Почти без преувеличения можно сказать, что проблема, поднятая Уинчем, осознавалась в той или иной мере на всем протяжении развития социологии до него. В данном разделе мы покажем, что корни этой проблемы лежат существенно глубже, чем полагал Уинч, и что решение, которое он предлагает (ограничение социологического метода концептуальным анализом), в действительности есть лишь иллюзия решения.

Еще Г. Шервхейм отмечал, что социальным наукам неизбежно присуща некая раздвоенность, «которая является результатом фундаментальной двусмысленности человеческой ситуации; поскольку другой одновременно является и объектом для меня и таким же субъектом, как я. Этот дуализм обнаруживается в одном из важнейших средств отношений с другим – устным слове.

¹ На это можно возразить, что логическая ненаблюдаемость, приписываемая Хатчинсоном социальному действию, и фактическая ненаблюдаемость в естественных науках неотличимы в практике научного исследования. Так, между принятием результатов наблюдений при помощи телескопа «научным сообществом» и практической проверкой этих результатов прошло 359 лет. Поэтому на практике наблюдаемость следствий не может выступать в качестве необходимого признака научной теории.

Мы можем рассматривать слова как всего лишь издаваемые другим звуки; или, если мы понимаем их смысл, мы можем рассматривать их еще и как факты, регистрируя тот факт, что другой говорит то, что он говорит; или мы можем рассматривать то, что он говорит, как претензию на знание, в таком случае то, что он говорит, интересует нас не только как факт его биографии, но и как нечто, что может быть достоверным или ложным. В первых двух случаях другой выступает объектом для меня, пусть и различным образом, в то время как в последнем случае он является равноправным субъектом, который интересует меня как занимающий такое же положение, как и я, в котором мы оба проявляем интерес к нашему общему миру» (цит. по: [8. С. 10]). К этому можно добавить, что дуализм «объективирующей» и «субъективирующей» (которую мы будем в дальнейшем называть перформативной, потому что она образована посредством моего включения в совместное с этим другим поле общественной практики) установок дополняется дуализмом, существующим внутри «объективирующей» установки, поскольку для того, чтобы понять смысл речи другого, нужно уже предположить в нем уровень сознательности, достаточный по крайней мере для того, чтобы использовать языковые нормы для выражения некоторого смысла¹. Это предположение создает напряженность между единой для актора и интерпретатора внешней составляющей речевого (и иного) действия и различными смыслами, которые тот и другой могут этому действию придавать.

У Г. Гарфинкеля и его последователей понятие интерпретации тесно связано с понятием интеракции. Интерпретация образуется, обнаруживается и преобразуется непрерывно в процессе обмена коммуникативными «ходами» между участниками социального взаимодействия. Не существует единственного заранее фиксированного смысла отдельного действия, и каждый следующий «ход» может изменить смысл всей предыдущей цепочки. При этом учитываются не только «ходы» того актора, действие которого интерпретируется, но и ответы его партнеров, поскольку на них возлагается функция осуществлять контроль соблюдения социальных норм и корректировать допущенные актором ошибки прямо по ходу коммуникации так, чтобы все взаимодействие в целом получалось осмысленным в наибольшей возможной степени. А поскольку нормы понимаются участниками опять-таки исходя из предыдущего опыта интеракций, оказывается, что каждый из участников интерпретирует и корректирует происходящее несколько по-своему, и успех взаимодействия означает не глобальную согласованность этих интерпретаций, а лишь локальный консенсус, имеющий значение только для конкретного этапа взаимодействия и только для конкретного контекста. Такое понимание процесса интерпретации означает, с одной стороны, неустранимую зависимость смысла социального действия от его контекста, с другой стороны, то, что сам контекст интерпретируется в зависимости от того, какой смысл придается «присоединяющемуся к нему» действию. В ситуации этой двойной зависимости социолог оказывается не более, но и не менее компетентным наблюдателем, чем сами участники интеракции, поскольку он так же, как и они, обладает некоторым контекстом, исходя из которого формиру-

¹ То же касается и лингвистических форм его поведения до тех пор, пока мы предполагаем, что это поведение является осмысленным, т.е. собственно социальным.

ет предположения относительно смысла действия, и так же, как они, заинтересованы в том, чтобы максимизировать осмысленность целого.

В процессе развития методологической критики находится все больше свидетельств смещения перформативной и дескриптивной установок в ходе социологического исследования так, что не только «объективирующая», но и интерпретирующая социология сталкивается с проблемой легитимации собственного метода. В самом деле, коль скоро никакое понимание социального действия невозможно без соотнесения его с собственным контекстом исследователя, любые претензии социологии на истинность должны опираться на предположение о существовании некоего общезначимого базиса, в рамках которого можно вообще говорить о понимании, действии и контексте, иначе говоря, универсальной прагматики. «Это становится ясно, исходя из имманентной разумности, которую интерпретатор должен допускать у всех выражений, какими бы непрозрачными они ни были поначалу, в той мере, в какой он вообще приписывает ее субъекту, во вменяемости которого он не видит причины сомневаться» [8. С. 24]. Однако чтобы предположение о существовании универсального базиса рациональности было не голословной декларацией, а настоящей гипотезой, социолог должен уже обладать по крайней мере каким-то корпусом данных о социальных действиях и их смыслах, которые можно было бы считать достоверными. А такого корпуса данных по понятным причинам у него никогда не будет. Социология начинает с интерпретации и заканчивает ею, какой бы «понимающей» она ни была.

Так что же, социологу и в самом деле «нечего сказать»? Возможно, что так, а возможно, что и нет. Во всяком случае, скептицизм не является неизбежным, поскольку неочевидно, почему бремя доказательства должно лежать на тех, кто ему противостоит, а не на самих скептиках. Предположение об отсутствии универсального базиса рациональности столь же нуждается в обосновании, как и о его наличии. Каждый из применявшихся до сих пор методов в отдельности может критиковаться сколь угодно обоснованно, но это не означает, что адекватный метод невозможен в принципе. Поэтому для того, чтобы продолжать быть оптимистом относительно познавательных возможностей своей науки в целом, социологу не обязательно владеть искомым адекватным методом вместе с обоснованием его адекватности, ему достаточно лишь показать, что предположение о существовании такого метода не ведет к противоречию при принятых предпосылках. В следующем разделе мы попробуем, следуя такой минималистской программе, защитить претензии социологии на то, чтобы называться наукой, не отбрасывая при этом аргументов Уинча в той их части, которая является действительно релевантной.

Обоснование возможности научной социологии

Чтобы предположение о существовании адекватного научного метода исследования социальной реальности не приводило к противоречию, нужно показать, что можно принимать интерпретационную концепцию социального действия, но при этом рассматривать это действие в качестве полноправного кандидата на номологическое объяснение. Широко известно, что основатель концепции науки как предприятия по поиску номологических объяснений К. Гемпель понимал под законом не что иное как причинную взаимосвязь. Поэтому неудивительно, что спор о том, может ли социология быть наукой,

как правило, сводится к спору о том, может ли социолог претендовать на открытие объективных причин социальных явлений. Между тем, как показывает современный историк и философ науки М. Бунге, причинность является отнюдь не единственной формой детерминизма, с которой работает наука, и даже в естественных науках далеко не везде причинное объяснение возможно и нужно. Например, в различных областях науки широко применяются объяснения посредством подведения некоторого неизвестного явления под категорию уже известных явлений, протекающих некоторым определенным образом. Часто такие закономерности, выведенные посредством обобщения без причинного объяснения, называются феноменологическими законами. По поводу них М. Бунге пишет: «В одном смысле описание предшествует объяснению; в другом смысле оно является родом объяснения, хотя, возможно, и поверхностным объяснением. Рано или поздно истинные объяснения позволяют нам проводить более полные и более точные описания; они также могут навести на мысль о существовании фактов, которые были опущены при описательном объяснении. Чистое описание, „не стесненное теорией“, „беспристрастное в отличие от истолкования“, полностью свободное от гипотез, является мифом, изобретенным традиционным позитивизмом, интуиционизмом и феноменологией... Ни одно научное утверждение не имеет смысла вне теоретической системы. Короче говоря, наука является и описательной, и объясняющей; а описание можно отличить, но не отделить от объяснения» [9. С. 339–340].

Таким образом, нам не нужно защищать тезис о способности социологии к производству истинных причинных объяснений, нам достаточно лишь обосновать возможность для нее производить истинные описания. Но это уточнение не слишком облегчает задачу, поскольку именно здесь находится главная мишень аргументации П. Уинча: он критикует в первую очередь не закономерности, которые социолог приписывает наблюдаемым процессам, а ту категориальную схему, которая применяется для их описания и первичного выявления регулярностей. Поэтому попробуем разобраться, какие именно черты, присущие объектам естественных наук, делают их пригодными для описательного объяснения и можно ли рассматривать социальные явления как обладающие, по крайней мере в некоторой степени, теми же чертами.

Суть любого описательного объяснения состоит, как уже было сказано, в отнесении наблюдаемого явления к определенному классу. В духе аристотелевского эссенциализма можно было бы сказать, что это действие по усмотрению сущностных свойств явления, в отличие от его акцидентальных свойств. Современная наука отказалась от деления свойств на сущностные и акцидентальные. Основу ее таксономии составляют просто такие свойства, которые удобны в теоретическом плане – т.е. такие, которые предположительно могут использоваться для того, чтобы вписать исследуемое явление в имеющуюся научную картину мира и – в плане научной практики – которые можно зафиксировать с помощью человеческих органов чувств и имеющейся аппаратуры или по крайней мере с помощью аппаратуры, принципы работы которой мы можем сформулировать. Сказанное означает, что для того, чтобы быть научно познаваемым, явление должно быть некоторым образом ограниченным и изолируемым (хотя бы мысленно) от других явлений, с которыми оно протекает совместно в естественных условиях. Созерцание действитель-

ности вообще, без выделения конкретного предмета и без попытки рассмотреть его вне посторонних влияний, может служить чему угодно, но только не науке.

Относительность смысла любого социального явления к контексту, в котором оно рассматривается, означает как будто, что изолировать социальное явление невозможно, что оно конституируется всеми внутренними отношениями, присущими коммуникации как целому, и только ими. Что-то подобное, по-видимому, пытается сказать Уинч, когда утверждает, что «социальные отношения подобны логическим отношениям между пропозициями» [1. Р. 57]. Однако он не замечает, что, если буквально следовать этому утверждению, теряется наиболее существенный элемент смысловой структуры социального действия – собственно деятель. Как уже было сказано, краеугольным камнем интерпретационного подхода к социальному является понятие нормы, которое применимо только там, где имеется сознательный, ответственный за свои действия агент, который может эту норму принимать или не принимать. Само по себе понимание социальным актором некоторых условий, приписывание им некоторого смысла не порождает ни его отношения к происходящему, ни его решений о том, как ему следует действовать. Существует огромная разница между отношениями логического следования между пропозициями и отношениями перехода от одной мысли к другой, поскольку никакие логические законы не могут принудить субъекта к тому, чтобы мыслить так, а не иначе. Поэтому, на первый взгляд, концептуальный анализ так же не способен дать адекватное объяснение социальному действию, как и анализ внешних факторов.

Но это лишь на первый взгляд. В реальном историческом процессе системы идей не могут развиваться независимо, они постоянно вступают во взаимодействие с другими системами, и, следовательно, рассмотрение этих систем не может ограничиваться внутренними факторами. Если посмотреть на взаимодействие человеческих сообществ в исторической перспективе, то можно обнаружить в нем те же процессы раздела сфер влияния, конкуренции за ресурсы, взаимного подавления вплоть до достижения равновесного состояния или до уничтожения одной из сторон, которые имеют место в живой природе. Об этом почти тривиальном факте любят забывать антропологи и философы, когда аргументируют в пользу культурного или социального релятивизма. Безусловно, ценности и нормы в значительной степени зависят от внутренних факторов культуры и социума, однако с сугубо внешней точки зрения предельной ценностью для всех культур и сообществ является сохранение этих самых культур и сообществ, иначе они давно сошли бы с исторической сцены. Например, как бы твердо ни верили представители некоторого племени в способность их шамана вызывать дождь, в случае, если все они погибнут в результате засухи, они не смогут дальше защищать эту точку зрения и передать ее потомкам. То же самое происходит на уровне индивидуальных членов сообществ. Хотя в рамках каждого отдельного взаимодействия индивид должен считаться свободным в выборе поведения, признавая свою принадлежность к сообществу, он связывает себя множеством императивов, почти настолько же жестких, как законы природы, и в предельных случаях успех или неудача социального действия способны уравнивать сознательного агента со всеми другими, не наделенными способностью к выбору

поведения объектами. И хотя большинство коммуникативных ответов приобретает положительную или отрицательную оценку только в конкретном социальном контексте, существует грань, при переходе которой оценка становится обусловленной сугубо природными факторами. Так, если улыбку или угрожающий оскал еще можно трактовать вариативно, то когда ваш коммуникативный партнер, как бы культурно далек он ни был, пытается вас ударить, его поведение однозначно свидетельствует о неудаче вашей стратегии общения. Это не означает, что истоки всех социальных норм мы предлагаем искать в биологии, мы лишь утверждаем, что социальные явления, по крайней мере в некоторых случаях, могут быть рассмотрены как порожденные внешними факторами и, следовательно, могут быть мысленно ограничены. Конечно, из данного рассуждения неясно, как именно это следует делать в каждом конкретном случае, но это и не требуется для выполнения нашей минималистской программы.

Далее, объекты являются доступными для изучения методами естественных наук, когда они более или менее стабильны в своих проявлениях, иначе говоря, когда они «ведут себя» схожим образом в сходных обстоятельствах. Подчеркнем – не одинаковым образом в одинаковых обстоятельствах, а именно сходным в схожих. Ни в естественных, ни тем более в социальных науках не встречается случаев чистого нумерического тождества, в лучшем случае это тождество по виду, которое иначе именуется сходством. Слово «сходство» является, с нашей точки зрения, даже более предпочтительным, поскольку разговор о тождестве по виду обычно ведется там, где имеют место так называемые естественные виды. Но что именно называть естественными видами и какие факторы являются релевантными при выделении таких видов – большой вопрос, на который здесь не следует пытаться ответить, тем более что в социологии-то точно никаких естественных видов быть не может. Поэтому мы будем говорить только о сходстве и единообразии.

В самом общем виде можно с большой долей уверенности предположить, что социальные агенты также склонны вести себя сходным образом в сходных обстоятельствах. Собственно, именно это удостоверяют нормы, являющиеся основой социальности. Однако в чем именно проявляется это сходство, не всегда легко установить, не будучи явно информированным о том, какой нормой руководствовался актер, когда решил действовать так, а не иначе. Здесь вступает в игру тезис П. Уинча о том, что единственный способ постороннему человеку узнать, что это за норма, состоит в том, чтобы самому ориентироваться в своих действиях на ту же систему норм, на которую ориентируется актер, быть с ним метафорически «одной крови». Только так, по мнению Уинча, социальное действие можно схватить в его первичном смысле и единственной реальности, иначе говоря, только так можно получить его истинное описание. Во всех остальных случаях мы будем подменять смысл действия, а значит и само действие, фикцией, понятной нам, но несколько не приближающей нас к познанию нашего объекта. При этом, как было уже сказано выше, в случае, если мы действительно понимаем действие исходя из тех норм, в соответствии с которыми оно было совершено, нам как социологам больше нечего делать с ним. Задача «социологической науки» в этом случае оказывается решена еще до того, как она была поставлена. Если

признать эти рассуждения верными, придется заключить, что ситуация является патовой для социолога.

Однако, на наш взгляд, реконструкция социологии как науки, проведенная П. Уинчем и его последователями, ошибочна. В действительности социолог стремится объяснить не само действие, а его описание. Поэтому дихотомия, которая используется в социологии, сводится не к разделению действий на «реальные» и «явленные» [6. С. 77], а к разделению описаний. Это разделение может, по аналогии с научными теориями, опираться на богатство эмпирического содержания, т.е. на количество следствий, потенциально допускающих фальсификацию. Некоторые описания можно считать проверяемыми. Например, в том, что в некоторый исторический период, в определенной местности женщину, пекшую хлеб в Благовещение и спровоцировавшую тем самым засуху, обливали водой для вызова дождя, можно удостовериться эмпирически. В подобных описаниях «субъективный» и «объективный» смыслы действия практически совпадают, т.е. описания действия акторами будут неотличимы от описаний этих действий социологом (который может как пересказывать акторов, так и опираться на письменные или иные источники). Другие, более общие описания, такие как «шаманы африканских племен практикуют вызов дождя путем танца», не могут быть проверены непосредственно. Предварительно потребуется вывести из них следствия, т.е. заменить общие термины на частные¹. И, на наш взгляд, именно описания последнего вида наиболее интересны.

На наш взгляд, правдоподобным является предположение, что некоторые описания социальных действий допускают номологические объяснения, а некоторые нет, и что, более того, последние можно преобразовывать в первые. Такое преобразование демонстрирует А. Данто на примере исторического исследования. Он полагает, что если имеется экспланандум, который не может быть объяснен законоподобно, то всегда можно заменить его на допускающий такое объяснение. Мы воспроизведем его пример, который демонстрирует различные описания одно и того же действия: «Во время последнего fetenationalmonagasque улицы, как и следовало ожидать, были украшены флагами Монако. Но рядом с ними можно было видеть американские флаги. Можно удивиться и спросить, почему это именно американские флаги вывешены вместе с флагами монегасков, а не флаги каких-нибудь других стран, например Англии, Франции или Германии? Здесь чувствуется потребность в объяснении по крайней мере двух вещей: наличие американского флага рядом с национальным флагом и отсутствие флагов других стран. Нам могут дать вполне правдоподобное объяснение: князь Монако женат на американке. При этом мы действуем по сценарию проф. Дрея: мы можем сказать, что не знаем такого закона, который связывал бы событие *K* (женитьба князя Рене III на актрисе Грейс Келли) с событием *E* (вывешивание американских флагов монегасками во время их национального праздника). Действительно, при таком описании нет закона, связывающего эти два события, однако при подходящем новом описании каждого из этих событий достаточно легко представить закон, который и допускает это новое описание, и сам

¹ Исчерпывающий, на наш взгляд, анализ возможности исторического описания произведен А. Данто [10. С. 90–110]. Данный анализ может быть применен к социологическому действию без существенных изменений.

допустим с его точки зрения. Более того, благодаря новому описанию мы можем сформулировать наше объяснение в виде дедукции. Вот три разных описания события *Е*:

а) Монегаски вывесили американские флаги рядом со своими национальными флагами.

б) Монегаски чествовали княгиню американского происхождения.

с) Представители одной нации чествовали княгиню иной национальной принадлежности» [10. С. 210].

Последнее описание непосредственно приводит нас к универсальному закону о том, что княгинь иной национальности обычно дополнительно чествуют. Более того, очевидно, что эмпирическое содержание, т.е. потенциальная возможность фальсификации, возрастает от первого описания, из которого есть только одно эмпирическое следствие, к последнему. Если такое преобразование описаний возможно в социологии, то существенного различия в том, как используются теоретические обобщения, между нею и наукой нет.

Выше мы привели некоторые доводы в пользу того, чтобы считать, что подход к социологии, предлагаемый П. Уинчем, не решает проблемы, поставленной им самим. Теперь обратимся к философским основаниям его позиции. Отрицая естественнонаучную методологию в социологии, Уинч фактически призывает формировать описания социального действия «непосредственно», т.е. не привлекая некоторую теорию. На наш взгляд, идея возможности и необходимости такого описания коренится в Бэконском представлении об идолах разума как искажающих познание. Не только для социологов-витгенштейнцев, но и для традиционной философии характерно отождествление объективности знания с отсутствием субъективных искажений. К. Поппер отмечает, что это общее место и в рационализме Р. Декарта, и в эмпиризме Ф. Бэкона: «Учение о проявленности истины вынуждает нас объяснять возможность заблуждения. Само по себе знание, обладание истиной не требует объяснения. Но как можно ошибаться, если истина очевидна? Ответ: благодаря нашему собственному греховному нежеланию увидеть очевидную истину вследствие зараженности нашего мышления предрассудками» [11. С. 12]. Систематическое сомнение и освобождение от идолов суть процедуры отделения науки от субъективного влияния, но «всем нам известно, что истину часто трудно обнаружить, и даже когда она найдена, ее вновь легко потерять» [Там же. С. 13]. Идеи Бэкона не оказали значительного влияния на естественные науки, которые развивались гипотетико-дедуктивным путем. По тем же причинам они неприменимы и к наукам социальным. Критерий, по которому Уинч пытается разделить социальные и естественные науки, на самом деле является их единственной общей чертой.

Литература

1. *Winch P.* The Idea of a Social Science and Its Relation to Philosophy. London : Routledge, 1990.
2. *Конт О.* Дух позитивной философии. СПб. : Вестник знания, 1910.
3. *Милль Д.С.* Система логики силлогистической и индуктивной. М. : Изд-во Г.А. Лемана, 1914.

4. Hutchinson P., Read R., Sharrock W. There is no such thing as a social science: in defence of Peter Winch. Aldershot : Ashgate, 2008.
5. Степанцов П. Нет такой вещи как социальная наука: в защиту Питера Уинча // Социологическое обозрение. 2009. Т. 9, № 3. С. 129–150.
6. Хатчинсон Ф. Два мира действия: социальная наука, социальная теория и системы социологической рефракции // Социологическое обозрение. 2012. Т. 11, № 2. С. 75–99.
7. Skjervheim H. Objectivism and the Study of Man // Inquiry. 1974. № 17. P. 213–239.
8. Хабермас Ю. Проблематика понимания смысла в социальных науках // Социологическое обозрение. 2008. Т. 7, № 3. С. 3–33.
9. Бунге М. Место принципа причинности в современной науке. М. : Эдиториал, 2010.
10. Данто А. Аналитическая философия истории. М. : Идея-пресс, 2002.
11. Понпер К. Предположения и опровержения. М. : АСТ, 2008.

Anna Yu. Moiseeva, Institute of Philosophy and Law, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation).

E-mail: ajumo@yandex.ru

Stepan Ye. Ovchinnikov, Institute of Philosophy and Law, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation).

E-mail: step.ovch@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 49. pp. 79–91.

DOI: 10.17223/1998863X/49/9

EXPLANATION AND INTERPRETATION IN SOCIOLOGY: AGAINST PETER WINCH'S METHODOLOGICAL CRITICISM

Keywords: Peter Winch; methodology of social science; theory of social action.

The article is devoted to the evaluation of the significance of the ideas of Peter Winch and his followers Phil Hutchinson, Rupert Read and Wes Sharrock for the methodology of sociological research. The essence of Winch's argument formulated in *The Idea of Social Science and Its Relation to Philosophy* is that, within sociology, what is explored consists in rules shared by a particular community rather than in empirical regularities, so the method should be considered as a conceptual analysis. The most radical interpretation of this argument by Hutchinson, Read and Sharrock implies that sociology cannot produce new knowledge at all and should be reduced only to clarifying what is already known to social actors. As it turned out in the course of research on the development of the ideas of Hans Skjervheim and Harold Garfinkel that are similar to Winch's ones, accepting Winch's methodological criticism of "objectifying" sociology does not cancel the fact that interpretive sociology supported by Winch cannot solve the problem he posed. Moreover, as it is shown below, similar problems exist in the natural sciences; therefore, something else is required to prove the impossibility of applying the scientific method in sociology. If one looks at the situation more broadly, it is unclear why the assumption of the usefulness of the scientific method in sociology is more dubious and needs more argumentation than the assumption of its uselessness. In addition, when Winch and his followers discuss sociology as a science they make an error that consists in the fact that the subject for a sociologist's explanation is not action itself but its descriptions, and, therefore, descriptions that do not allow a nomological explanation can be replaced with the ones that allow it. The article presents examples of such a replacement taken from the works of Arthur Danto on the methodology of history that can be easily translated into a sociological context. Thus, it has been demonstrated that an adequate scientific method for a sociological research is generally possible even if it is not possible to justify the adequacy of any of the existing specific methods.

References

1. Winch, P. (1990) *The Idea of a Social science and its relation to philosophy*. London: Routledge.
2. Comte, A. (1910) *Dukh pozitivnoy filosofii* [The Course of Positive Philosophy]. Translated from French. St. Petersburg: Vestnik znaniya.
3. Mill, D.S. (1914) *Sistema logiki sillogisticheskoy i induktivnoy* [A System of Logic, Ratiocinative and Inductive]. Translated from English by V.N. Ivanovsky. Moscow: G.A. Leman.
4. Hutchinson, P., Read, R. & Sharrock, W. (2008) *There is no such thing as a social science: in defence of Peter Winch*. Aldershot: Ashgate.

5. Stepantsov, P. (2009) Net takoy veshchi kak sotsial'naya nauka: v zashchitu Pitera Uincha [There is no such thing as a social science: in defence of Peter Winch]. *Sotsiologicheskoe obozrenie – Russian Sociological Review*. 3. pp. 129–150.
6. Hatchinson, F. (2012) Two worlds of action: social science, social theory and systems of sociological refraction. *Sotsiologicheskoe obozrenie – Russian Sociological Review*. 2. pp. 75–99. (In Russian).
7. Skjervheim, H. (1974) Objectivism and the Study of Man. *Inquiry*. 17. DOI: 10.1080/00201747408601719
8. Habermas, J. (2008) Problematika ponimaniya smysla v sotsial'nykh naukakh [The problem of understanding of meaning in social sciences]. *Sotsiologicheskoe obozrenie – Russian Sociological Review*. 7. pp. 3–33.
9. Bunge, M. (2010) *Mesto printsipa prichinnosti v sovremennoy nauke* [The Causality: The Place of the Casual Principle in Modern Science]. Translated from English by S.F. Shushurin, I.S. Shern-Borisova. Moscow: Editorial.
10. Danto, A. (2002) *Analiticheskaya filosofiya istorii* [Analytical Philosophy of History]. Translated from English by A.L. Nikiforov, O.V. Gavrishina. Moscow: Idea-press.
11. Popper, K. (2008) *Predpolozheniya i oproverzheniya* [Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge]. Translated from English. Moscow: AST.

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

УДК 1(091)

DOI: 10.17223/1998863X/49/10

Т. Качераускас

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ШКОЛЫ КОММУНИКАЦИИ: ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ

Анализируются школы коммуникации, которые являются альтернативными по отношению к классификации, предъявленной как Дж. Фiske, так и Р. Крейгом с Х. Мюллер. В статье не только описываются альтернативные школы и традиции, но и поднимаются философские вопросы о метакоммуникации: каковы философские основы одной или другой классификации, почему разные школы игнорируют друг друга, на основании чего мы можем говорить о разных школах? Обсуждаются философские аспекты альтернативных школ.

Ключевые слова: философия коммуникации, метакоммуникация, школы коммуникации, несоизмеримые дискурсы, классификация коммуникационных школ.

Введение

Философы коммуникации обращают внимание на две вещи. Во-первых, коммуникационный дискурс очень молодой, он отделился от философии около ста лет тому назад [1]. Во-вторых, ему свойственно не только изобилие традиций и школ [2, 3], но и несоизмеримость их [3].

Философы коммуникации пытаются классифицировать эти традиции (школы). Скажем, Дж. Фiske [2] выделяет семиотическую и школу процесса. Р. Крейг и Х. Мюллер [3] описывают их подробнее и точнее, выделяя риторическую, семиотическую, кибернетическую, социокультурную, социопсихологическую, феноменологическую и критическую школы.

Классификация коммуникационных школ содержит несколько философских аспектов. Во-первых, некоторые школы (например, семиотическую или феноменологическую) можно назвать философскими. Во-вторых, классификация сталкивается со следующими вопросами метакоммуникации: каковы философские основы одной или другой классификации, почему разные школы игнорируют друг друга, на основании чего мы можем говорить о разных школах?

В связи с этими проблемами возникает вопрос об альтернативных школах коммуникации. Об этом упоминают и сами Крейг и Мюллер [3] после обсуждения упомянутых семи школ. Они говорят о постмодернистской, феминистической, биологической и прагматической школах. В статье обсуждаются и другие школы коммуникации, а также их философские основы.

Альтернатива Крейга и Мюллер

С одной стороны, альтернативные школы коммуникации показывают дальнейшее разветвление науки коммуникации в условиях умножения традиций и школ. С другой стороны, это можно оценивать как выделение новых коммукационных сфер. Некоторые из последних традиций указывают на изменения взгляда на проблемы коммуникации. Это можно сказать о постмодернистской традиции. Во-первых, в процессе формирования постмодернистских установок создается похожая тенденция и в науке коммуникации. Во-вторых, разделение коммуникационных сфер, их дрейф и слияние прекрасно иллюстрируют постмодернистские тенденции. Вообще этот плюрализм школ показывает как коммуникацию, так и не-коммуникацию между разными школами. Не-коммуникацию иллюстрирует не только несоизмеримость дискурсов, но и их изобилие. Более того, это изобилие дискурсов как раз и создает простор для коммуникации, которого нет в однородном и одномерном научном нарративе.

Биологическая школа апеллирует к таким случаям в природе, когда коммуникация животных является основой их социальности и тем самым их выживания. Хотя очевидно, что коммуникабельность и социальность неотделимы, возникает вопрос, что есть основа чего. Для членов общества обязательно общение, которое и поддерживает их общность. Однако коммуникация животных и людей различна. Речь идет не только о градусе сложности и многомерности, но и об иронии, осмеянии, сарказме – свойствах человеческой коммуникации, что не характерно для общения животных.

Прагматическая школа связана с установками прагматизма [4, 5]. Кстати, заряд прагматизма скрывается и в утверждении К. Маркса, что теории должны быть реализованы, т.е. они должны изменять жизнь. Должна ли коммуникация менять жизнь? Критерий эффективности ее в этом случае – применимость. Кажется, что коммуникация тут играет вспомогательную роль – передает идею. Однако как раз тут – в прагматическом поле – коммуникация становится чем-то большим при попытке реализовать идею, которая изменяется неузнаваемо во время коммуникации. Кроме того, реализация идеи совсем не означает, что это откроет путь к лучшей коммуникации. Напротив, примеры революций показывают, что насилие не только игнорирует саму идею, но и ограничивает коммуникацию, помещая ее в рамки идеологии. В каком-то смысле идеология является победой коммуникации над коммуникативным содержанием (идеей), которое становится неважным в симуляционном дискурсе. Итак, парадокс в том, что прагматизм, ориентируясь на эффективную коммуникацию, теряет свой критерий эффективности.

Крейг и Мюллер также упоминают феминистическую школу, которая рассматривает вопрос о различиях коммуникации в связи с полом.

Другие альтернативные школы

Нарративная коммуникация апеллирует к рассказам и их сюжетам, которыми оперируют не только индивиды, но и ими представляемые сообщества. Миф в этом смысле – ось коллективного рассказа, что неотделимо от передающей традиции. Мифологема в нарративной коммуникации – это то, на чем основана социальность. С другой стороны, миф в смысле Р. Барта [6], точнее, то, что передает его, является оператором коммуникации.

Исследователя медиа М. Маклюэна [7] можно считать основателем школы медиа. Медиа для Маклюэна – расширения человека, они должны облегчить и ускорить коммуникацию. Он обращает внимание на такие проблемы коммуникации, как рассеивание содержания медиа (содержание медиа – сами медиа) или сужение региона медиа (большой город в среде медиа – деревня). После появления Интернета и социальных сетей эти проблемы коммуникации еще больше обострились. Мало того, можно говорить о коллизии традиционных и новых медиа и об их коммуникационных последствиях.

Школа массовой коммуникации сосредоточивается на воздействии медиа (радио, телевидение, Интернет) на массы. С одной стороны, эта школа смотрит на массы как на пассивный контингент, поддающийся воздействию. С другой стороны, она неотделима от дискурса пропаганды, что предусматривает манипулирование массами. Несмотря на кое-какие «очевидные» исторические случаи, западные эмпирические исследования, проведенные во время Второй мировой войны и в послевоенные годы [8], показали, что воздействие медиа на так называемые массы очень ограничено и неоднородно. Здесь говорится даже об обратном воздействии или хотя бы о сопротивлении таким формам медиа, как реклама.

Хотя журналистская школа представлена в нашем обзоре вместе со школой передачи знаний, она не ограничивается транслированием знаний. Журналистика как бы обязуется передать знания, не искажая их. И все же она является чем-то большим. Если говорить о знаниях и их передаче, то кажется, что они особенно важны в обществе знаний. Однако стремление аккумулировать как можно больше знаний отражает механистический, или энциклопедический, подход Просвещения. Как индивиду, так и обществу важно не столько изобилие знаний, сколько их новые комбинации. Каждое новшество является неповторимым оригинальным результатом, сотворенным творческим работником со своеобразным воображением. Вот здесь начинается настоящая журналистика. Кроме того, принцип знаний все больше переплетается с принципом незнания: мы не знаем не только то, какое новшество появится, но и то, какая журналистская активность воздействует на общество. Итак, журналистская школа тем самым и уже, и шире, чем школа передачи знаний.

Идея не Западной школы может возникнуть только у тех теоретиков, которые достаточно хорошо знают Западную традицию. С одной стороны, она имитирует Западную традицию, пытаясь отследить «законы» и тенденции. С другой стороны, она стремится показать свое отличие по отношению к Западной. В каком-то смысле Западная традиция нуждается в не Западной, на фоне которой выделилась бы ее специфика. Но проблема в том, что нет такой традиции, как Западная. В действительности вместо этого мы имеем конгломерат дискурсов, что представляется единой традицией только очень далекому взгляду со стороны.

Политическая коммуникация, как свидетельствует ее название, ориентирована на распространение политического сообщения. В этом смысле она близка коммуникации сообщения. Она близка также и риторической традиции. Истоки политической риторики, неотделимой от демократии, таятся в греческом полисе. Этимология слова «политика» указывает на полисы – автономные единицы самоуправления с похожей культурой, языком и традициями (включая традицию демократического правления, хотя бывали и другие).

Можно говорить и о политике коммуникации. Последняя – как уже, так и шире, чем политическая коммуникация. Уже потому, что ориентирована на аспект публичной жизни (коммуникацию). Шире, потому что она примыкает к вопросам мета-коммуникации, так как ее взгляд на упомянутые автономные дискурсы является как бы взглядом со стороны.

Педагогическая коммуникация ориентирована на образование. Можно говорить об образовании как индивида, так и сообщества. На самом деле индивид образовывается в среде некоторого сообщества, а сообщество испытывается (образовывается) с помощью своих выдающихся индивидов. Тут сталкиваемся с коммуникацией между образователем и образовываемым – она далеко не односторонняя. Сообщество и индивид, образователь и образовываемый меняются ролями, а это и является аспектом коммуникации.

Визуальная коммуникация апеллирует к визуальному характеру современной культуры в целом и новых медиа в частности. Кстати, критика визуальной культуры переплетена с критикой маскулинной культуры. Все-таки как критицизм, так и способность вызвать критику являются аспектами коммуникации. Полная ясность и полное понимание – проявления некоммуникабельности. Знаки коммуникации – критика, скандал и неясность.

Творческая коммуникация возникает, если мы признаем такой социальный организм, как творческое общество, и его группу – творческий класс. Парадокс в том, что творческой коммуникации не способствует социальный капитал, который нивелирует, наказывая творческих выскочек. Вместо этого исследователи [9] говорят о творческом капитале – о том, что поощряет конкуренцию благодаря новым идеям и их реализации. При этом индивидуальное творчество – иллюзия романтизма: творческие импульсы возникают именно в социальной среде, в которой творческий работник развивает идеи, их реализует и дожидается ответа сообщества. Скажем, в творческих индустриях все больше места занимает коллективное творчество.

Основные идеи различных альтернативных коммуникативных школ высказаны в многочисленных публикациях ученых из разных стран (таблица).

Альтернативные школы коммуникации

Коммуникационная школа	Источники
Постмодернистская	[10]
Феминистическая (пола)	[11, 12]
Биологическая	[13]
Прагматическая	[14, 15]
Нарративная (мифа)	[6, 16]
Медиа	[7, 17–21]
Массовой коммуникации	[1, 22–26, 31]
Журналистская (знаний)	[28, 29]
Не Западная	[30]
Политическая	[3–35]
Педагогическая	[36]
Визуальной коммуникации	[37, 38]
Творческой коммуникации	[39–41]
Урбанистической коммуникации	[37, 42, 43]
Поэтическая	[44–47]
Деконструктивистская / деструктивная	[48, 49]
Герменевтическая / диалога	[50, 51]
Онтологическая / экзистенциальная	[49, 52]
Эстетическая	[61]
Бизнес-коммуникации	[54]

Истоки деконструктивистской школы надо связывать с деструкцией [49]. Деконструктивистская коммуникация сталкивается с противоречием – если все традиции надо деконструировать, как насчет самой деконструктивистской традиции? Истоки поэтической школы ведут к Аристотелю [55], для которого главный вопрос – каково воздействие на зрителя сообщения, передаваемого трагедией? Представители герменевтики – В. Дильтей [44], Г. Гадамер [45], М. Хейдеггер [46], П. Рикер [47] – обращали внимание на аспекты понимания поэтического языка. Но в случае поэтики герменевтика вывернута наизнанку: тут важно не то, как понимать, а как не понимать, т.е. как выйти из оболочки своего понимания. Поэтическая коммуникация свидетельствует о том, что смысловая, точнее поэтическая, единица языка неразделима.

Можно также упомянуть герменевтическую, онтологическую, экзистенциальную, эстетическую, урбанистическую школы, а также школу диалога и школу коммуникации бизнеса.

Выводы

Философы коммуникации поднимают вопрос, как классифицировать коммуникационные традиции и школы. Скажем, Фиске говорит о двух традициях, Крейг и Мюллер – о семи. Однако можно выделить и гораздо больше школ, включая феминистическую, постмодернистскую, прагматическую, биологическую, нарративную, массовой коммуникации, не Западную, педагогическую, политическую, визуальной коммуникации, творческой коммуникации, урбанистической коммуникации, поэтическую и др. С одной стороны, попытка классифицировать коммуникационные традиции и школы является метадискурсом (метакоммуникацией), доступным для философии. С другой стороны, не является ли это нарративом, несовместимым со современным плюралистическим подходом? Альтернативные школы как раз показывают разные подходы к коммуникации. С другой стороны, альтернативные школы говорят о ситуации несоизмеримости, которая все нарастает как в коммуникологии, так и в науке вообще.

Литература

1. *Peters J.D.* Speaking into the air: A history of the idea of communication. Chicago : University of Chicago Press, 1999.
2. *Fiske J.* Introduction to communication studies. Abingdon, Oxon : Routledge, 2010.
3. *Theorizing communication : Readings across traditions / R.T. Craig, H.L. Muller (eds.).* London : Sage, 2007.
4. *James W.* Pragmatism. Cambridge : Harvard University Press, 1975.
5. *Dewey J.* The public and its problems. Chicago : Swallow Press, 1927.
6. *Barthes R.* Mythologies / trans. by A. Lavers. London : Paladin, 1973.
7. *McLuhan M.* Understanding media: The extensions of man. New York : McGraw-Hill, 1964.
8. *Lazarsfeld P.F.* Qualitative analysis: Historical and critical Essays. Boston : Allyn and Bacon, 1972.
9. *Florida R.L.* The rise of the creative class: and how it's transforming work, leisure, community and everyday life. New York : Basic Books, 2002.
10. *Poster M.* The mode of information: Post-structuralism and social context. Chicago : University of Chicago Press, 1990.
11. *Kramarae C.* Feminist theories of communication // International encyclopedia of communications / E. Barnouw, G.G. Gerbner, W. Schramm, T.L. Worth, L. Gross (eds.). New York : Oxford University Press, 1989. Vol. 2. P. 157–160.

12. *Foss K.A., Foss S.K., Griffin C.L.* Feminist rhetorical theories. London : Sage, 1999.
13. *Matterlart A.* The invention of communication / trans. by S. Emanuel. Mineapolis : University of Minnesota Press, 1996.
14. *Dewey J.* The public and its problems. Chicago : Swallow Press, 1927.
15. *Craig R.T.* Pragmatism in the field of communication theory // *Communication Theory*. 2007. Vol. 17. P. 125–145.
16. *Ricœur P.* Time and Narrative. Chicago and London : The University of Chicago, 1984. Vol. 1.
17. *Park D.W., Pooley J.* The history of media and communication research: Contested memories. New York : Peter Lang, 2008.
18. *Manovich L.* The language of new media. Cambridge : MIT Press, 2001.
19. *Sederevičiūtė-Pačiauskienė Ž., Adomaitytė G., Žilinskaitė-Vytienė V., Navickienė V., Valantinaitė I.* Communication of creativeness in business media // *Creativity Studies*. 2018. Vol. 11 (1). P. 201–212.
20. *Pečiulis Ž.* The formation of the concept of television media: The phenomenon of direct broadcast // *Filosofija. Sociologija*. 2018. Vol. 29 (3). P. 195–202.
21. *Jurkevičienė J., Butkevičienė E.* Social capital in social media networks // *Filosofija. Sociologija*. 2018. Vol. 29 (3). P. 99–106.
22. *The uses of mass communication: Current perspectives on gratifications research / J.G. Blumler, E. Katz (eds.).* London : Sage, 1974.
23. *Baran S.J., Davis D.K.* Mass communication theory: Foundations, ferment, and future. Wadsworth : Cengage Learning, 2012.
24. *DeFleur M.L., Ball-Rokeach S.* Theories of mass communication. New York : David McKay, 1975.
25. *Klapper J.T.* Effects of mass communication. New York : Columbia University Bureau of Applied Social Research, 1960.
26. *Schramm W.* The process and effects of mass communication. Urbana : University of Illinois Press, 1954.
27. *Wright C.R.* Mass Communication: A Sociological Perspective. New York : Random House, 1959.
28. *Gans H.* Democracy and the news. New York : Oxford University Press, 2003.
29. *Hachten W.A.* The world news prism. Ames : Iowa State, 1992.
30. *Miike Y.* Non-Western theory in Western research? An Asiatic agenda for Asian communication studies // *Review of Communication*. 2006. Vol. 6 (1–2). P. 4–31.
31. *Innis H.A.* Empire and Communication. Lahman : Rowman and Littlefield, 2017.
32. *Kean J.* The media and democracy. Cambridge : Polity Press, 1991.
33. *McChesney R.* The problem of the media: U.S. communication politics in the 21st century. New York : Monthly Review Press, 2004.
34. *Vilčinskas V.* Social construction of nuclear risks: Analysis of institutional communicative discourse on Astravets Nuclear Power Plant. *Filosofija // Sociologija*. 2018. Vol. 29 (4). P. 285–297.
35. *Carpentier N., Doudaki V.* The construction of the homeless as a discursive-political struggle: A discursive-theoretical re-reading of the homeless subject position // *Filosofija. Sociologija*. 2019. Vol. 30 (1). P. 61–69.
36. *Miller N.E., Dollard J.* Social learning and imitation. New Haven : Yale University Press, 1941.
37. *Jász B.* Mental map of the city: elements of visual argumentation and creativity in modern city planning // *Creativity Studies*. 2018. Vol. 11 (2). P. 284–293.
38. *Inishev I.* Embedded creativity: structural interconnections between materiality, visibility, and agency in everyday perceptual settings // *Creativity Studies*. 2018. Vol. 11 (1). P. 70–84.
39. *Zolfani S.H., Maknoon R., Juzefovič A.* Leadership, music and creative society: A philosophical analysis of possible future // *Filosofija. Sociologija*. 2017. Vol. 28 (1). P. 20–28.
40. *Mickunas A.* Polycentric creative communication: The dispositive // *Creativity Studies*. 2018. Vol. 11 (2). P. 311–325.
41. *Nikiforova B.* Creativity and creative industries in Europe and beyond // *Creativity Studies*. 2017. Vol. 10 (1). P. 1–2.
42. *Dadashpoor H., Yousefi Z.* Centralization or decentralization? A review on the effects of information and communication technology on urban spatial structure // *Cities*. 2018. Vol. 78. P. 194–205.

43. Staniulytė E. Kūrybinis miestas: nuo teorinės koncepcijos prie praktinio įgyvendinimo [Creative city: From the theoretical conception to practical implementation] // *Filosofija. Sociologija*. 2017. Vol. 28 (1). P. 84–88.
44. Dilthey W. Poetry and experience / trans. by R.A. Makkreel, F. Rodi. Princeton : Princeton University Press, 1985.
45. Gadamer H.-G. „Kunst als Aussage“, in *Gesamelte Werke*. Tübingen : Mohr (Paul Siebeck), 1993. Bd. 8.
46. Heidegger M. Unterwegs zur Sprache // *Gesamtausgabe* 12. Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, 2018.
47. Ricœur P. La Métaphore vive. Paris : Le Seuil, 1997.
48. Derrida J. Of Grammatology / trans. by G. Ch. Spivak. Baltimore & London : Johns Hopkins University Press, 1997.
49. Heidegger M. Being and time / trans. by J. Stambaugh. New York : State University of New York, 1996.
50. Gadamer H.-G. Truth and method / trans. by W. Glen-Doepel. London : Sheed and Ward, 1989.
51. Buber M. Ich und Du. Stuttgart : Reclam, 2008.
52. Stasiulis N. Communicative creativity: From customary metaphysics to original ontology // *Creativity Studies*. 2018. Vol. 11 (2). P. 323–337.
53. Manta A. Demystifying creativity: an assemblage perspective towards artistic creativity // *Creativity Studies*. 2018. Vol. 11 (1). P. 85–101.
54. Smaliukienė R., Survilas A. Relationship between organizational communication and creativity: How it advances in rigid structures? // *Creativity Studies*. 2018. Vol. 11 (1). P. 230–243.
55. Aristotle. Poetics / trans. by M. Heath. London : Penguin, 1996.
56. Ricœur P. The Conflict of Interpretations: Essays in Hermeneutics / trans. by J.B. Thompson, K. Blamey. Evanston : Northwestern University Press, 1974.

Tomas Kacerauskas, Vilnius Gediminas Technical University (Vilnius, Lithuania).

E-mail: tomas.kacerauskas@vgtu.lt

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 49. pp. 92–100.

DOI: 10.17223/1998863X/49/10

ALTERNATIVE SCHOOLS OF COMMUNICATION: PHILOSOPHICAL ASPECTS

Keywords: philosophy of communication, metacommunication, schools of communication, incommensurable discourses, classification of communication schools.

The article analyses the schools of communication that are alternative with respect to the classification presented both by Fiske and Craig with Muller. The article not only describes alternative schools and traditions, but also raises philosophical questions about metacommunication: what the philosophical bases of one or another classification are; why different schools ignore each other; from what perspective we can talk about different schools. Feminist, postmodern, pragmatic, biological, narration communication, mass communication, non-Western, educational, political, visual communication, creative communication, urban communication, poetic and other schools (traditions) are analysed. The philosophical aspects of alternative schools are also discussed.

References

1. Peters, J.D. (1999) *Speaking into the air: A history of the idea of communication*. Chicago: University of Chicago Press.
2. Fiske, J. (2010). *Introduction to communication studies*. Abingdon, Oxon: Routledge.
3. Craig, R.T. & Muller, H.L. (eds) (2007) *Theorizing communication: Readings across traditions*. London: Sage.
4. James, W. (1975) *Pragmatism*. Cambridge: Harvard University Press.
5. Dewey, J. (1927) *The public and its problems*. Chicago: Swallow Press.
6. Barthes, R. (1973) *Mythologies*. Translated from French by A. Lavers. London: Paladin.
7. McLuhan, M. (1964) *Understanding media: The extensions of man*. New York: McGraw-Hill.
8. Lazarsfeld, P.F. (1972) *Qualitative Analysis: Historical and Critical Essays*. Boston: Allyn and Bacon.

9. Florida, R.L. (2002) *The rise of the creative class: and how it's transforming work, leisure, community and everyday life*. New York: Basic Books.
10. Poster, M. (1990) *The Mode of Information: Post-Structuralism and Social Context*. Chicago: University of Chicago Press.
11. Kramarae, C. (1989) Feminist theories of communication. In: Barnouw, E., Gerbner, G., Schramm, W., Worth, T.L. & Gross, L. (eds) *International Encyclopedia of Communications*. Vol. 2. New York: Oxford University Press. pp. 157–160.
12. Foss, K.A., Foss, S.K. & Griffin, C.L. (1999) *Feminist Rhetorical Theories*. London: Sage.
13. Matterlart, A. (1996) *The Invention of Communication*. Translated by S. Emanuel. Minneapolis: University of Minnesota Press.
14. Dewey, J. (1927) *The Public and Its Problems*. Chicago: Swallow Press.
15. Craig, R.T. (2007) Pragmatism in the field of communication theory. *Communication Theory*. 17. pp. 125–145. DOI: 10.1111/j.1468-2885.2007.00292.x
16. Ricœur, P. (1984) *Time and Narrative*. Vol. 1. Chicago and London: The University of Chicago.
17. Park, D.W. & Pooley, J. (2008) *The History of Media and Communication Research: Contested Memories*. New York: Peter Lang.
18. Manovich, L. (2001) *The Language of New Media*. Cambridge: MIT Press.
19. Sederevičiūtė-Pačiauskienė, Ž., Adomaitytė, G., Žilinskaitė-Vytienė, V., Navickienė, V. & Valantinaitė, I. (2018) Communication of creativeness in business media. *Creativity Studies*. 11(1). pp. 201–212. DOI: 10.3846/cs.2018.3450
20. Pečiulis, Ž. (2018). The formation of the concept of television media: The phenomenon of direct broadcast. *Filosofija. Sociologija – Philosophy. Sociology*. 29(3). pp. 195–202. DOI: 10.6001/fil-soc.v29i3.3776
21. Jurkevičienė, J. & Butkevičienė, E. (2018) Social capital in social media networks. *Filosofija. Sociologija – Philosophy. Sociology*. 29(3). pp. 99–106. DOI: 10.1177/0038038508091622
22. Blumler, J. G. & Katz, E. (eds) (1974). *The Uses of Mass Communication: Current Perspectives on Gratifications Research*. London: Sage.
23. Baran, S.J. & Davis, D.K. (2012) *Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future*. Wadsworth: Cengage Learning.
24. DeFleur, M. L. & Ball-Rokeach, S. (1975) *Theories of Mass Communication*. New York: David McKay.
25. Klapper, J.T. (1960) *Effects of Mass Communication*. New York: Columbia University Bureau of Applied Social Research.
26. Schramm, W. (1954) *The Process and Effects of Mass Communication*. Urbana: University of Illinois Press.
27. Wright, C.R. (1959) *Mass Communication: A Sociological Perspective*. New York: Random House.
28. Gans, H. (2003) *Democracy and the News*. New York: Oxford University Press.
29. Hachten, W.A. (1992) *The World News Prism*. Ames: Iowa State.
30. Miike, Y. (2006) Non-Western theory in Western research? An Asiatic agenda for Asian communication studies. *Review of Communication*. 6(1–2). pp. 4–31. DOI: 10.1080/15358590600763243
31. Innis, H.A. (2017) *Empire and Communication*. Lahman: Rowman and Littlefield.
32. Kean, J. (1991) *The Media and Democracy*. Cambridge: Polity Press.
33. McChesney, R. (2004) *The Problem of the Media: U.S. Communication Politics in the 21st Century*. New York: Monthly Review Press.
34. Vilčinskis, V. (2018) Social construction of nuclear risks: Analysis of institutional communicative discourse on Astravets Nuclear Power Plant. *Filosofija. Sociologija – Philosophy. Sociology*. 29(4). pp. 285–297. DOI: 10.6001/fil-soc.v29i4.3855
35. Carpentier, N. & Doudaki, V. (2019) The construction of the homeless as a discursive-political struggle: A discursive-theoretical re-reading of the homeless subject position. *Filosofija. Sociologija – Philosophy. Sociology*. 30(1). pp. 61–69. DOI: 10.6001/fil-soc.v30i1.3918
36. Miller, N.E. & Dollard, J. (1941) *Social Learning and Imitation*. New Haven: Yale University Press.
37. Jász, B. (2018) Mental map of the city: elements of visual argumentation and creativity in modern city planning. *Creativity Studies*. 11(2). pp. 284–293. DOI: 10.3846/cs.2018.6901
38. Inishev, I. (2018) Embedded creativity: structural interconnections between materiality, visibility, and agency in everyday perceptual settings. *Creativity Studies*. 11(1). pp. 70–84. DOI: 10.3846/cs.2018.541

39. Zolfani, S.H., Maknoon, R. & Juzefovič, A. (2017) Leadership, music and creative society: A philosophical analysis of possible future. *Filosofija. Sociologija – Philosophy. Sociology*. 28(1). pp. 20–28.
40. Mickunas, A. (2018) Polycentric creative communication: The dispositive. *Creativity Studies*. 11(2). pp. 311–325. DOI: 10.3846/cs.2018.6594
41. Nikiforova, B. (2017) Creativity and creative industries in Europe and beyond. *Creativity Studies*. 10(1). pp. 1–2. DOI: 10.3846/23450479.2017.1336842
42. Dadashpoor, H. & Yousefi, Z. (2018) Centralization or decentralization? A review on the effects of information and communication technology on urban spatial structure. *Cities*. 78. pp. 194–205. DOI: 10.1016/j.cities.2018.02.013
43. Staniulytė, E. (2017) Kūrybinis miestas: nuo teorinės koncepcijos prie praktinio įgyvendinimo [Creative city: From the theoretical conception to practical implementation]. *Filosofija. Sociologija – Philosophy. Sociology*. 28(1). pp. 84–88.
44. Dilthey, W. (1985) *Poetry and Experience*. Princeton: Princeton University Press.
45. Gadamer, H.-G. (1993) *Gesamelte Werke*. Vol. 8. Tübingen: Mohr (Paul Siebeck).
46. Heidegger, M. (2018) *Gesamtausgabe 12*. Frankfurt on Main: Vittorio Klostermann.
47. Ricœur, P. (1997) *La Métaphore vive*. Paris: Le Seuil.
48. Derrida, J. (1997) *Of Grammatology*. Translated from French by G.Ch. Spivak. Baltimore & London: Johns Hopkins University Press.
49. Heidegger, M. (1996) *Being and Time*. Translated from German by J. Stambough. New York: State University of New York.
50. Gadamer, H.-G. (1989) *Truth and Method*. Translated from German by W. Glen-Doepel. London: Sheed and Ward.
51. Buber, M. (2008) *Ich und Du*. Stuttgart: Reclam.
52. Stasiulis, N. (2018) Communicative creativity: From customary metaphysics to original ontology. *Creativity Studies*. 11(2). pp. 323–337. DOI: 10.3846/cs.2018.3671
53. Manta, A. (2018) Demystifying creativity: an assemblage perspective towards artistic creativity. *Creativity Studies*. 11(1). pp. 85–101. DOI: 10.3846/cs.2018.542
54. Smaliukienė, R. & Survilas, A. (2018) Relationship between organizational communication and creativity: How it advances in rigid structures? *Creativity Studies*. 11(1). pp. 230–243. DOI: 10.1177/0149206314527128
55. Aristotle. (1996) *Poetics*. Translated from Ancient Greek by M. Heath. London: Penguin.
56. Ricœur, P. (1974) *The Conflict of Interpretations: Essays in Hermeneutics*. Translated from French by J.B. Thompson, K. Blamey. Evanston: Northwestern University Press.

СОЦИОЛОГИЯ

УДК 316.34

DOI: 10.17223/1998863X/49/11

Т.В. Гаврилюк

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ МОЛОДЕЖИ НОВОГО РАБОЧЕГО КЛАССА: РЕАЛЬНОСТЬ И НОРМАТИВНЫЕ ПАТТЕРНЫ¹

В исследовании комбинируются анализ жизненного пути как структурно организованной целостности и феноменологическая перспектива в изучении жизненных стратегий молодежи нового рабочего класса современной России. На основании анализа данных биографического интервью и массового опроса изучены способы воплощения классовых нормативных паттернов, их соответствие индивидуальным жизненным стратегиям, механизмы конструирования и легитимации.

Ключевые слова: рабочий класс, рабочая молодежь, жизненный путь, жизненные стратегии.

Введение

Масштабные изменения глобального капиталистического порядка в конце XX в. породили новые формы классового угнетения и эксплуатации в мировом масштабе [1, 2]. В постсоветской России перестройка секторов экономики, идеологически базировавшаяся на специфической форме неолиберализма, завершилась насильственной деиндустриализацией, стремительным ростом precarious труда и распространением теневых экономических практик [3. С. 22]. Глобальные исследовательские центры фиксируют рост социального неравенства в России в последние несколько лет [4. С. 159]. В текущих социально-экономических условиях наиболее уязвимой группой является молодежь рабочего класса, в том числе и работники сервисного сектора, в постиндустриальную эпоху конвенционально относимые в научном дискурсе к рабочему классу [5. С. 198; 6. С. 433].

Данная статья посвящена выявлению доминирующих нормативных паттернов, структурирующих жизненный путь молодежи нового рабочего класса на эмпирическом примере Уральского федерального округа России. Апробируя возможности пересечения двух теоретических полей англоязычного дискурса социальных наук – исследований нового рабочего класса (new working-class studies) и исследований жизненного пути (life course studies), мы концентрируемся на применении классовых нормативных паттернов и их соотносительности с индивидуальной жизненной стратегией молодых рабочих.

¹ Статья выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда № 17-78-20062 «Жизненные стратегии молодежи нового рабочего класса современной России».

Обзор литературы

Новая перспектива в исследовании проблематики социального неравенства появилась в Великобритании и США, когда в конце 1990-х гг. на пересечении академической традиции и социально-политического активизма возникло междисциплинарное поле *new working class studies* как дискуссионная площадка, нацеленная на решение практических социальных проблем [7]. Участники исследовательского поля ставили перед собой задачу расширения границ теоретического понимания класса, включив в него проблемы идентичности и жизненного стиля рабочих в изменившемся культурном ландшафте, при этом не отвергая идеи материального базиса классовых структур. Авторы анализировали такие вопросы, как последствия неолиберализма для рабочего класса [8], негативные медиарепрезентации данной социальной группы как форма контроля и закрепления существующей структуры социального неравенства [9], культурный и социальный капитал как основополагающий фактор классовой дифференциации [10] и др.

Из отечественного социологического дискурса термин «рабочий класс» исчез в постсоветский период ввиду его ассоциации исключительно с марксизмом-ленинизмом, который был отвергнут научным сообществом. Теоретический поиск российской социологии конца 1990-х – начала 2000-х гг. завершился описанием социальной дифференциации в терминах структурного функционализма и до сих пор остается в этих концептуальных рамках. В отечественной традиции было принято противопоставлять стратификационный и классовый подходы, причем последний ассоциировался исключительно с марксизмом, в то время как в западной социологии «классы» исторически являлись частью дискурса о стратификации в его различных концептуальных вариантах. Сегодня конвенциональный подход российской социологии трактует «средний класс» как страту, а «рабочий класс», представляющий собой большинство населения, остается без имени или заменяется эвфемизмами (например, «базовый слой» в работах Т.И. Заславской) [11]. Рабочие как социальная группа, а не как класс, периодически становятся объектом эмпирических исследований, однако внимание традиционно сосредоточено лишь на работниках промышленного производства [12]. Следовательно, классовый анализ остается неактуализированным подходом в современной российской социологии, не определены критерии, которые могли бы отделить рабочий класс от других социальных групп.

Концептуализация понятия «новый рабочий класс»

Анализ современного исследовательского поля позволил определить критерии для отделения нового рабочего класса (НРК) от других классов и стратификационных групп: отношение к собственности, участие в управлении на конкретном предприятии, характер и содержание труда. Базируясь на данных основаниях, под *новым рабочим классом современной России мы понимаем группу наемных работников, занятых во всех сферах материального производства и сервиса, труд которых рутинизирован, разделен на стандартизированные сегменты, поддается алгоритмизации и количественному нормированию результатов; не участвующих в управлении и не имеющих прав собственности в организации, в которой они трудятся*. Новый рабочий

класс не является гомогенным образованием, его внутренняя дифференциация связана с влиянием таких факторов, как форма найма, сфера занятости, уровень доходов, степень рутинизации труда, стиль жизни и культурный капитал. Традиционный промышленный рабочий класс при этом представляет собой лишь одну из подгрупп внутри нового рабочего класса и более не способен формировать смысловые основания коллективной идентичности в условиях глобального доминирования неолиберальной идеологии и постиндустриализма.

Методы и задачи исследования

Сбор данных и выборочная совокупность. Эмпирическим фундаментом исследования являются данные массового опроса и глубинного биографического интервью. Сбор количественных данных осуществлялся с апреля по июль 2018 г. в Уральском федеральном округе (далее – УрФО), включая три крупных города (Екатеринбург, Тюмень, Курган) и типичные сельские поселения в этой местности. В качестве объекта массового опроса выбрана молодежь нового рабочего класса в возрасте от 15 до 29 лет, проживающая на территории УрФО. Участниками исследования выступили 1 534 респондента, использована целевая многоступенчатая выборка по четырем объективным критериям: возраст (около 500 человек в каждой из возрастных групп, соответствующих периодизации когорт в официальной статистике РФ: 15–19 (33%), 20–24 (33,4%) и 25–29 (33,6%) лет; пол – мужской (50,3%) и женский (49,7%); место жительства – город (76,2%) и сельская местность (23,8%) в соответствии с распределением населения в УрФО; сфера занятости – промышленность и техническое обслуживание (45,2%) и клиентский сервис (54,8%). Обработка результатов исследования осуществлялась в статистическом пакете IBM SPSS Statistics Version 20.

Качественное исследование проводилось с февраля по август 2018 г. в Тюмени. Для обеспечения доверия между интервьюером и информантом в процессе беседы отбор участников производился методом снежного кома, начиная с ближайшего окружения членов научного коллектива. Все участники на момент интервью были заняты на профессиональных позициях рабочего класса, при этом не являясь студентами вузов очной формы обучения. Выборочная совокупность составила 31 информанта: 14 из них являлись представителями «традиционного» рабочего класса, занятыми в сфере промышленности, добычи полезных ископаемых, строительства и технического обслуживания; 17 участников выполняли обязанности на должностных позициях в сфере ритейла и других видов клиентского сервиса. Каждое интервью длилось от 40 минут до 2,5 часов, все сессии базировались на детализированном гайде интервью, записаны на диктофон и транскрибированы дословно.

Дизайн исследования и анализ. Исследование опирается на стратегию микс-методов, где количественные данные позволяют выделить наиболее общие тренды, а также структурные барьеры и ограничения, характеризующие жизненный путь молодого представителя нового рабочего класса, а качественные данные открывают герменевтическую перспективу в исследовании ценностей, нормативных паттернов и жизненных стратегий, способы их легитимации и специфические формы применения молодежью НРК. Таким образом, на первой стадии работы для выявления общих тенденций были ис-

пользованы основные виды статистического анализа данных количественного исследования (частотный анализ и анализ таблиц сопряженности). На втором этапе был осуществлен анализ массива данных биографического интервью с помощью совокупности приемов: секвенциональное деление текстового массива; кодирование секвенций в целях поиска закономерностей и типики в высказываниях информантов; конденсация смысла высказываний, цитирование наиболее репрезентативных из них; рефлексивный анализ с опорой на категориальное поле феноменологии.

Задачи исследования. Для раскрытия ключевых исследовательских вопросов были рассмотрены базовые траектории жизненного пути (образовательная, семейная и карьерная) и изучены следующие аспекты:

- нормативные темпоральные ограничения и предпочитаемая последовательность основных жизненных событий (завершение образования, трудоустройство на полный рабочий день, первое карьерное продвижение, вступление в брак, рождение первого ребенка);
- корреляция между реальной и желаемой темпоральностью и последовательностью ролевых переходов;
- сохранение традиционных классовых нормативных паттернов жизненного пути или их замещение другими паттернами и ценностями в период взросления.

Траектории жизненного пути российской молодежи нового рабочего класса

Мы рассматриваем жизненный путь в конвенциональном смысле как упорядоченную во времени последовательность событий и ролевых переходов в течение жизни [13. С. 56]. События, которые информанты биографического интервью описывали в качестве поворотных моментов жизненного пути, мы трактуем как базовые ролевые переходы, определяющие процесс взросления. Респондентам массового опроса было предложено ответить на вопрос: «В каком возрасте, по вашему мнению, лучше всего...?»

Таблица 1. Нормативные темпоральные установки молодежи НРК относительно перехода во взрослую жизнь, % от количества опрошенных

«В каком возрасте, по вашему мнению, лучше всего...?»	до 18 лет	18–24 года	25–29 лет	30–34 года	после 35 лет	Не обязательно в жизни	Всего
Получить профессиональное образование	19,4	73,4	4,4	0,2	0,1	2,5	100
Жениться	0,6	36,1	51,6	5,1	1,2	5,3	100
Завести первого ребенка	0,4	23,9	57,4	12,0	0,9	5,4	100
Начать работать	29,4	57,1	11,5	1,3	0,2	0,4	100
Получить первое продвижение по службе	1,2	35,9	46,2	10,3	0,8	5,6	100
Стать руководителем	0,7	7,4	30,6	36,9	11,9	12,4	100

Как показывает табл. 1, традиционные маркеры успешного перехода во взрослую жизнь сохраняют свою значимость для рабочей молодежи, как и традиционные возрастные рамки ролевых переходов, предписывающие завершение процесса взросления в 30 лет. Данные демонстрируют распространенную в российском обществе нормативную ориентацию на создание семьи в период с 20 до 30 лет, раннее начало трудовой деятельности и быстрое

карьерное продвижение, однако последовательность указанных событий специфична для представителей рассматриваемого социального класса: 29,4% опрошенных выразили готовность начать работать в возрасте до 18 лет, абсолютное большинство уверено в необходимости комбинирования учебы и работы. Корреляция личных планов и нормативных темпоральных паттернов была выявлена в ходе дальнейшего анализа.

Что касается образовательных траекторий молодежи нового рабочего класса, табл. 2 отражает соответствие нормативных ожиданий и реального образовательного уровня респондентов: 92,8% опрошенных уверены, что они должны получить профессиональное образование в возрасте до 24 лет, что соответствует реальности – 83,1% молодежи в возрастной когорте от 20 до 24 лет получают образование или уже завершили этот процесс.

Таблица 2. Образовательный уровень молодежи нового рабочего класса, % от возрастной группы

Уровень образования	15–19 лет	20–24 года	25–29 лет
Неполное среднее образование	20,3	4,7	1,9
Среднее образование	21,7	12,2	7,4
Начальное профессиональное образование	10,4	7,5	10,1
Среднее профессиональное образование	24,3	43,9	53,8
Незаконченное высшее образование	22,1	20,9	9,9
Высшее образование	1,2	10,8	16,9
Всего:	100	100	100

В то же время легитимация необходимости получения образования и отношение к нему варьируют в разных возрастных когортах: значимость высшего образования снижается в старшей группе, оценка среднего профессионального образования остается неизменной, а надежда на удачу и счастливую случайность как катализатор жизненного успеха возрастает (рис. 1). Намерение продолжать профессиональное образование выразили 50% респондентов.

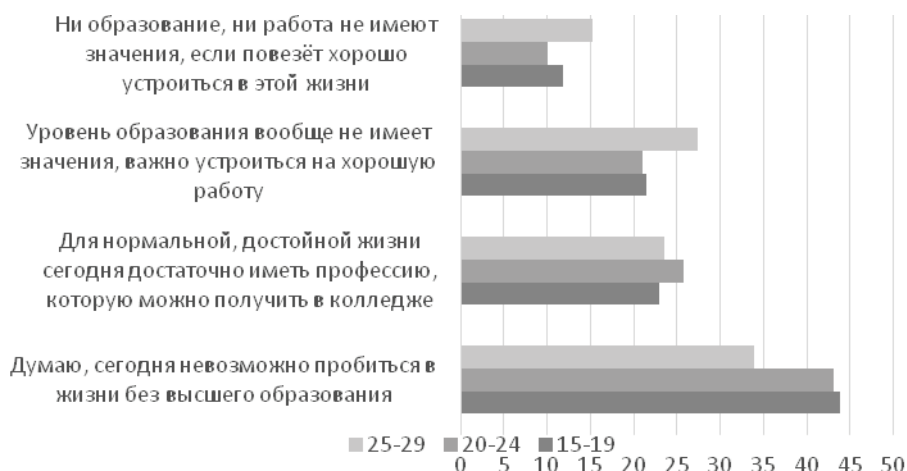


Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, какой уровень образования необходим сегодня, чтобы достичь успеха в жизни?» (в % от возрастной группы)

Среди выборочной совокупности интервьюируемых только сервисные работники имели высшее образование или получали его в данный момент, но никто из них не работал по специальности. Большинство выбрали специальность обучения спонтанно, под влиянием обстоятельств или под давлением родительского авторитета:

Алёна, 24, администратор магазина одежды: *«В первую очередь это все-таки желание не разочаровать родителей... просто хотелось получить хороший балл, поступить на бюджет и чтобы все от меня отстали»* (степень бакалавра, зоотехник).

Алина, 25, администратор салона красоты: *«А потому что там (в г. Пыть-Ях, север Тюменской области. – прим. авт.) только оно есть. Большие ничего не было»* (степень бакалавра, экономика).

Большинство информантов не рассматривают свой опыт пребывания в учреждениях высшего профессионального образования как полезный, признавая лишь его формальное значение для получения работы и будущего карьерного продвижения:

Сергей, 22, менеджер по работе с клиентами: *«У нас в стране ничего не добьешься, если у тебя нет высшего образования, любого – не важно какого... можно и без образования, многие люди добиваются успехов, но если ты без образования, то тебе нужно иметь какие-то связи»* (получает высшее образование в сфере физической культуры).

Анастасия, 21, продавец-консультант в магазине одежды: *«Главное, чтобы человек был умный, и даже и без образования человек может открыть какую-нибудь свою компанию, фирму, организацию»* (получает высшее образование в сфере социокультурной деятельности).

В отличие от работников сервиса, никто из опрошенных нами молодых представителей традиционного рабочего класса, занятых в сфере промышленности, строительства и добычи полезных ископаемых, не имел высшего образования на момент проведения интервью. Начальное и среднее профессиональное образование оценивалось ими как более полезное и значимое в сравнении с высшим образованием. Было выявлено два основных паттерна легитимации данного отношения: опыт значимых других (родители и друзья) и системные ограничения (прежде всего корпоративные требования):

Илья, 29, слесарь КИПиА: *«В институт не планирую поступать, и так все устраивает. Да и не вижу смысла. Пацаны закончили институты – работают так же, как я. Сейчас образование вообще нафиг, техникума вполне достаточно»* (СПО по специальности, бросил университет).

Евгений, 28, электрик: *«В универ было глупо даже мечтать идти... Да и денег не было. У меня родители без высшего образования нормально прожили, и я смогу»*. Об образовательных намерениях: *«Нафига это надо? Я посижу – разберусь быстрее, так только время терять. Куда мне очередная булавка?... Я руками работать умею. Это видно, и это ценят»* (НПО по специальности).

Следующим исследовательским вопросом выступило соответствие семейных нормативных паттернов и реального демографического поведения молодежи нового рабочего класса. Одной из наиболее интересных тенденций является различие между намерениями в семейной сфере и реальным семейным статусом респондентов.

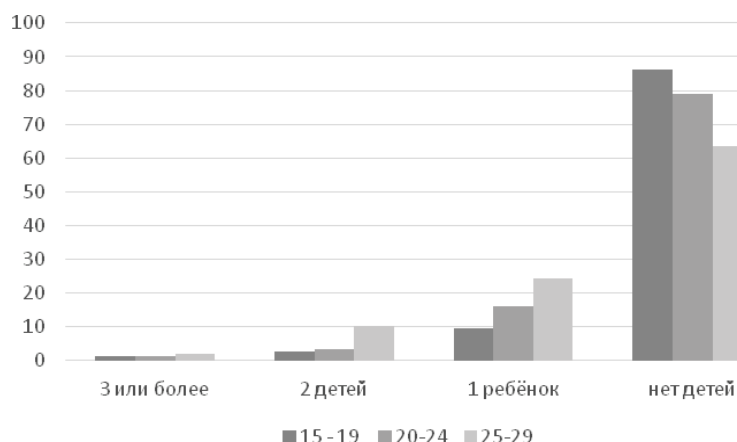


Рис. 3. Количество детей в семьях молодежи нового рабочего класса (в % от возрастной группы)

Как показывает рис. 3, 80,6% рабочей молодежи убеждены, что лучше обзавестись первым ребенком в возрасте до 30 лет, однако в реальности 63,5% представителей старшей и 79,1% средней возрастной когорты не имеют детей. Различий в репродуктивном поведении между промышленной и сервисной частью рабочей молодежи установлено не было.

Исходя из интервью, семья остается основополагающей ценностью для опрошенных молодых людей. Большинство информантов, не состоящих в браке, высказывают намерение создать семью в ближайшие несколько лет. Для юношей как промышленного, так и сервисного сектора ключевым остается традиционный паттерн мужчины-добытчика, обычно они в большей степени связывают создание семьи и рождение детей с влиянием внешних факторов, таких как социальная нормативность, стабильная работа и достаточный доход, нежели с внутренней готовностью или эмоциональными состояниями:

Николай, 29, автомеханик: «Уже мне пора – через два дня тридцать лет исполнится. Можно и раньше – у кого как получается, здесь сроки устанавливать какие-то не нужно, стандарты... Я планирую оформить отношения и ребенка родить в ближайший год».

Виталий, 22, охранник: «О семье я еще не задумывался и не буду задумываться до тех пор, пока сам не встану на ноги крепко... Тут надо подумать, сможешь ли ты обеспечить ребенка, чтобы не было такого, что батя спился, мать пропала, а ребенок в детдоме. Надо знать, что ты сможешь это вывезти финансово, физически. Я не могу, например, это сделать. В моей ситуации если я уделю время семье – я потерял деньги. Как-то так».

Следовательно, высказывание одного из первых исследователей маскулинности рабочего класса А. Толсона, относящееся к концу 1970-х гг., не потеряло актуальности и по-прежнему отражается в коллективных установках рабочей молодежи: «В нашем обществе основной критерий мужественности – это зарплата» [14. С. 58].

Почти все информанты-девушки демонстрируют намерение выйти замуж и родить ребенка, их высказывания на эту тему обладают характером само собой разумеющегося знания, не подвергающегося сомнению и не нуж-

дающегося в легитимации в рамках их жизненного мира. Лишь в одном интервью присутствует отсылка к текущему финансовому и социальному статусу, а также выражены профессиональные и карьерные намерения, остальные интервьюированные девушки уже были замужем или выражали общие стремления стандартными фразами: «как все, я однажды выйду замуж и заведу детей». В сравнении с информантами мужского пола матримониальные планы женщин выражены менее четко, в общих формулировках, что может интерпретироваться как убеждение в отсутствии возможности влиять на данный процесс или контролировать его в условиях патриархального социального порядка, где брачное предложение традиционно исходит от мужчины.

Вышеописанные тенденции могут также найти объяснение не только в восприятии информантами необходимых для создания семьи условий, но и структурными факторами, связанными с качеством их жизни. Как демонстрирует рис. 4, уровень дохода опрошенной молодежи нового рабочего класса низкий, кроме того, женщины гораздо чаще заняты на низкооплачиваемых рабочих должностях, чем мужчины. Более половины респондентов имеют доход на уровне, достаточном лишь для выживания и не позволяющим делать даже незначительные накопления.

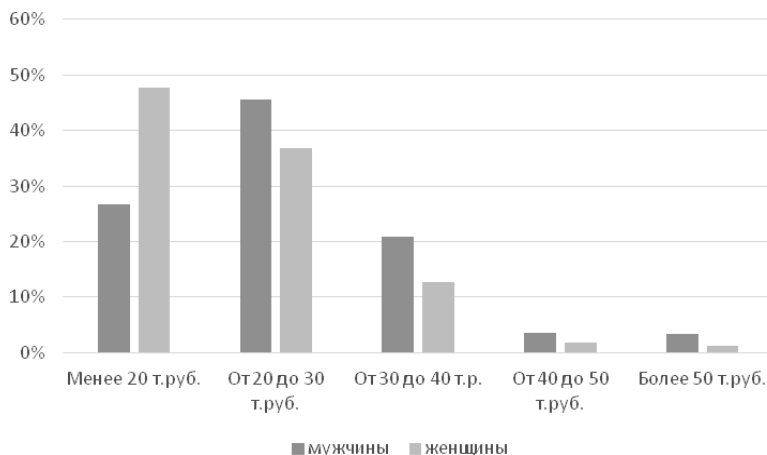


Рис. 4. Уровень доходов молодежи нового рабочего класса (в % от гендерной группы)

Представления о материальном благополучии и тренды экономического поведения, характерные для молодежи среднего класса крупных городов, не находят поддержки у провинциальной молодежи рабочего класса: 75,3% опрошенных разделяют убеждение о том, что взрослая жизнь начинается с владения недвижимостью, еще 11,3% полагают, что собственная квартира нужна только при наличии семьи. Только 7,7% респондентов готовы жить в арендованной квартире, 5,6% рассматривают возможность проживания с родителями в будущем. При этом 36,1% опрошенной молодежи имеют кредиты, и примерно треть из них не справляется с кредитной нагрузкой. В интервью молодые люди также выражают готовность к воплощению своих планов о собственной квартире, но лишь немногие могут позволить себе ипотеку (среди нашего массива это были работники автомобильной и нефтегазовой отрасли) со средней российской ставкой по ипотеке в 9,8% [15].

Путь к успешной взрослой жизни: оценка индивидуальных и структурных факторов

Для понимания различий нормативных ориентаций и паттернов достижения жизненного успеха между российской молодежью рабочего и среднего классов мы сравнили текущую выборочную совокупность и результаты нашего предыдущего исследования студентов высших учебных заведений, проведенного в 2016 г. [16] (рис. 5). Объяснимо, что студенты в большей степени склонны выбирать постоянное самообразование и настойчивость в достижении целей как ключевые факторы успеха по сравнению с рабочей молодежью. Однако доверие к институциональному образованию скорее низкое в обеих группах, так же как и надежда на получение диплома престижного вуза, который недоступен для большинства провинциальной молодежи. В целом можно выделить тенденцию у студентов возлагать больше надежд на саморазвитие (57,4%), совершенствование талантов (16,8%) и использование особых личностных качеств (22,1%), в то время как молодежь рабочего класса подчеркивает необходимость знакомств с «правильными» людьми или наличие родственников, способных ускорить карьерное продвижение (23%). Интересно, что лишь часть опрошенных студентов (13,9%) рассматривают удачный брак как определяющий фактор жизненного успеха, в то время как среди их сверстников из рабочей среды такой сценарий рассматривают лишь 6,2%.

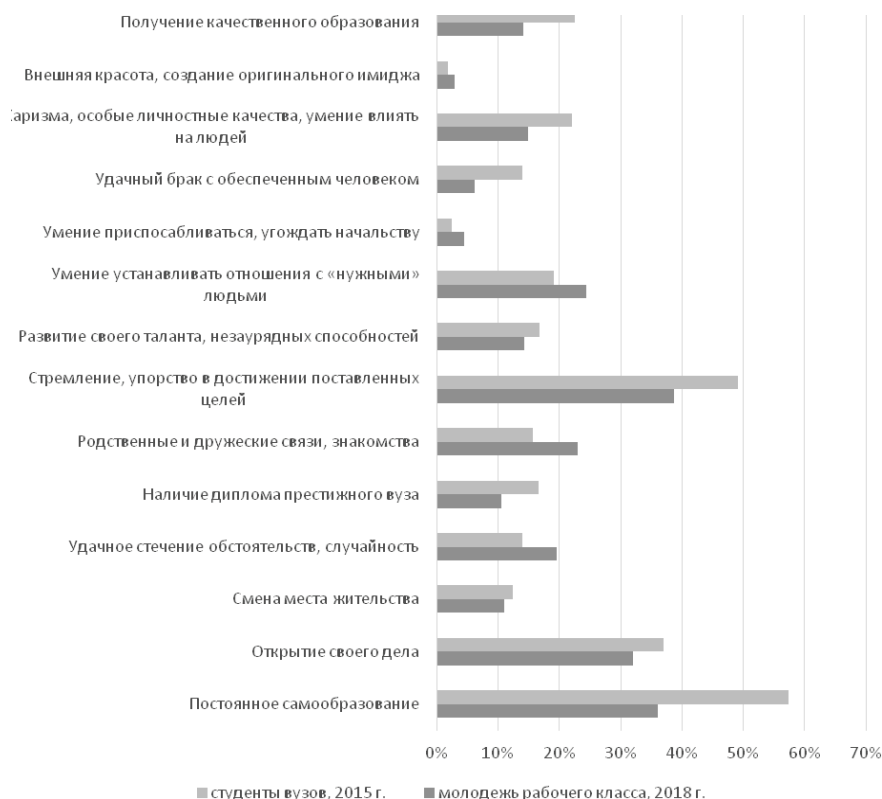


Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Каким Вы видите для себя наиболее оптимальный путь достижения жизненного успеха в будущем (укажите не более трех вариантов)?» (в % от количества опрошенных в каждой группе)

В то же время мы можем прийти к заключению, что горизонт ожиданий у рабочей молодежи менее определен, они более склонны к вере в случайность, удачное стечение обстоятельств (19,5%)

Данные интервью подтверждают вышеописанные тренды, 8 из 17 опрошенных сервисных работников и 8 из 15 информантов, занятых в сфере промышленности, нашли работу или ожидают карьерного продвижения в будущем с помощью родственников, друзей или «правильных» знакомых:

Антон, 26, рабочий сцены: *«Ну естественно, живем в России-матушке, поэтому сарафанное радио, знакомые знакомых, знакомые родителей, знакомые друзей – никто не отменял...»*

Дамир, 23, продавец в магазине бытовой техники, описывает свой первый опыт работы электриком: *«Меня взял к себе мой друг, с которым я учился в школе, в свою очередь, моего друга взял на работу к себе дядя, который имеет свой бизнес».*

Вторым по популярности способом поиска работы среди информантов является, безусловно, использование специализированных ресурсов Интернета.

Рассуждая о будущем, информанты обычно демонстрируют очень короткий горизонт ожиданий, связанный с индивидуальными целями, но при этом не обладают стратегией их достижения. Большинство из них отсылает к нестабильности и непрогнозируемости будущего, что, по их мнению, делает любые попытки рационального планирования бессмысленными:

Егор, 29, менеджер по лизингу: *«В современном мире планировать дальше, чем на пару дней или недель, – дело неблагодарное, ты должен быть таким супер-мозгом, чтобы просчитать все возможные варианты развития событий. Для меня главные задачи – это выплатить ипотеку, отблагодарить всех друзей за помощь и обзавестись потомством».*

Большая часть молодежи нового рабочего класса не пытается просчитать возможности и ограничения их социального окружения, полагаясь на спонтанные жизненные перемены. Распространенные мотивы, легитимирующие возможность «плыть по течению», – страх разочарования или отсутствие амбиций:

Алёна, 24, администратор в магазине одежды: *«...когда ты течешь по течению... ты потом легче воспринимаешь какие-то, не знаю, удары судьбы, ну, проще ко всему относиться, нежели когда ты планируешь, потом ты разочаровываешься, тебе плохо от этого».*

Евгений, 28, электрик: *«Вообще не люблю планы. Сначала думал, может, в институт какой пойду. А потом – да не. Я не особо грамотный. Да и только план построишь – бац, и какая-то х*** творится. Бесит. Хотел только машину купить. Был такой план».*

Антон, 26, рабочий сцены, рассказывает о своих планах на момент окончания средней школы: *«Я планировал свое будущее примерно на уровне того, чтобы не спиться и не бомжевать под мостом...».*

Кроме того, большинство информантов демонстрируют низкий уровень гражданского участия, разделяя распространенное убеждение о том, что их голос не будет услышан в нашем обществе, где все важные вопросы решаются «сверху», без принятия в расчет позиций разных групп гражданского общества.

Выводы

Исследование доминирующих нормативных паттернов молодежи нового рабочего класса показало сохраняющуюся значимость традиционных структур жизненного пути и способов их темпоральной организации. Данные демонстрируют распространенную в российском обществе нормативную ориентацию на создание семьи в период с 20 до 30 лет, раннее начало трудовой деятельности, совмещаемое с получением профессионального образования, и быстрое карьерное продвижение. Вместе с тем текущие социальные условия (уровень заработной платы, ипотечная ставка, доступность и качество высшего образования, взаимосвязь между образованием и требованиями рынка труда и т.д.) не позволяют исследуемой группе реализовывать указанные стратегии в полной мере. Сравнение оценок жизненных перспектив рабочей и студенческой молодежью позволило обнаружить, что представители рабочего класса чаще всего ограничены близким горизонтом ожиданий, связанных с индивидуальными намерениями, при этом не обладая стратегией достижения долгосрочных целей. Ссылаясь на нестабильность и непрогнозируемость будущего, они считают любые попытки рационального планирования бессмысленными. Большая часть молодежи нового рабочего класса не пытается просчитать возможности и ограничения их социального окружения, полагаясь на спонтанные жизненные перемены и веру в удачное стечение обстоятельств. Данная точка зрения распространяется и на трудовые стратегии, где надежды в большей степени возлагаются на знакомства с «правильными» людьми или наличие родственников, способных ускорить карьерное продвижение. Востребованные молодежью среднего класса нормативные паттерны профессионального развития, такие как отказ от институционального образования и фриланс, рабочей молодежью используются как средства оправдания существующих классовых барьеров, невозможности доступа к качественному образованию или фундаментального недоверия базовым социальным институтам. Ввиду данных обстоятельств молодые рабочие выбирают жизненные стратегии адаптации и выживания, ограничивающие реализацию их профессионального и культурного потенциала и закрепляющие негативные социальные настроения. В долгосрочной перспективе подобные тенденции могут рассматриваться как достаточные причины для обострения классового конфликта и роста протестных настроений в среде молодежи нового рабочего класса.

Литература

1. Balibar E., Wallerstein I. Race, nation, class. Ambiguous Identities. London ; New York : Verso, 1991.
2. Boltanski L., Chiapello E. The new spirit of capitalism. London ; New York : Verso, 2007.
3. Тоценко Ж.Т. Прекариат: от протокласса к новому классу. М. : Наука, 2018.
4. Global Wealth Databook // Credit Suisse Research institute. URL: <https://publications.credit-suisse.com/?referralUrl=http://publications.credit-suisse.com/index.cfm/publikationen-shop/research-institute/global-wealth-databook-2018-en/> (дата обращения: 17.12.2018).
5. Bennet T., Savage M., Silva E., Warde A., Gayo-Cal M., Wright D. Culture, Class, Distinction. London : Routledge, 2009.
6. Shalev M. Class Divisions among Women // Politics & Society. 2008. № 36 (3). P. 421–444.
7. Linkon S.L., Russo J. Twenty years of working-class studies: Tensions, values, and core questions // Journal of Working-Class Studies. 2016. Vol. 1, is. 1. P. 4–13.
8. Zweig M. The working-class majority. Ithaca, NY : Cornell University Press, 2000.

9. Jones O. Chavs: The Demonization of the Working Class. London : Verso, 2012.
10. Savage M. Class analysis and social transformation. Buckingham : Open University Press, 2000.
11. Заславская Т.И. Социальная структура современного российского общества // Общественные науки и современность. 1997. № 2. С. 5–23.
12. Карханова Т.М., Бессокирная Г.П., Большакова О.А. Труд и досуг рабочих: программа, инструментарий и некоторые предварительные результаты повторного исследования // Институт социологии РАН. URL: <http://www.isras.ru/publ.html?id=3224> (дата обращения: 17.12.2018).
13. Jackson P.B., Berkowitz A. The structure of the life course: gender and racioethnic variations in the occurrence and sequencing of role transitions // The Structure of the Life Course: Standardized? Individualized? Differentiated? Advances in Life Course Research. 2005. Vol. 9. P. 55–90.
14. Tolson A. The limits of masculinity. London : Tavistock, 1977.
15. Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования // Центральный банк Российской Федерации. URL: <http://cbr.ru/statistics/pdko/Mortgage/> (дата обращения: 17.12.2018).
16. Гаврилюк Т.В. Социальная мобильность и образ будущего молодежи в биографических нарративах успешности // Гаврилюк В.В., Мехришвили Л.Л., Скок Н.И., Гаврилюк Т.В., Маленков В.В. Особенности социальной мобильности молодежи XXI века. Тюмень : ТИУ, 2016. С. 8–54.

Tatiana V. Gavriluyuk, Industrial University of Tyumen (Tyumen, Russian Federation).

E-mail: tv_gavriluyuk@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 49. pp. 101–113.

DOI: 10.17223/1998863X/49/11

THE LIFE COURSE OF THE NEW WORKING-CLASS YOUTH: THE REALITY AND NORMATIVE PATTERNS

Keywords: working class; working-class youth; life course; life strategies.

The subject domain of the study is life patterns and strategies of the Russian new working-class youth. Exploring the relationship between the new working-class studies and life course studies, this research combines the consideration of a life course as a structurally organized integrity with a phenomenological perspective on the study of life strategies. The notion of the “new working class” and the criteria for its definition have been proposed and substantiated. Biographical in-depth interviews of 31 young working-class representatives and a mass poll of 1532 respondents were used to focus on the implementation of class normative patterns and to determine their consistency with individual life strategies and with means by which these patterns are constructed and legitimized in the context of the structural strengths and constraints of society with an extremely high degree of social inequalities and the precarity of youth labour. To disclose the dominant normative patterns that structure the life course of the Russian working-class youth as the main research question of this article, the author considered the main life course trajectories (education, family and career) and sought to measure and understand the following aspects: normative temporal limitations and the preferred sequence of the main role transitions (finishing education, full-time job, first career promotion, marriage, having a first child); the correlation between the real and preferable time and sequence of role transitions; the preservation of traditional class distinctions within life course normative patterns or their inversion, differentiation or displacing by other patterns and values during the period of emerging adulthood. The study has shown the remaining significance and value of the traditional life course structures while current social conditions (wages, mortgage rate, the access to higher education and its quality, the interrelation between education and market requirements, etc.) do not allow to fulfil this life strategy any longer. The trendy normative patterns of the middle-class youth (refusal from institutional education, freelance jobs) are used as tools legitimating the existing class barriers, lack of access to education, fundamental lack of trust to major social institutions. Due to these reasons, young workers choose the adaptation and survival life strategies which restrict their professional and cultural potential realization and create a negative social mood.

References

1. Balibar, E. & Wallerstein, I. (1991) *Race, Nation, Class. Ambiguous Identities*. London, New York: Verso.

2. Boltanski, L. & Chiapello, E. (2007) *The New Spirit of Capitalism*. London; New York: Verso.
3. Toshchenko, Zh.T. (2018). *Precariat: ot protoklassa k novomu klassu* [Precariat: from a proto-class towards a new class]. Moscow: Nauka.
4. Global Wealth Databook. (2018) *Credit Suisse Research Institute*. [Online] Available from: <https://publications.creditsuisse.com/?referralUrl=http://publications.creditsuisse.com/index.cfm/publicationen-shop/research-institute/global-wealth-databook-2018-en/>. (Accessed: 17th December 2018).
5. Bennet, T., Savage, M., Silva, E., Warde, A., Gayo-Cal, M. & Wright, D. (2009) *Culture, Class, Distinction*. London: Routledge.
6. Shalev, M. (2008) Class Divisions Among Women. *Politics & Society*. 36(3). pp. 421–444. DOI: 10.1177/0032329208320570
7. Linkon, S.L. & Russo, J. (2016) Twenty years of working-class studies: Tensions, values, and core questions. *Journal of Working-Class Studies*. 1(1). pp. 4–13.
8. Zweig, M. (2000) *The Working-Class Majority*. Cornell University Press.
9. Jones, O. (2012) *Chavs: The Demonization of the Working Class*. London: Verso.
10. Savage, M. (2000) *Class Analysis and Social Transformation*. Buckingham: Open University Press.
11. Zaslavskaya, T.I. (1997). Sotsial'naya struktura sovremennogo rossiyskogo obshchestva [Social structure of the modern Russian society]. *Obshchestvennye nauki i sovremennost' – Social Sciences and Contemporary World*. 2. pp. 5–23.
12. Karkhanova, T.M., Bessokirnaya, G.P. & Bolshakova, O.A. (2014) *Trud i dosug rabochikh: programma, instrumentarii i nekotorye predvaritel'nye rezul'taty povtornogo issledovaniya* [The labour and leisure of workers. The program, instruments and some preliminary results of the repeated research]. [Online] Available from: <http://www.isras.ru/publ.html?id=3224>. (Accessed: 17th December 2018).
13. Jackson, P.B. & Berkowitz, A. (2005) The structure of the life course: gender and racioethnic variations in the occurrence and sequencing of role transitions. In: Macmillan, R. (ed.) *The Structure of the Life Course: Standardized? Individualized? Differentiated? Advances in Life Course Research*, Vol. 9. Elsevier. pp. 55–90.
14. Tolson, A. (1977) *The Limits of Masculinity*. London: Tavistock.
15. Central Bank of the Russian Federation. (n.d.) *Pokazateli rynka zhilishchnogo (ipotechnogo zhilishchnogo) kreditovaniya* [Housing (Mortgage) Loan Market Indicators]. [Online] Available from: <http://cbr.ru/eng/statistics/default.aspx?Prtd=ipoteka>. (Accessed: 17th December 2018).
16. Gavriluk, T.V. (2016) Sotsial'naya mobil'nost' i obraz budushchego molodezhi v biografiche-skikh narrativakh uspekhov [Youth social mobility and the image of the future in the biographical narratives of success]. In: Gavriluk, V.V., Mekhreshvili, L.L., Skok, N.I., Gavriluk, T.V. & Malenkov, V.V. *Osobennosti sotsial'noy mobil'nosti molodezhi XXI veka* [The specificity of youth social mobility in the 21st century]. Tyumen: Industrial University of Tyumen. pp. 8–54.

УДК 316.733

DOI: 10.17223/1998863X/49/12

М.О. Гузикова

ПОЛИЯЗЫЧИЕ В ДВИЖЕНИИ: ЭВОЛЮЦИЯ ФЕНОМЕНА¹

Ставится задача проследить, в какой мере такой феномен человеческой культуры, как полиязычие, изменяется на протяжении жизни человечества, известной нам из письменных источников. Анализ факторов, влияющих на качество полиязычия, проводится в русле теории социальных изменений. На основе проведенного анализа сделан вывод, что в условиях глобализации полиязычие становится эмерджентным феноменом, дающим системный эффект в глобальном масштабе.

Ключевые слова: полиязычие, эволюция полиязычия, эмерджентность.

Введение

Язык – это основной механизм коммуникации людей в социуме. Ученые на протяжении уже более полувека ведут жаростные споры по поводу того, является ли язык встроенным в человеческий мозг, врожденным механизмом, или приобретается посредством научения. Последователи нативизма подвергаются критике со стороны когнитивистов и функционалистов [1], однако все ученые разделяют убежденность в том, что человек рождается с инстинктом коммуникации, а язык развился на протяжении многих столетий как основной способ обслуживания данного инстинкта. Человек – далеко не единственное животное, обладающее языком. Однако между языком человека и других животных есть принципиальные различия: мы изъясняемся главным образом посредством речи, для чего наш голосовой аппарат претерпел значительные изменения в процессе эволюции, наша речь обладает синтаксисом. Кроме того, человек использует язык произвольно, а не для обслуживания сиюминутной ситуации, и человеческий язык – это не набор элементов, необходимых для передачи информации в той или иной ситуации, а открытая система, обладающая «дотраиваемостью» [2]. По-видимому, именно свойство «дотраиваемости» и привело к тому, что даже если протоязык и существовал, то с того момента, как люди начали расселяться по земле и одни группы стали удаляться от других, языки стали трансформироваться и отличаться от своего первоисточника.

Как следует из мифа о Вавилонской башне, Бог, разгневавшись на людей за постройку огромного зиккурата, решил разделить их, лишив общего языка. Этот миф отражает ситуацию полиязычия, наблюдаемого в социуме. Люди разных народов говорят на разных языках, язык – один из основных факторов, определяющих принадлежность к той или иной этнической группе, отделяющий своих от чужих. Оставляя за скобками этой статьи многозначность понятий «язык» [3] и «родной язык» [4], примем за точку отсчета, что каждый из нас владеет родным языком, т.е. коммуникативным репертуаром, обеспечивающим наше взаимодействие со средой, в которой мы находимся, и приобретаемый нами в ходе взаимодействия с представителями этой среды в период до так называемого критического возраста (8–11 лет).

¹ Статья написана при поддержке гранта РФФИ № 17-29-09136/18.

Известно, что овладение языками других этнических групп – это явление, сопровождавшее человечество на протяжении его истории. Такое взаимодействие происходило ранее и происходит постоянно в наши дни. Полиязычие возникает в контактных зонах: социальных пространствах, где культуры встречаются, сталкиваются и переплетаются [5]. Кроме того, интерес к овладению языками других народов может быть не прямым, как при непосредственном контакте, а опосредованным, так как диктуется желанием или необходимостью использовать достижения культуры других народов. Глубина владения чужим языком может быть различной, полиязычие может принимать разные формы: пиджины, креолизация, лингва франка и т.д. В настоящей работе ставится задача порассуждать о том, как полиязычие изменялось в течение человеческой истории и можно ли утверждать, что сегодня полиязычие представляет собой качественно и количественно иной феномен, чем в прошедшие периоды известной нам в письменных памятниках человеческой истории. Исследование фокусируется на факторах, влияющих на возникновение и развитие полиязычия и на его характеристики в тот или иной период. Полиязычие при этом понимается и как феномен, наблюдаемый в социуме, и как набор разнообразных практик, в ходе которых индивиды и / или их группы обнаруживают частичное или полное владение и / или использование языка, не являющегося родным.

Методы исследования

Мы понимаем язык как часть человеческой культуры, как базовый механизм человеческой коммуникации. В настоящий момент зарегистрировано около семи тысяч языков. Как утверждают ученые, для большинства людей сегодня владение несколькими языками является скорее нормой, чем исключением. В данной статье мы пытаемся увидеть, отличается ли полиязычие сегодня от полиязычия в прошлом и в какой мере. Если такие изменения фиксируются, то необходимо проанализировать, что послужило их причиной и движущими силами. Приобрело ли полиязычие иное качество, и какие факторы способствовали этому? Вопрос о возможном новом качестве полиязычия в мире ставится потому, что, как показывают опросы, проведенные автором в различных странах мира, коммуникативным стандартом в представлениях людей остается моноязычие. К примеру, датчане, которые с самого раннего возраста погружены в полиязычное медийное пространство, считают свою среду моноязычной. То же мнение высказывают студенты и преподаватели китайских университетов, общающиеся на английском языке и говорящие не только на путунхуа, но и на локальных диалектах. Такое восприятие обусловлено как минимум двумя факторами. Во-первых, становление и развитие национальных государств связано с внедрением языковой идеологии «одна нация – один язык» и появлением моноязычного образа мышления [6]. Во-вторых, так называемое «чистое» дву- и полиязычие, детский или естественный би- и мультилингвизм как практика попеременного использования двух языков и более с детства, приобретенная в среде носителей языков, встречается не так часто, как искусственное полиязычие, возникающее после критического возраста, когда возможно овладение языком как родным. Искусственное полиязычие, подразумевающее приобретение иноязычных навыков после

того, как затухает способность приобретать язык в ходе естественного общения, часто бывает частичным и потому не воспринимается как полноценное владение другим языком.

Методологически в своих рассуждениях мы опираемся на разработки в области социальных изменений. Теоретические подходы к описанию социальных изменений подразделяются на эволюционные (О. Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм и др.), революционные (П. Сорокин, В. Парето, Т. Гарр и др.), циклический (Д. Вико, Н. Кондратьев и др.) и миросистемный подходы (Э. Валлерстайн), а также концепции развития. Задачей исследователя того или иного социального явления или процесса является установление причин или факторов изменений [7]. Изменения могут быть вызваны эндогенными и экзогенными факторами и протекать в таких формах, как трансформации, кризисы, реформы и пр. По типам социальные изменения подразделяют на морфогенетические, ведущие к новым состояниям сообществ, и трансмутационные (количественные и качественные изменения). Изменения могут происходить на разных уровнях общества: глобальном, уровне крупных социальных групп, институциональном и уровне межличностных отношений. Они могут быть кратковременными, долговременными и постоянными. В настоящей статье выдвинута гипотеза о том, что несмотря на то, что полиязычность можно считать константой человеческого общества, так как оно наблюдается на всех этапах его развития, сегодня можно говорить о приобретении объектом исследования морфогенетических характеристик и возникновении эмерджентности, т.е. новой совокупности свойств, дающих системный эффект в глобальном масштабе [8].

Результаты и дискуссия

Несмотря на то, что полиязычие часто воспринимается как относительно недавний феномен, возникший в связи с процессом глобализации, ученые постоянно указывают на то, что скорее моноязычие – это феномен, возникший не так давно по меркам человеческой истории в связи со становлением национальных государств, которые с целью поддержания государственного суверенитета влияли на возникновение многоязычной идеологии [9]. Сегодня в мире число полиглотов преобладает над числом моноглотов. Ситуация полиязычия скорее типична для человеческой истории, чем созданная национальными государствами западноцентричная модель моноязычия. Парадигма отношения к языку как к закрытой моносистеме подверглась эрозии во второй половине XX в. Изменения многоязычной парадигмы происходили в широком контексте критики общества в том виде, в котором оно сложилось в западной цивилизации в XVIII–XIX вв. Эта критика звучала как изнутри западной цивилизации, так и извне. Социологи языка выступали против признания языкового стандарта единственной легитимной версией языка [10] и против того, чтобы моноязычие имело более высокий статус в обществе, чем полиязычие. Феномены полиязычия, привлекавшие к себе все больше внимания в последние десятилетия XX в., описывались поначалу в терминах моноязычной языковой парадигмы, но этот подход подвергался все большей критике. В этот период полиязычие стало широко обсуждаемым явлением, и не

только в научной среде¹. Рост интереса к этой теме происходил в контексте дискурсов глобализации, глобальной мобильности, глобального рынка, транснационализма и суперразнообразия.

Исследователи, изучающие полиязычие, придерживаются разных точек зрения по поводу изменений, которые его коснулись. Надо сказать, что размышления об эволюции полиязычия наталкиваются на ряд объективных ограничений. Полиязычие существовало и существует как в культурах, где есть письменность, так и там, где письменных источников нет либо они утеряны. В тех случаях, когда письменность отсутствует или источники утеряны, установить наличие или отсутствие практики полиязычия сложно. Необходимо упомянуть, что работ, рассматривающих эволюцию полиязычия на протяжении человеческой истории, не так много. Среди значимых нужно упомянуть исследования Л. Аронин и Д. Синглтона [11]. Эти авторы считают, что в настоящее время полиязычие представляет собой качественно и количественно иной феномен, чем раньше, и приводят три аргумента: географический, социальный и медийный. Они утверждают, что с географической точки зрения полиязычие распространено глобально, а не только в контактных зонах; с точки зрения социума оно не локализовано среди определенных социальных групп, а касается всех слоев населения; полиязычие приобрело такие характеристики, как мультимодальность и «мгновенность».

С географическим аргументом можно как соглашаться, так и оспаривать его. С одной стороны, можно сказать, что в колониальную эпоху после Великих географических открытий насаждение языка колонизаторов произошло на значительной части земной территории. С другой стороны, процессы, приводившие к увеличению полиязычных людей и практик полиязычия, такие как вторжения одних народов на земли других, миграции, наблюдались и в доколумбов период. Так, Великое переселение народов с периферии Римской империи, вызванное вторжениями гуннов с востока, стало причиной языковых столкновений между германскими племенами и романизированным местным населением. Очевидно также, что на разных территориях и для разных популяций развитие полиязычия имеет свои особенности. Плотность и разнообразие языков на той или иной территории в мире значительно отличаются. Например, в островном государстве Папуа Новая Гвинея, где проживает около 7,6 млн человек на площади 462 тыс. км², насчитывается более 800 языков, а в Нигерии, где население составляет около 186 млн человек на территории в 923 тыс. км², зарегистрировано немногим более 500 языков [12].

Существование и развитие полиязычия затрагивает разные культуры и общества и группы внутри него в неравной мере. По выражению А. Гуревича, «в обществе всегда существует не какое-то единое „монолитное“ время, а целый спектр социальных ритмов, обусловленных закономерностями различных процессов и природой отдельных человеческих коллективов» [13]. К процессам, оказывающим значимое воздействие на распространение полиязычия, следует отнести мобильность. Социологи указывают, что мобильность становится новой парадигмой для изучения современного общества [14], причиной появления обществ с гибридной культурой, явлений

¹ Google trends. URL: <https://trends.google.ru/trends/explore?date=all&q=foreign%20language%20skills> (accessed: 02.02.2019).

транслокальности и поли- и трансязычия. Так, очевидно, что в узловых точках глобальной мобильности, таких как Лондон, Нью-Йорк, Дубай и пр., выше концентрация людей, коммуникативный репертуар которых насчитывает несколько языков, и больше разнообразных полиязычных практик, чем в населенных пунктах, не являющихся узлами людской, информационной или товарной мобильности [15]. В глобальных мировых университетах, куда съезжаются студенты и преподаватели со всего мира, неизбежно возникает полиязычная среда, в то время как в соседнем колледже, не затронутом в той же мере процессами интернационализации образования, среда все еще может оставаться преимущественно моноязычной. Эта неравномерность не является чем-то уникальным только для нашего времени. Известно, что торговые пути, такие, например, как Средиземноморье, где велась активная торговля Европы и Леванта, всегда отличались активным полиязычием. Так, именно смешанный язык, использовавшийся в ходе средиземноморской торговли вплоть до XVIII в., стал родоначальником термина «лингва франка».

Разберем «социальный» аргумент. С одной стороны, как мы видим, и раньше, и сейчас, полиязычие было характерно для одних социальных групп и реже встречалось в других. Во все времена оно было распространено в среде образованных людей и элиты. Врачи в Римской империи почти без исключений владели греческим, а в государствах Европы в Средние века – латынью. Эта традиция сохранилась и сегодня. Французский язык долгое время был обязательным для аристократии во многих странах Европы и остается одним из обязательных языков дипломатии по сей день. С другой стороны, в некоторых случаях, в профессиональных кругах полиязычие было распространено в большей мере, чем сегодня. В Римской империи, например, греческий язык был обязательным вторым языком армии [16]. Сегодня такого требования нет. Носители так называемых малых языков чаще используют другие языки, прежде всего языки глобального распространения или региональные лингва франка. И наоборот, люди, владеющие так называемыми языками глобального распространения, часто менее мотивированы к изучению других языков. Сегодня так происходит с носителями английского языка [17].

Что касается аргумента мультимодальности и «мгновенности», то он обусловлен распространением цифровых технологий в наше время. Очевидно, что массовизация полиязычия связана с доступностью информации на других языках. Точками бифуркации для роста распространения полиязычия стали изобретение фонетического алфавита, приведшее к появлению письменности в раннюю эпоху человеческой цивилизации, внедрение книгопечатания в XV в. и распространение цифровых технологий в XX–XXI вв. [18]. Развитие средств коммуникации в каждый из этих периодов приводило к общему росту грамотности, повышало доступность информации для других социальных групп помимо элит. Расширялся и состав грамотности. Если раньше грамотного человека характеризовали навыки чтения и письма на родном языке, то сегодня иностранный язык вошел в состав обязательных требований и практически повсеместно изучается с самого раннего возраста.

Сложно спорить с тем, что доступность ресурсов на других языках, приложений, позволяющих изучать иностранные языки онлайн, не просто неимоверна возросла, но является беспрецедентной для человеческой цивилизации. С другой стороны, растет качество автоматизированного перевода,

внедряются программы, позволяющие моментально переводить устную речь на иностранный язык. Уже сегодня эти программы являются значительным подспорьем в общении без перехода на лингва франка или перевода. Насколько внедрение таких технологий повлияет на распространение и трансформации полиязычия, сказать сложно. Цифровизация приводит и к детерриториализации / транслокальности полиязычия, так как доступ к ресурсам и коммуникации на иностранных языках не привязан к той или иной локации. Интенсифицируются транснациональные связи, которые сегодня, по мнению исследователей, достигли беспрецедентного уровня [19]. Покидая свою родину, люди тем не менее, благодаря технологиям, во многом остаются в привычной им коммуникационной среде. Как пишут Дж. Урри и М. Шеллер, культура в условиях мобильности людей становится гибридной, динамичной, она «больше о дорогах, чем о корнях» (игра слов: «more about routes than roots») [20].

Еще одним фактором, помимо рассмотренных выше, оказывающим влияние на рост полиязычия, является изменение отношения к этому феномену. Можно констатировать, что полиязычие как предмет изучения преодолело ту стигматизацию, которая была характерна для исследований, написанных в русле идеологии моноязычия национальных государств. Если под влиянием идеологии национального государства полиязычие воспринималось негативно, считалось вредным для развития личности, то сегодня исследования говорят о положительных аспектах этого явления. Так, ученые утверждают, что высокий уровень полиязычия положительно влияет на становление поликультурной идентичности, помогает развитию компетенций, необходимых для действий по созданию более стабильного и справедливого мира [21]. Нейронауки также вносят свой вклад в позитивный взгляд на полиязычие. Старение населения ставит человечество перед новыми вызовами, а изучение иностранных языков противодействует деменции, поддерживая мозг в рабочем состоянии и улучшая память [23]. Оказывается, владение иностранными языками положительно влияет на другие способности, например музыкальные [24], или такие качества, как многозадачность и концентрация [25]. Полиязычие положительно воспринимается и широкой публикой, о чем говорит обилие информации о пользе и необходимости изучения иностранных языков.

Меняется и подход к овладению языками. В доренессансный период наблюдается в основном инструментальный подход к владению языковыми навыками, стремления к языковой чистоте и стандартизации языка не фиксируются. В период романтического национализма появляется стремление к моноязычию, языковому пуризму, отделению диалекта от языковой нормы, что обусловлено представлением о неразрывности народа и его языка [22]. Сегодня мы снова наблюдаем рост тенденции к инструментализации, индивидуализации и консьюмеризации полиязычия. Распространение интереса к изучению глобальных языков связано с процессами приспособления членов социумов к ситуации глобального рынка.

Заключение

Исследователи говорят о том, что общество достигло беспрецедентного уровня сложности. Языковые параметры обществ наряду с демографическими, социально-политическими и культурными во всем мире претерпели из-

менения, обусловленные постоянно растущей мобильностью – номадизмом, присущем «текущей модерности» [26]. Мы можем констатировать, что сегодня полиязычие обладает качеством эмерджентности. Оно стало действительно массовым феноменом, трансцендирующим локации и группы населения. Исследователи пишут о появлении «лингваномики», в которой полиязычие рассматривается наравне с такими востребованными «мягкими» навыками, как креативность и предприимчивость [27]. Владение другими языками является товаром, имеющим добавленную стоимость для их носителя [6], или, по выражению П. Бурдьё, обладает символическим капиталом [28], повышающим привлекательность их обладателя с точки зрения работодателя. Можно констатировать, что одним из последствий распространения полиязычия является появление *lingua mundi*, которым стал английский язык, достигший небывалого уровня распространения. В полиязычных сообществах зачастую наблюдается отказ от родного языка в пользу *lingua mundi*. В качестве примера можно привести Южную Африку, где дети под влиянием родителей отказываются от родного для них африкаанс в пользу английского языка, так как родители убеждены, что владение им гарантирует детям лучшее будущее [29]. Хотя в целом полиязычие получает большее распространение в мире, общее количество языков не растет, а сокращается. На данном этапе человеческой истории языки вымирают быстрее, чем животные [30]. Это вызывает озабоченность общественности. Так, неправительственная организация Salzburg Global Seminar приняла в 2017 г. «Зальцбургское заявление в защиту полиязычного мира», призывающее к пониманию важности языкового разнообразия, инклюзивному, недискриминационному отношению ко всем языкам и их носителям и важности изучения разных языков [31]. В целом нельзя сказать, что полиязычие – феномен, характерный для ситуации глобализации второй половины XX – начала XXI в. [32]. Сохраняется и наличествовавшая во все времена неравномерность полиязычия. И хотя языковое разнообразие в большей мере представлено в хабах мобильности, сегодня можно говорить о глобальном уровне распространения полиязычия.

Литература

1. Fitch W.T. The evolution of language. Cambridge University Press, 2010. 624 p.
2. Бурлак С. Происхождение языка : факты, исследования, гипотезы. М. : Альпина Паблишер, 2019. 609 с.
3. Кравченко А.В. Носители языка, родной язык и другие интересные вещи // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2009. № 11. С. 29–37.
4. Skutnabb-Kangas T. Mother Tongue. URL: http://www.tove-skutnabb-kangas.org/en/concept_definitions_for_downloading.html (accessed: 24.01.2019).
5. Pratt M.L. Arts of the contact zone // Profession. 1991. С. 33–40.
6. Edwards V. Multilingualism in the English-speaking world: Pedigree of nations. John Wiley & Sons, 2008. 264 p.
7. Штомпка П. Социология социальных изменений. М. : Аспект пресс, 1996. 416 с.
8. Flores N., Lewis M. From truncated to sociopolitical emergence: A critique of super-diversity in sociolinguistics // International journal of the sociology of language. 2016. Т. 2016, № 241. С. 97–124.
9. Yildiz Y. Beyond the mother tongue: The postmonolingual condition. Fordham Univ Press, 2012. 292 p.
10. Labov W. Language in the inner city. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 1972. 412 p.
11. Aronin L., Singleton D. Multilingualism as a new linguistic dispensation // International journal of multilingualism. 2008. Т. 5, № 1. С. 1–16.

12. *Ethnologue*. Languages of the World. URL: <https://www.ethnologue.com/browse/countries> (accessed: 02.02.2019).
13. Гуревич А.Я. Время как проблема истории культуры // Вопросы философии. 1969. № 3. С. 112–113.
14. Cresswell T. The production of mobilities: An interpretive framework // *On the Move*. Routledge, 2012. С. 13–36.
15. Pennycook A., Otsuji E. *Metrolingualism: Language in the city*. Routledge, 2015. 206 p.
16. Adams J.N. et al. *Bilingualism and the Latin language*. Cambridge University Press, 2003. 864 p.
17. Hutton W. Why do we continue to isolate ourselves by only speaking English? // *The Guardian*, 2012. 5 Feb. URL: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/feb/05/will-hutton-learn-foreign-languages> (accessed: 02.02.2019).
18. Мак-Люэн М. Галактика Гутенберга. Сотворение человека печатной культуры. Киев : Ника-Центр : Эльга, 2004. 431 с.
19. Vertovec S. Super-diversity and its implications // *Ethnic and racial studies*. 2007. Т. 30, № 6. С. 1024–1054.
20. Sheller M., Urry J. The new mobilities paradigm // *Environment and planning A*. 2006. Т. 38, № 2. С. 207–226.
21. Skutnabb-Kangas T., Dunbar R. Indigenous children's education as linguistic genocide and a crime against humanity? A global view // *Gáldu Čála–Journal of Indigenous Peoples Rights*, 1. Resource Centre for the Rights of Indigenous Peoples Guovdageaidnu / Kautokeino. 2010. URL: <http://www.afn.ca/uploads/files/education2/indigenousschoolchildreneducation.pdf> (accessed: 13.03.2019).
22. Касториадис К. Воображаемое установление общества. М. : Гнозис Логос, 2003. 480 с.
23. Craik F.I.M., Bialystok E., Freedman M. Delaying the onset of Alzheimer disease: Bilingualism as a form of cognitive reserve // *Neurology*. 2010. Т. 75, № 19. С. 1726–1729.
24. Krizman J. et al. Subcortical encoding of sound is enhanced in bilinguals and relates to executive function advantages // *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 2012. Т. 109, № 20. С. 7877–7881.
25. Gold B. T. et al. Lifelong bilingualism maintains neural efficiency for cognitive control in aging // *Journal of Neuroscience*. 2013. Т. 33, № 2. С. 387–396.
26. Бауман З. *Текущая современность*. СПб. : Питер, 2008. 240 с.
27. Hogan-Brun G. *Linguanomics: What is the market potential of multilingualism?* Bloomsbury Publishing, 2017. 184 p.
28. Бурдые П. О производстве и воспроизводстве легитимного языка // Отечественные записки. 2005. Т. 2. URL: <http://bourdieu.name/content/burde-o-proizvodstve-i-vosproizvodstve-legitimnogo-jazyka> (дата обращения 02.02.2019).
29. Anthonissen C. Bilingualism and language shift in Western Cape communities // *Stellenbosch papers in linguistics PLUS*. 2009. Т. 38. С. 61–76.
30. Harrison K.D. *When languages die: The extinction of the world's languages and the erosion of human knowledge*. Oxford : Oxford University Press, 2008.
31. Fellows co-create Salzburg Statement for a Multilingual World. URL: <https://www.salzburgglobal.org/news/latest-news/article/fellows-co-create-salzburg-statement-for-a-multilingual-world.html> (accessed: 25.02.2019).
32. Чамкин А.С. Системность коммуникации. Социологический подход // *Системная психология и социология*. 2010. № 1. С. 57–71.

Maria O. Guzikova, Ural Federal University (Yekaterinburg, Russian Federation).

E-mail: mariagu@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 49. pp. 114–123.

DOI: 10.17223/1998863X/49/12

MULTILINGUALISM IN MOTION: EVOLUTION OF THE PHENOMENON

Keywords: multilingualism; evolution of multilingualism; emergence.

This article aims to trace how multilingualism as a phenomenon of human culture is changing. Multilingualism is interpreted both as a social phenomenon and as a set of diverse practices of language use. The analysis of factors affecting the quality of multilingualism is carried out in line with the theory of social change. The article considers the geographical, social and media factors affecting the growth and functioning of multilingualism in the diachronic perspective. Despite the uneven spread of

multilingualism, both among social groups and geographically, at the moment it is a qualitatively and quantitatively different phenomenon. Although the human race has been accompanied by multilingualism throughout its history, the emergence of national states has led to the consolidation of the notion of monolingualism as a norm. Today, in a globalizing world, we observe a departure from the monolingual paradigm. Multilingualism is positively perceived by both the general public and researchers. Foreign language proficiency is becoming an essential component of communicative literacy. This applies to the wide sectors of the population, not to the elites and individual social groups as before. The multilingualism of people and societies has increased so much that we can speak about the emergence of a multilingual economy or linguonomics. Not all languages are equally in demand in linguonomics: the so called world languages are more attractive. This phenomenon is criticized as linguistic imperialism. With the introduction of digital technologies, access to foreign language information is exceptionally fast and easy. These technologies, combined with mobility of different types, give rise to a situation of translocality in which the changing language environment remains connected to the native language space. The analysis shows that in the context of globalization multilingualism becomes an emergent phenomenon that produces a systemic effect in a global perspective.

References

1. Fitch, W.T. (2010) *The Evolution of Language*. Cambridge University Press.
2. Burlak, S. (2019) *Proiskhozhdenie yazyka: Fakty, issledovaniya, gipotezy* [The origin of the language: Facts, research, hypotheses]. Al'pina Publisher.
3. Kravchenko, A.V. (2009) Nositeli yazyka, rodnoy yazyk i drugie interesnye veshchi [Native speakers, native language and other interesting things]. *Aktual'nye problemy filologii i pedagogicheskoy lingvistiki*. 11. pp. 29–37.
4. Skutnabb-Kangas, T. (n.d.) *Mother Tongue*. [Online] Available from: http://www.tove-skutnabb-kangas.org/en/concept_definitions_for_downloading.html. (Accessed: 24th January 2019).
5. Pratt, M.L. (1991) Arts of the contact zone. *Profession*. pp. 33–40.
6. Edwards, V. (2008) *Multilingualism in the English-Speaking World: Pedigree of Nations*. John Wiley & Sons.
7. Sztompka, P. (1996) *Sotsiologiya sotsial'nykh izmeneniy* [The Sociology of Social Change]. Translated from English by A. Dmitriev. Moscow: Aspekt press.
8. Flores, N. & Lewis, M. (2016) From truncated to sociopolitical emergence: A critique of super-diversity in sociolinguistics. *International Journal of the Sociology of Language*. 241. pp. 97–124. DOI: 10.1515/ijsl-2016-0024
9. Yildiz, Y. (2012) *Beyond the Mother Tongue: The Postmonolingual Condition*. Fordham Univ Press, 2012. 292 p.
10. Labov, W. (1972) *Language in the Inner City*. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.
11. Aronin, L. & Singleton, D. (2008) Multilingualism as a new linguistic dispensation. *International Journal of Multilingualism*. 5(1). pp. 1–16. DOI: 10.2167/ijm072.0
12. Ethnologue.com. (n.d.) *Ethnologue. Languages of the World*. [Online] Available from: <https://www.ethnologue.com/browse/countries>. (Accessed: 2nd February 2019).
13. Gurevich, A.Ya. (1969) Vremya kak problema istorii kul'tury [Time as a problem of the history of culture]. *Voprosy filosofii*. 3. pp. 112–113.
14. Cresswell, T. (2012) *On the Move*. Routledge. pp. 13–36.
15. Pennycook, A. & Otsuji, E. (2015) *Metrolingualism: Language in the City*. Routledge.
16. Adams, J.N. et al. (2003) *Bilingualism and the Latin language*. Cambridge University Press.
17. Hutton, W. (2012) Why do we continue to isolate ourselves by only speaking English? *The Guardian*. 5th February. [Online] Available from: <https://www.theguardian.com/commentis-free/2012/feb/05/will-hutton-learn-foreign-languages>. (Accessed: 2nd February 2019).
18. McLuhan, M. (2004) *Galaktika Gutenberga. Sotvorenie cheloveka pechatnoy kul'tury* [Galaxy Gutenberg. Creation of human print culture]. Translated from English by A.A. Yudin. Kyiv: Nika-Tsent; El'ga.
19. Vertovec, S. (2007) Super-diversity and its implications. *Ethnic and Racial Studies*. 30(6). pp. 1024–1054. DOI: 10.1080/01419870701599465
20. Sheller, M. & Urry, J. (2006) The new mobilities paradigm. *Environment and Planning A*. 38(2). pp. 207–226. DOI: 10.1068/a37268
21. Skutnabb-Kangas, T. & Dunbar, R. (2010) Indigenous children's education as linguistic genocide and a crime against humanity? A global view. *Gáldu Čála–Journal of Indigenous Peoples*

Rights. 1. [Online] Available from: <http://www.afn.ca/uploads/files/education2/indigenousschoolseducation.pdf>. (Accessed: 13th March 2019).

22. Castoriadis, K. (2003) *Voobrazhaemoe ustanovlenie obshchestva* [Imaginary establishment of society]. Translated from French. Moscow: Gnozis Logos.

23. Craik, F.I.M., Bialystok, E. & Freedman, M. (2010) Delaying the onset of Alzheimer disease: Bilingualism as a form of cognitive reserve. *Neurology*. 75(19). pp. 1726–1729. DOI: 10.1212/WNL.0b013e3181fc2a1c

24. Krizman, J. et al. (2012) Subcortical encoding of sound is enhanced in bilinguals and relates to executive function advantages. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 109(20). pp. 7877–7881. DOI: 10.1073/pnas.1201575109

25. Gold, B.T. et al. (2013) Lifelong bilingualism maintains neural efficiency for cognitive control in aging. *Journal of Neuroscience*. 33(2). pp. 387–396. DOI: 10.1523/JNEUROSCI.3837-12.2013

26. Bauman, Z. (2008) *Tekuchaya sovremennost'* [Liquid Modernity]. Translated from English. St. Petersburg: Piter.

27. Hogan-Brun, G. (2017) *Linguanomics: What is the market potential of multilingualism?* Bloomsbury Publishing.

28. Bourdieu, P. (2005) O proizvodstve i vosproizvodstve legitimnogo yazyka [On the production and reproduction of a legitimate language]. *Otechestvennye zapiski*. 2. [Online] Available from: <http://bourdieu.name/content/burde-o-proizvodstve-i-vosproizvodstve-legitimnogo-jazyka>. (Accessed: 2nd February 2019).

29. Anthonissen, C. (2009) Bilingualism and language shift in Western Cape communities. *Stellenbosch papers in linguistics PLUS*. 38. pp. 61–76. DOI: 10.5842/38-0-48

30. Harrison, K.D. (2008) *When languages die: The extinction of the world's languages and the erosion of human knowledge*. Oxford: Oxford University Press.

31. Salzburgglobal.org. (n.d.) *Fellows co-create Salzburg Statement for a Multilingual World*. [Online] Available from: <https://www.saltzburgglobal.org/news/latest-news/article/fellows-co-create-saltzburg-statement-for-a-multilingual-world.html>. (Accessed: 25th February 2019).

32. Chamkin, A.S. (2010) Sistemnost' kommunikatsii. Sotsiologicheskii podkhod [Systematic communication. A sociological approach]. *Sistemnaya psikhologiya i sotsiologiya – Systems Psychology and Sociology*. 1. pp. 57–71.

УДК 316.3, 316.4
DOI: 10.17223/1998863X/49/13

А.Б. Рахманов

СТРУКТУРА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДОВ РОССИИ: ПЕРЕНОЧЕВАТЬ В МОСКВЕ, ПОГУЛЯТЬ ПО ПЕТЕРБУРГУ И ПОЕСТЬ В КАЗАНИ

Туризм служит одной из форм миграций людей в современном мире и способов формирования глобального общества. Целью или хабами туристических маршрутов служат крупные города. Основными компонентами туристической инфраструктуры крупных городов являются отели, рестораны и достопримечательности, и они во многом обуславливают очарование мегаполисов. В статье на основе эмпирических данных исследуется привлекательность 12 наиболее крупных городов России. Рассматриваются различия в восприятии городов России ее гражданами и иностранными туристами.

Ключевые слова: глобальное общество, туризм, город, отель, ресторан, достопримечательность, Россия.

Туризм в современную эпоху и его осмысление

В начале XXI в. туризм стал одной из наиболее важных разновидностей миграций людей внутри своих стран и за их пределами, выступая как один из способов формирования глобального общества. Туристические маршруты сшивают регионы, нации и государства в единое всепланетное полотно, способствуют созданию актуального единства мира. Людей, проводящих значительную часть своего времени в путешествиях, на планете с каждым годом все больше и больше. Согласно данным Всемирной туристической организации при ООН (United Nations World Tourism Organization, UNWTO), в 1950 г. в мире насчитывалось 25 млн, в 2000 г. — 674 млн, а в 2017 г. — уже 1,323 млрд международных туристов [1. Р. 2; 2. Р. 5]. К 2030 г. их число достигнет 1,8 млрд человек [1. Р. 3]. Индустрия туризма является одной из ведущих отраслей мировой экономики. В туристической индустрии производится 10% мирового валового продукта, формируется 7% мирового экспорта и создается одно из десяти рабочих мест в глобальной экономике [2. Р. 3]. В результате роста потоков туристов возникает глобальное туристическое пространство, внутри которого ежегодно сотни миллионов людей пересекают границы своих и чужих стран, и нити туристических маршрутов сшивают некогда разрозненные народы, страны и континенты в единой целое.

Но что такое туризм? UNWTO определила в 1995 г. туризм предельно широко, а именно как «деятельность людей, находящихся в путешествии и пребывающих вне своей обычной среды не более чем в течение года с целью проведения свободного времени, ведения бизнеса или с иными целями» [3. Р. 1]. Американский ученый Чарльз Гёлднер и канадский исследователь Джон Брент-Ричи, авторы, возможно, самого фундаментального исследования о туризме, писали: «Когда мы думаем о туризме, в первую очередь мы имеем в виду людей, которые посещают определенную местность с целью

созерцания достопримечательностей, общения с друзьями или родственниками, проведения свободного времени и развлечения. Они могут наполнять свой досуг занятиями различными видами спорта, приемом солнечных ванн, беседами, пением, верховой ездой, экскурсиями, чтением или просто наслаждением природой и тем, что их окружает. Далее, мы можем включить в наше определение туризма активность тех, кто участвует в конференциях, деловых встречах или каком-либо виде деловой или профессиональной активности, равно как и тех, предпринимает ознакомительные поездки под руководством гидов или занимается научными исследованиями или своим образованием в той или иной форме» [4. Р. 3]. Исходя из этого, сформулируем следующее рабочее определение: туризм – это кратковременное посещение других территорий или стран с целью отдыха, ознакомления с природными и культурно-историческими достопримечательностями этих территорий или стран, обычаями и нравами разных народов, их национальной кухней, развлечений самого разного рода, шопинга, а также с целью получения образования, научных исследований, проведения профессиональных и деловых встреч, занятий бизнесом, лечения, религиозных паломничеств и т.д. Вместе с тем к туризму не относятся поездки с целью временного трудоустройства.

В полном соответствии с быстрым развитием туризма в социальных науках в последние десятилетия усиливался интерес к этому явлению. Многие исследователи исходят из междисциплинарного характера изучения этого явления [5–10]. Развиваются исследования узкоспециализированных видов туризма – гастрономического [11], кулинарного [12], винного [13], медицинского [14], сексуального [15, 16].

Наибольший интерес представляет исследование туризма в рамках социологии, и в этой области знания следует констатировать многообразие научных подходов к данному явлению. Израильский ученый Эрик Коэн еще в 1984 г. выделил восемь типичных для социологии подходов, которые рассматривали туризм как: 1) коммерциализированное гостеприимство (коммерциализация и индустриализация традиционных отношений, издревле связывавших гостя / странника и хозяина); 2) демократизированное путешествие (путешествия, доступные ранее только аристократии и богачам, стали возможными для многих); 3) современную досуговую активность; 4) современный вариант паломничества; 5) реализацию базовых культурных ориентаций, характерных для людей из разных стран; 6) процесс аккультурации (туристы оказывают многообразное влияние на принимающие страны); 7) разновидность межэтнических отношений (туристы и принимающая сторона представляют разные этносы); 8) форму неокOLONиализма (метрополии производят потоки туристов, а периферийные страны принимают их) [17. Р. 373–376].

Американский социолог Дин Маккэннел рассматривал туризм в контексте социологии свободного времени. Переход от индустриальной к постиндустриальной социальной структуре предполагает вытеснение труда из центра социальных процессов, и теперь не труд, а досуговая активность, в том числе туризм, становится основой социальной организации [6]. Коста-риканский ученый Серджио Молина анализировал туризм как систему, которая включает в себя следующие компоненты: суперструктура (общественные и частные организации, законы, планы, программы и т.д.); спрос (внутренние и зару-

бежные туристы); инфраструктура (аэропорты, дороги, средства связи и т.д.), природные и культурные достопримечательности; специализированные организации и учреждения (отели, рестораны, кафе, турагентства и т.д.); принимающие общности (местные жители, прямо или косвенно связанные с туризмом) [7. Р. 5]. В коллективной монографии бразильских ученых под редакцией Гильерме Ломана и Алессандре Паноссо Нетто туризм рассматривается сквозь призму общей теории систем, что предполагает выделение таких подсистем этого явления, как гостеприимство, проведение свободного времени, развлечения, рекреация, путешествия, прием пищи и напитков, созерцание и переживание событий, пребывание в определенных природных и городских ландшафтах, восприятие аутентичности природных и культурных объектов [19]. В коллективном научном труде австралийских ученых под руководством Ноэля Скотта, Родольфо Бадджио и Криса Купера туризм рассматривается сквозь призму сетевого анализа. Авторы этого труда полагают, что сетевые отношения в туризме имеют большее значение, чем в какой-либо другой отрасли экономики [20].

Важной вехой в исследовании туризма стали работы видного британского социального теоретика Джона Урри. Для этого ученого при анализе туризма ключевым было понятие «туристический взгляд» (*tourist gaze*). Туристический взгляд – это социально организованный и систематизированный взгляд того, кто стремится получить удовольствие, связанное с путешествиями, кто потребляет места. Туризм выступает как воплощение и феноменология такого взгляда. Урри выделил 8 атрибутов туризма, указав, что: 1) туризм – досуговая активность, которая предполагает свою противоположность, а именно регулярный и организованный труд; 2) туризм – это перемещение людей в разных направлениях и их пребывание в соответствующих местах; 3) туризм – это пребывание вне повседневных мест проживания и труда; 4) объекты, являющиеся объектами туризма, непосредственно не связаны с оплачиваемым трудом, являя собой контраст труду вообще; 5) в связи с превращением туризма в массовое явление развиваются новые коллективные формы удовлетворения туристических потребностей; 6) выбору туристических мест, предназначенных для посещения, предшествует их предвосхищение в фантазиях и мечтах, которые основаны на конструирующем туристическом взгляде в фильмах, телевидении, газетах и т.п.; 7) туристический взгляд направлен на особенности городских пейзажей и природных ландшафтов, которые отличны от повседневной жизни; 8) туристический взгляд сконструирован символами, и туризм предполагает коллекционирование подобных символов («романтический Париж», «добрая старая Британия», характерные сцены восточной жизни, типичные американские шоссе, традиционные английские пабы и т.д.) [21. Р. 2–3]. Дж. Урри и Й. Ларсен полагали, что массовый туризм впервые возник на севере Великобритании во второй половине XIX в., и он был связан с досугом промышленного рабочего класса [22. Р. 31–36]. Для Урри, рассматривавшего общество как систему мобильностей, туризм выступает как одна из форм мобильностей [23. С. 67–70].

В современную эпоху туризм, на мой взгляд, выполняет три функции: во-первых, он способствует всестороннему и гармоничному развитию человека как личности, не только поставляя ему отдых, но и открывая новые горизонты природы и общества, истории и современности и способствуя осво-

ению мирового культурного наследия; во-вторых, он, предлагая специфические товары и услуги, является особой отраслью любой национальной экономики и мирового хозяйства, бизнесом, ориентированным на получение прибыли; наконец, в-третьих, выступая как одна из наиболее важных разновидностей миграций людей внутри своих стран и за их пределами, служит осознанию индивидуумом себя как неотъемлемой части становящегося единого человечества и тем самым содействует формированию глобального общества. Последнюю функцию туризм приобрел только в последние десятилетия: в начале XXI в. туристические маршруты больше, чем когда-либо, сшивают города, регионы, нации и государства в единое всепланетное полотно, содействуя созданию актуального единства мира.

Россия в глобальном туристическом пространстве

Каковы позиции России в глобальном туристическом пространстве? UNWTO для анализа развития международного туризма в отдельных странах использует два показателя – количество прибытий туристов и совокупный доход от туризма. В 2017 г. первую десятку стран мира по количеству прибытий туристов входили (в порядке убывания) Франция, Испания, США, Китай, Италия, Мексика, Великобритания, Турция, Германия и Таиланд, в первую десятку по доходам (в порядке убывания) – США, Испания, Франция, Таиланд, Великобритания, Италия, Австралия, Германия, Макао и Япония [2. Р. 8]. Таким образом, Франция, США и Испания по обоим показателям являются своего рода туристическими сверхдержавами. Россия в 1999–2001, 2006 и 2012–2015 гг. входила в число 10 ведущих туристических держав мира по прибытиям туристов, но ей никогда не удавалось попасть в первую десятку стран по доходам. В последние годы наша страна находится вне десятки ведущих туристических держав по обоим показателям.

Рассмотрим данные, касающиеся развития международного туризма во Франции, США, Испании, России и мире в целом с 2005 по 2017 гг., добавив к указанным показателям данные о доходе, который был принесен средним международным туристом (табл. 1).

В 2005–2017 гг. Россия по всем трем показателям, отраженным в табл. 1, значительно уступала трем туристическим сверхдержавам. Логичным будет предположить, что ее отставание по совокупным доходам и средним доходам с туриста было обусловлено не только сравнительной дешевизной, но также и меньшим набором и, возможно, нередко худшим качеством туристических услуг по сравнению с тем, что предлагали ведущие туристические державы. Вместе с тем в относительных величинах Россия по приросту всех трех показателей опережала Францию, а по приросту совокупного дохода и среднего дохода от туриста – Испанию. Но в относительных величинах по приросту всех трех показателей Россия уступала США, а по приросту количества туристов и совокупным доходам от туризма – миру в целом. Согласно докладу Всемирного экономического форума, Россия в туристической конкурентоспособности стран мира с точки зрения туризма в 2017 г. находилась всего лишь на 43-м месте, в то время как лидерами этого рейтинга были Испания, Франция, Германия, Япония и Великобритания [14. Р. 9]. Все эти данные показывают, что туристическая отрасль в России в последние годы, несмотря на ряд несомненных достижений, развивалась более медленными темпами и

менее эффективно по сравнению с туристической индустрией большинства стран мира. Безусловно, развитию российской туристической индустрии и притоку международных туристов в нашу страну отнюдь не способствовало осложнение внешнеполитической обстановки, произошедшее в последние годы.

Таблица 1. Развитие международного туризма во Франции, США, Испании, России и мире в целом в 2005–2017 гг.

Страны и мир	Показатель развития международного туризма	Годы				Прирост с 2005 по 2017 г., %
		2005	2010	2015	2017	
Франция	Количество туристов, млн человек	75,908	77,148	84,452	86,918	14,50
	Доходы от туризма, млрд долларов	42,276	46,560	44,858	60,681	43,54
	Средний доход от туриста, доллары	557	604	531	698	25,31
США*	Количество туристов, млн человек	49,206	59,796	77,465	75,868	54,18
	Доходы от туризма, млрд долларов	81,799	103,505	205,418	206,902	152,94
	Средний доход от туриста, доллары	1 662	1 731	2 652	2 727	64,08
Испания	Количество туристов, млн человек	55,914	52,677	68,519	81,786	46,27
	Доходы от туризма, млрд долларов	47,970	52,525	56,468	67,964	41,68
	Средний доход от туриста, доллары	858	997	824	831	–3,14
Россия	Количество туристов, млн человек	19,940	20,271	26,852	24,390	22,32
	Доходы от туризма, млрд долларов	5,564	8,830	8,420	8,945	60,77
	Средний доход от туриста, доллары	279	436	314	367	31,54
Мир	Количество туристов, млн человек	799	940	1 189	1 323	65,58
	Доходы от туризма, млрд долларов	676	927	1 196	1 340	98,22
	Средний доход от туриста, доллары	846	986	1 006	1 013	19,74

Примечание. Составлено и подсчитано автором по: [1. Р. 4, 8, 10; 2. Р. 11, 13, 17; 24. Р. 6, 8; 25. Р. 7, 10]; данные за 2017 г. являются оценочными.

* Данные за 2016 г.

При рассмотрении международного туризма в России возникает вопрос о его соотношении с внутренним туризмом. На мой взгляд, их взаимодействие подчиняется сложным закономерностям. Недостаточно высокий интерес иностранных туристов к туристическим объектам в России очень часто, хотя и не всегда, сопряжен с недостаточно высоким же интересом к ним и со стороны внутренних туристов, т.е. граждан России, путешествующих по своей стране, – в эпоху глобализации происходит гомогенизация вкусов и пристрастий туристов из разных стран мира: их запросы и представления о должном качестве туристических услуг начинают походить друг на друга как бутылки пепси-колы, разлитой в разных уголках мира. Вместе с тем уменьшение интереса международных туристов к России отнюдь не означает полного замещения их масс потоками внутренних туристов, поскольку интерес россиян к

зарубежным странам остается высоким, и он умеряется только величиной их доходов. В настоящей статье нас в первую очередь интересует факторы, которые позволили бы активизировать туристический потенциал нашей страны. К числу важнейших из них относится уровень развития туристической индустрии в крупных городах России, обуславливающий их привлекательность для внутренних путешественников и зарубежных гостей.

Методология исследования привлекательности крупных городов России

Целью и одновременно хабами, т.е. узловыми пунктами туристических маршрутов, служат крупные города. В этой связи их способность притягивать к себе людей, их привлекательность, их очарование имеют большое значение для развития туризма. Российские и зарубежные ученые в последние годы ведут исследования потенциала привлекательности городов и территорий постсоветского пространства. И.С. Глебова анализирует сильные и слабые стороны туристических объектов Казани [27]. С.В. Степанова рассматривает возможности трансграничных маршрутов в северо-западных регионах России [28]. С.Г. Нездойминов исследует туристический потенциал Одессы [29]. О.В. Рогач и Ю. Кузьмина изучают принципы оценки туристического потенциала городов России [30]. Ряд исследователей осуществляют комплексный анализ национального туристического потенциала России [31–33], Эстонии [34].

В настоящей статье предпринято эмпирическое исследование туристической привлекательности крупных городов России – Москвы, Санкт-Петербурга и 10 городов-миллионников – Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Омска, Челябинска, Ростова-на-Дону, Уфы и Красноярска¹. При этом мы будем исходить из того, что основными компонентами туристической инфраструктуры городов являются отели, рестораны и достопримечательности, и привлекательность этих объектов в первую очередь обуславливает привлекательность мегаполисов.

Для анализа уровня привлекательности российских мегаполисов мы воспользуемся данными, которые содержит самый популярный в мире туристический интернет-портал – американский портал TripAdvisor.com. Он работает на многих языках мира, в том числе и на русском. Этот портал предоставляет информацию о миллионах единиц туристической инфраструктуры почти всех городов мира (за исключением, вероятно, самых небольших).

Для анализа привлекательности основных объектов туристической инфраструктуры 12 российских городов используем оставленные на этом портале отзывы об отелях, ресторанах и достопримечательностях данных городов, принадлежащие потребителям их услуг или их созерцателям – как туристам, так и местным жителям. Каждый отзыв предполагает оценку названных объектов туристической инфраструктуры по 5-балльной шкале, включающей в себя варианты «превосходно» («Excellent»), «очень хорошо» («Very good»), «средне» («Average»), «плохо» («Poor») и «ужасно» («Terrible»). Возможные опасения по поводу того, что многие положительные

¹ Вне настоящего исследования остались три города-миллионника – Пермь, Воронеж и Волгоград, которые по данным на 1 января 2018 г. по численности населения уступали вышеперечисленным мегаполисам России [35].

отзывы инспирированы отделами PR и маркетинга соответствующих заведений, мы можем отклонить, указав на то, что, во-первых, отзывы написаны на множестве языков мира, во-вторых, в ряде случаев присутствует изрядное количество отрицательных отзывов, в-третьих, администрация TripAdvisor.com проводит действенную политику по отсеканию сомнительных (невсамделишных) отзывов. Безусловно, привлекательность – это субъективная категория, но когда речь идет об анализе отзывов больших масс людей, оценивающих предлагаемые им товары, услуги и достопримечательности, мы подводим под эту субъективную категорию надлежащие объективные основания. Это и создает возможность беспристрастной оценки привлекательности основных компонентов туристической инфраструктуры крупных городов. Следует сделать важную оговорку: при подобном анализе мы отвлекаемся от учета относительно второстепенных факторов привлекательности городов – экологической обстановки, состояния транспортной системы, масштабов дорожных пробок, преступности и т.д.

Логика настоящего эмпирического исследования привлекательности крупных городов России будет заключаться в следующем. Вначале мы произведем количественную характеристику привлекательности отелей, ресторанов и достопримечательностей по отдельности. Количественным выражением каждого из компонентов туристической инфраструктуры городов будем считать среднее количество отзывов с оценкой «превосходно», полученных 30 лучшими – по отзывам на сайте TripAdvisor.com¹ – объектами соответствующего типа данного города, т.е. 30 лучшими отелями, 30 лучшими ресторанами и 30 лучшими достопримечательностями. Таким образом, мы получим значения индикаторов привлекательности отелей, ресторанов и достопримечательностей. Далее на основе полученных результатов мы вычислим значения интегральной привлекательности 12 мегаполисов России, считая ее равной кубическому корню из произведения значений трех индикаторов привлекательности.

При всем вышесказанном мы осуществим сравнительный анализ восприятия основных компонентов туристической инфраструктуры крупных городов нашей страны гражданами России и иностранными туристами. Для этого предпримем два параллельных исследования – на основе отзывов на русском языке и на основе отзывов на английском языке. Безусловно, отзывы на русском языке оставляют не только граждане России, но и иностранцы – в первую очередь жители государств постсоветского пространства. Но, несомненно, подавляющее большинство отзывов на русском языке все же связано с россиянами, и в связи с этим мы ради вполне приемлемого упрощения будем исходить из того, что все отзывы на русском языке являются отзывами, оставленными гражданами России. В то же время на английском языке, который давно уже приобрел статус глобального языка, языка всемирной коммуникации, отзывы оставляют туристы из стран всего мира, а не только гости из англоязычных стран. Как правило, это туристы из «дальнего зарубежья», а не граждане стран постсоветских государств. Благодаря этому мы приобретем возможность сравнить привлекательность мегаполисов России в восприятии граждан России и иностранных туристов.

¹ TripAdvisor.com позволяет ранжировать отели, рестораны и достопримечательности городов в зависимости от оценок, данных им их потребителями и созерцателями.

Привлекательность отелей крупных городов России

Привлекательность отеля в глазах его клиентов обуславливается целым рядом факторов – расположением, характеристиками номеров, ценой, сервисом, качеством предлагаемой еды, атмосферой и т.д. Рассчитаем значения индикатора привлекательности отелей выбранных нами 12 самых крупных городов России на основе отзывов россиян и иностранных туристов (табл. 2). Города ранжированы по значению индикатора привлекательности отелей в восприятии россиян. Привлекательность отелей оценивается в баллах.

Таблица 2. Индикатор привлекательности отелей крупных городов России, баллы

Город	Для граждан России	Для иностранных туристов
Москва	302	294
Санкт-Петербург	199	217
Казань	147	9
Екатеринбург	146	13
Новосибирск	98	7
Нижний Новгород	76	4
Челябинск	68	3
Уфа	63	3
Самара	53	3
Красноярск	51	3
Ростов-на-Дону	35	2
Омск	22	1

Примечание. Рассчитано автором по [26]. Данные за 22.09.2018.

Для жителей России лучшими отелями их страны являются отели Москвы: столичная индустрия гостеприимства россиянам представляется наиболее развитой. Гостиницы Санкт-Петербурга по привлекательности довольно значительно уступают своим московским аналогам. Петербургские отели, в свою очередь, заметно опережают отели Казани и Екатеринбурга. За последними с заметным отрывом следуют гостиницы других городов-миллионников. Для иностранных же туристов лидерство обоих российских столиц гостиничном бизнесе является бесспорным, и они оценивают отели Москвы и Санкт-Петербурга несопоставимо более высоко, чем гостиницы Екатеринбурга, Казани и других российских мегаполисов. В глазах жителей России отставание нестоличных отелей не является столь катастрофическим. Будет логичным предположить, что жители России в отличие от иностранцев относительно высоко оценили гостиницы Казани и Екатеринбурга в связи с фактором цены: пусть в провинциальных отелях предлагается комфорт не столь высокого класса и в них нет специфической московской или петербургской атмосферы, но их услуги явно дешевле, чем услуги столичных отелей. Российские туристы, безусловно, в основном явно беднее и менее притязательнее, чем их иностранные коллеги, и фактор цены для них весьма важен.

Привлекательность ресторанов крупных городов России

Привлекательность ресторанов определяется качеством предлагаемой пищи, ценой, качеством сервиса, атмосферой и т.д. Вычисление значений индикаторов привлекательности ресторанов 12 мегаполисов России дает несколько неожиданную картину (табл. 3). Города ранжированы по значению индикатора очарования ресторанов в восприятии граждан России (в порядке убывания).

Таблица 3. Индикатор привлекательности ресторанов крупных городов России, баллы

Город	Для граждан России	Для иностранных туристов
Казань	232	11
Санкт-Петербург	206	56
Москва	193	39
Екатеринбург	157	10
Нижний Новгород	156	6
Ростов-на-Дону	130	4
Уфа	111	2
Самара	110	3
Красноярск	88	3
Новосибирск	81	6
Челябинск	69	3
Омск	37	2

Примечание. Рассчитано автором по [26]. Данные за 23.09.2018.

Сенсационно на первую позицию в восприятии граждан России вырвались рестораны Казани. Рестораны Санкт-Петербурга завоевывают второе место, а рестораны Москвы – только третье. На мой взгляд, это объясняется тем, что граждане России заметно беднее, чем иностранные туристы, поэтому для них фактор цены (соотношения качества и цены) приобретает особенную значимость, что и делает более дешевые казанские рестораны в их глазах более предпочтительными, чем слишком дорогие рестораны обеих столиц. По всей вероятности, казанские рестораны, будучи вполне сопоставимыми по качеству предлагаемой пищи и услуг с московскими и петербургскими, отличаются в лучшую (для потребителя) сторону ценами, что и определило симпатии к ним граждан России. На дешевизну пищи, предлагаемой ресторанами и кафе столицы Татарстана, указывают авторы многих позитивных отзывов о казанских предприятиях общественного питания. Вместе с тем очевидно, что российские туристы привлекательность ресторанов Казани оценивают более высоко, чем рестораны других нестоличных мегаполисов России.

Иностранцам же цены в ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга не кажутся высокими, для них решающую роль играет качество пищи, сервиса, атмосферы и другие подобные факторы, поэтому для них рестораны обеих российских столиц оказываются значительно более привлекательными, чем рестораны других российских мегаполисов. Зарубежные туристы, в отличие от россиян, едва ли в сколько-нибудь значительной мере выделяют рестораны Казани в океане нестоличных ресторанов России.

Проблемой, требующей дальнейших исследований, является предпочтение, отдаваемое одновременно и гражданами России, и иностранными туристами ресторанам Санкт-Петербурга перед ресторанами Москвы. Возможно, это следует объяснить более интеллигентной атмосферой и имперским шармом петербургских предприятий общественного питания.

Привлекательность достопримечательностей крупных городов России

Достопримечательности являются основным генератором привлекательности городов, равно как и любых туристических местностей. Оговоримся, что под достопримечательностями городов вслед за TripAdvisor.com мы понимаем объекты самого разного рода – архитектурные сооружения (уникаль-

ные исторические и современные здания, храмы, крепости, монастыри и т.д.), памятники, скульптуры, музеи, картинные галереи, выставки, театры, урбанистические комплексы (исторические центры городов, площади, скверы, улицы, фонтаны и т.д.), урбанистическо-природные комплексы (парки, зоопарки, аквапарки, набережные, пляжи, водоемы и горы, находящиеся в городских окрестностях и т.п.), площадки обозрения, экономические объекты, представляющие культурный интерес (порты, винодельческие хозяйства и т.п.), транспортные системы (вокзалы, метро, каналы и т.п.), рынки, супермаркеты, стадионы, развлекательные комплексы, ночные клубы, бары, кладбища и т.д. Значение достопримечательностей городов является двойким, равно как двойки и социальные функции туризма: с одной стороны, знакомство с ним, их восприятие обогащает личность человека, с другой – они служат основными объектами туристического потребления: именно они в первую очередь привлекают массы туристов, которые попутно тратятся на услуги отелей и ресторанов.

Рассчитаем по описанной выше методике привлекательность достопримечательностей крупных городов России (табл. 4). Города ранжированы по значению индикатора привлекательности в восприятии российских граждан (по степени убывания).

Таблица 4. Индикатор привлекательности достопримечательностей крупных городов России, баллы

Город	Для граждан России	Для иностранных туристов
Санкт-Петербург	1 040	864
Москва	957	611
Казань	311	15
Нижний Новгород	259	9
Екатеринбург	173	11
Новосибирск	110	7
Самара	99	4
Красноярск	91	5
Уфа	72	2
Ростов-на-Дону	68	2
Челябинск	64	1
Омск	46	2

Примечание. Рассчитано автором по [26]. Данные за 24.09.2018.

И для граждан России, и для иностранных туристов городом с наиболее интересными достопримечательностями является Санкт-Петербург, уверенно оттеснивший Москву на второе место, причем для зарубежных путешественников дистанция между ними более бесспорна. Обе столицы по уровню своей привлекательности вполне ожидаемо значительно опережают другие российские мегаполисы. Любопытна ситуация с третьим по привлекательности своих достопримечательностей городом России: в глазах россиян на этой позиции прочно обосновалась Казань, но иностранных туристов красоты столицы Татарстана оставляют равнодушными, и они едва выделяют ее в ряду других нестоличных крупных городов нашей страны. Живой интерес у граждан России вызывают достопримечательности Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска и других российских мегаполисов, на которые зарубежные гости опять-таки, как правило, склонны смотреть свысока.

Какие достопримечательности мегаполисов России вызывают наибольшее восхищение у наших соотечественников и иностранных туристов? Определим список наиболее привлекательных достопримечательностей 12 горо-

дов России, отнеся к ним те объекты, что получили 1 500 отзывов «превосходно» от граждан России и 500 аналогичных отзывов у иностранных туристов¹.

Исходя из предложенного критерия, в восприятии россиян самыми интересными достопримечательностями России являются Красная площадь (5 282 отзыва с оценкой «превосходно»), храм Спаса на Крови (4 762), Государственный Эрмитаж (4 700), Исаакиевский собор (3 567), московское метро (2 992), Третьяковская картинная галерея (2 881), музей-заповедник «Царицыно» (2 630), интерактивный музей «Гранд макет Россия» в Санкт-Петербурге (2 305), Петергоф (2 248), Дворцовая площадь (2 284), мечеть Кул-Шарифа (2 256), Никольский морской собор (1 756), музей-заповедник «Коломенское» (1 583) и Большой театр (1 529 с оценкой «превосходно»). Итак, в списке 14 наиболее привлекательных достопримечательностей России – 7 достопримечательностей Санкт-Петербурга, 6 – Москвы и всего одна нестоличная достопримечательность – главная мечеть Казани. Россияне, заметно ниже в целом по сравнению с архитектурными жемчужинами Санкт-Петербурга и Москвы оценивая достопримечательности нестоличных мегаполисов нашей страны, по всей вероятности, воспринимают мечеть Кул-Шарифа как островок восточно-мусульманской экзотики в России, как «наш маленький Стамбул» или «наш маленький Каир».

В восприятии иностранцев наиболее интересными достопримечательностями крупных городов России стали Государственный Эрмитаж (8 208 отзывов с оценкой «превосходно»), храм Спаса на Крови (6 456), Красная Площадь (4 220), московское метро (3 975), Петергоф (3 290), храм Василия Блаженного (3 255), Исаакиевский собор (2 198), Кремль (1 688), музей Фаберже (1 235), Оружейная палата в Кремле (1 121), Третьяковская картинная галерея (915), Большой театр (845), Дворцовая площадь (830), ГУМ (807), музеи Петергофа (744), Петропавловская крепость (716), Невский проспект (601) и Русский музей (555). Из 18 выделенных достопримечательностей – 10 петербургских и 8 московских. Как видим, зарубежные гости к Санкт-Петербургу не только проявляют больший интерес, чем к Москве, но и в большей степени, чем россияне, поднимают петербургские достопримечательности над московскими. Вместе с тем иностранные туристы в своем интересе к достопримечательностям городов России значительно больше ориентированы на обе столицы, чем россияне, и даже казанская мечеть Кул-Шарифа восхищает их намного меньше, чем жителей России.

Неравномерная концентрация привлекательности достопримечательностей российских мегаполисов в глазах и российских граждан и иностранных туристов обусловлена особенностями истории России и СССР, а именно столицентричностью – москвоцентричностью и петербургоцентричностью – ее прошлого. Власть, богатство, красота, наука, культура, искусство, роскошь, развлечения и элитарное потребление веками в значительной степени концентрировались в первую очередь в Москве и / или Санкт-Петербурге, и в этом Россия всегда превосходила практически все другие крупные страны мира. Память об этом прошлом запечатлена в высокой плотности размещения уникальных достопримечательностей в обеих столицах.

¹ По данным на 24.09.2018.

Примечательным является распределение типов достопримечательностей в обоих рейтингах. Россиян в наибольшей степени пленяет Красная площадь, которая воспринимается в первую очередь как символ державной мощи и место проведения главных военных парадов страны с 1918 г., а иностранцев – Эрмитаж, являющийся, с одной стороны, бывшим роскошным дворцом и резиденцией российских императоров, с другой – богатейшим российским музеем. На мой взгляд, здесь проявляется специфика менталитета граждан России, для которых очень важно, что их страна является великой державой с могущественными Вооруженными Силами. В то же время зарубежных туристов этот фактор оставляет преимущественно равнодушными. Об этом же говорит и то, что Дворцовая площадь Санкт-Петербурга, являющаяся символом былой державной и военной мощи России и местом проведения главных военных парадов страны до 1918 г. – подобное значение этой достопримечательности подчеркивается Александрийской колонной и зданием Главного штаба – вызывает намного большее восхищение граждан России, чем иностранных туристов. Примечательно, что Петропавловская крепость, выступающая как символ государственного величия самого раннего периода Российской империи, не привлекает столь значительное внимание россиян, даже не войдя в список ведущих достопримечательностей России в их восприятии, но она вызывает большой интерес у иностранцев, которые рассматривают ее как важный исторический и музейный объект. Аналогична, на мой взгляд, и природа их восхищения Оружейной палатой Кремля.

На основе полученных выше данных о значениях индикаторов привлекательности отелей, ресторанов и достопримечательностей 12 мегаполисов России мы можем по указанной выше методике подсчитать значения интегрального индикатора привлекательности этих городов (табл. 5). Города ранжированы по значению интегрального индикатора привлекательности городов для граждан России (по убыванию).

Таблица 5. Интегральный индикатор привлекательности городов России, баллы

Город	Для граждан России	Для иностранных туристов
Москва	382	191
Санкт-Петербург	349	219
Казань	220	11
Екатеринбург	158	11
Нижний Новгород	145	6
Новосибирск	96	7
Самара	83	3
Уфа	80	2
Красноярск	74	4
Ростов-на-Дону	68	3
Челябинск	67	2
Омск	33	2

Итак, с точки зрения граждан России, наиболее привлекательными городами нашей страны являются Москва и Санкт-Петербург. Им сильно уступает Казань, которая, в свою очередь, заметно опережает Екатеринбург и Нижний Новгород. Можно уверенно сказать, что Казань на место третьей туристической столицы России (в восприятии российских граждан) во многом вывели мечеть Кул-Шарифа и казанские рестораны. В глазах граждан

России Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород по степени своей привлекательности отчасти сопоставимы с обеими столицами.

С точки зрения иностранных туристов самым привлекательным городом России является Санкт-Петербург, который уверенно отодвинул Москву на второе место, что обусловлено, как мы видели, превосходством петербургских достопримечательностей и ресторанов над своими московскими аналогами. В глазах иностранцев обе столицы по привлекательности очень значительно превосходят все другие мегаполисы России, и для них Казань, Екатеринбург, Новосибирск и другие российские мегаполисы не идут ни в какое сравнение с Москвой и Санкт-Петербургом. Можно сказать, что для иностранных туристов Россия – это в первую очередь две ее столицы.

Заключение

Нами было осуществлено эмпирическое исследование привлекательности крупных городов России. Нисколько не претендуя на окончательность и бесспорность полученных результатов, мы полагаем, что существует определенная структура предпочтений российских и зарубежных туристов, посещающих мегаполисы нашей страны. Мы можем с определенной долей условности сказать, что формула распределения счастья в туристическом пространстве России для наших соотечественников выглядит следующим образом: переночевать в Москве, погулять по Петербургу и поесть в Казани. В отличие от этого иностранные туристы в море туристической инфраструктуры России предпочитают главным образом отели Москвы, а также достопримечательности и рестораны Санкт-Петербурга.

Опираясь на результаты настоящего исследования, мы можем сделать вывод, что для дальнейшего развития международного и внутреннего туризма в России необходима активизация потенциала привлекательности мегаполисов России. Помимо непрямого дальнейшего культивирования туристических практик, связанных с наслаждением существующими достопримечательностями, необходимы воссоздание исторических и инкорпорирование в урбанистическое пространство страны новых, доселе не существовавших достопримечательностей, а также подъем качества предлагаемых услуг в индустрии общественного питания и индустрии гостеприимства. Если это будет сделано, то Россия, опираясь на достоинства отелей, ресторанов и достопримечательностей своих городов, сможет в перспективе прочно закрепиться в первой десятке ведущих туристических держав мира и превратить туристическую отрасль в один из драйверов своей экономики.

Литература

1. *UNWTO*. UNWTO Tourism Highlights: 2017 Edition. URL: <https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284419029> (accessed 23.10.2018) (accessed: 15.10.2018).
2. *UNWTO*. UNWTO Tourism Highlights. 2018 Edition. URL: <https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284419876> (accessed: 22.10.2018).
3. *UNWTO*. Technical Manual № 2. Collection of Tourism Expenditure Statistics. URL: <https://web.archive.org/web/20100922120940/http://pub.unwto.org/WebRoot/Store/Shops/Infoshop/Products/1034/1034-1.pdf> (accessed: 22.10.2018).
4. *Goeldner Ch.R., Brent Ritchie J.R.* Tourism. Principles, Practices, Philosophies. Twelfth Edition. Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., 2012.
5. *Aramberri J.* The Host Should Get Lost. Paradigms in the Tourism Theory // *Annals of Tourism Research*. 2001. Vol. 28, № 3. P. 738–761.

6. *Controversies in Tourism* / ed. by O. Moufakkir and P.M. Burns. Oxfordshire : CAB International, 2012.
7. *Global tourism* / ed. by W.F. Theobald. Third Edition. Burlington : Elsevier Inc., 2005.
8. *Responsibly Tourism. Concepts, Theory and Practice* / ed. by D. Leslie. Oxfordshire : CAB International, 2012.
9. Старовойтенко О.А. Теория туризма. Москва : Изд-во Моск. психол.-соц. ун-та ; Воронеж : МОДЭК, 2012.
10. Туризм и рекреация на пути устойчивого развития : отечественные и зарубежные исследования / под ред. В.И. Кружалина и А.Ю. Александровой. М. : Советский спорт, 2008.
11. *Second Global Report on Gastronomy Tourism*. World Tourism Organization (UNWTO). Madrid : UNWTO, 2017.
12. *Kulinarischer Tourismus und Weintourismus*. Culinary and Wine Tourism Conference 2015. Wien : Springer Gabler, 2017.
13. *Strategic Winery Tourism and Management. Building Competitive Winery Tourism and Winery Management Strategy* / ed. by K. Lee. Boca Raton : Apple Academic Press, 2016.
14. Bookman M.Z., Bookman K.R. Medical Tourism in Developing Countries. New York : Palgrave MacMillan, 2007.
15. Cabezas A.L. Economies of desire: sex and tourism in Cuba and the Dominican Republic. Philadelphia : Temple University Press, 2009.
16. Kibicho W. Sex Tourism in Africa. Kenya's Booming Industry. Farnham : Ashgate, 2009.
17. Cohen E. The Sociology of Tourism: Approaches, Issues, and Findings // *Annual Review of Sociology*. 1984. № 10. P. 373–392.
18. MacCannel D. The Tourist. A new theory of the leisure class. Berkeley : University of California Press, 1999.
19. Lohmann G., Panosso Netto. A. Tourism Theory. Concepts, Models and Systems. Oxfordshire : CAB International, 2017.
20. Scott N., Baggio R., Cooper C. Network analysis and Tourism. From Theory to Practice. Toronto : Channel View Publications, 2008.
21. Urry J. The Tourist Gaze. Second Edition. London : SAGE, 2002.
22. Urry J., Larsen J. The Tourist Gaze 3.0. London : SAGE, 2011.
23. Урри Дж. Мобильности. М. : Праксис, 2012.
24. UNWTO. UNWTO Tourism Highlights. 2007 Edition. URL: <https://www.unwto.org/doi/book/10.18111/9789284413539> (accessed: 21.10.2018).
25. UNWTO. UNWTO Tourism Highlights. 2012 Edition. URL: <https://www.unwto.org/doi/book/10.18111/9789284414666> (accessed: 21.10.2018).
26. TripAdvisor (2018). Latest reviews. Lowest prices. URL: <https://www.tripadvisor.com/> (accessed: 24.09.2018).
27. Глебова И.С. Анализ туристической привлекательности города и возможности ее повышения (на примере г. Казани) // Ученые записки Казанского государственного университета. Сер. Гуманитарные науки. 2010. Т. 152, кн. 4. С. 214–227.
28. Степанова С.В. Трансграничные туристские маршруты: возможности Северо-Запада России // Балтийский регион. 2017. № 4. С. 129–151.
29. Нездойминов С.Г. Брендинг туристического региона // Вестник Пермского университета. Сер. Экономика. 2014. № 4 (23). С. 78–85.
30. Рогач О.В., Кузьмина Ю. К вопросу о туристической привлекательности муниципальных образований в России // Материалы Афанасьевских чтений. 2018. № 4 (25). С. 20–24.
31. Фролова Е.В., Кабанова Е.Е. Развитие туристической привлекательности российских территорий: современные тенденции и управленческие практики // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2016. № 1 (16). С. 153–169.
32. Игнатьев А.В. Российский туризм в эпоху глобализации: стратегия, конкурентоспособность, перспективы. М. : Палеотип, 2008.
33. Овчаров А.О. Туристический комплекс России. Тенденции, риски, перспективы. М. : ИНФРА-М, 2009.
34. Kuusik A., Nilbe K., Mehine T., Ahas R. Country as a free sample: the ability of tourism events to generate repeat visits. Case study with mobile positioning data in Estonia // *Procedia – Social and Behavioral Sciences*. 2014. № 148. P. 262–270.
35. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2018. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/afc8ea004d56a39ab251f2bafc3a6fce (дата обращения: 28.10.2018).

Azat B. Rakhmanov, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation).

E-mail: azrakhmanov@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 49. pp. 124–139.

DOI: 10.17223/1998863X/49/13

THE STRUCTURE OF ATTRACTIVENESS OF RUSSIAN CITIES: TO SPEND A NIGHT IN MOSCOW, TO TAKE A WALK IN SAINT PETERSBURG AND TO HAVE A MEAL IN KAZAN

Keywords: global society; tourism; city; hotel; restaurant; sights; Russia.

Tourism is one of the most important forms of human migration in the modern world. International tourism is also one of the key ways to form a global society. Tourism is an important means of personal development and, at the same time, an important branch of the global economy. There are very different levels of development of the tourist industry in different countries of the world. Tourist superpowers of our age are France, the USA and Spain. In recent years, Russia has failed to reach the top ten leading tourist countries of the world; thus, the task of enhancing its tourist potential is an urgent one. The purpose of tourist routes and tourist hubs are metropolises, and their attractiveness is of great importance in terms of increasing tourist flows. The main components of the structure of the attractiveness of cities are the charm of their hotels, restaurants and sights. Based on empirical data, the author examines the perception of the main components of the tourist infrastructure of 12 megalopolises of Russia by Russian citizens and foreign tourists. The author analyzes Moscow, St. Petersburg, Novosibirsk, Yekaterinburg, Nizhny Novgorod, Kazan, Samara, Omsk, Chelyabinsk, Rostov-on-Don, Ufa and Krasnoyarsk. Based on the methodology proposed in the article, the values of indicators of the attractiveness of hotels, restaurants and sights, as well as the integral indicator of the attractiveness of Russian megalopolises are calculated. In the opinion of Russian citizens, the best hotels in their country are in Moscow, St. Petersburg and Kazan, the most attractive restaurants are in Kazan, St. Petersburg and Moscow, and the most interesting sights are in St. Petersburg, Moscow and Kazan. In the perception of Russian citizens, the most attractive metropolises of Russia in a decreasing order are St. Petersburg, Moscow, Kazan, Yekaterinburg and Nizhny Novgorod. There are important differences in the perception of the attractiveness of Russian cities by citizens of Russia and foreign tourists. Foreign guests highly appreciate Moscow and St. Petersburg, but other Russian megalopolises are of much less interest for them. The most prominent sights of Russia in the perception of Russian citizens are Red Square in Moscow, the Church of the Savior on Spilled Blood in St. Petersburg and the State Hermitage Museum in St. Petersburg. International tourists appreciate above all the State Hermitage Museum, the Church of the Savior on Spilled Blood and Red Square.

References

1. World Tourism Organization. (2017) *UNWTO Tourism Highlights: 2017 Edition*. Madrid: UNWTO. DOI: <https://doi.org/10.18111/9789284419029>
2. World Tourism Organization. (2018) *UNWTO Tourism Highlights. 2018 Edition*. Madrid: UNWTO. DOI: 10.18111/9789284419876
3. World Tourism Organization. (1995) *Technical Manual. 2. Collection of Tourism Expenditure Statistics*. [Online] Available from: <https://web.archive.org/web/20100922120940/http://pub.unwto.org/WebRoot/Store/Shops/Infoshop/Products/1034/1034-1.pdf>. (Accessed: 22nd October 2018).
4. Goeldner, Ch.R. & Brent Ritchie, J.R. (2012) *Tourism. Principles, Practices, Philosophies*. 12th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.
5. Aramberri, J. (2001) The Host Should Get Lost. Paradigms in the Tourism Theory. *Annals of Tourism Research*. 28(3). pp. 738–761. DOI: 10.1080/14766825.2014.976228
6. Moufakkir, O. & Burns, P.M. (eds) (2012) *Controversies in Tourism*. Oxfordshire: CAB International.
7. Theobald, W.F. (2005) *Global Tourism*. 3rd ed. Burlington: Elsevier Inc.
8. Leslie, D. (2012) *Responsibly Tourism. Concepts, Theory and Practice*. Oxfordshire: CAB International.
9. Starovoytenko, O.A. (2012) *Teoriya turizma* [Theory of Tourism]. Moscow: Moscow Psychological and Social University; Voronezh: MODEK.
10. Kruzhalin, V.I. & Aleksandrova, A.Yu. (eds) (2008) *Turizm i rekreatsiya na puti ustoychivogo razvitiya: Otechestvennye i zarubezhnye issledovaniya* [Tourism and recreation on the path of sustainable development: Russian and foreign studies]. Moscow: Sovetskii sport.

11. World Tourism Organization (UNWTO). (2017) *Second Global Report on Gastronomy Tourism*. Madrid: UNWTO.
12. Wagner, D., Mair, M., Stöckl, A.F. & Dreyer, A. (eds) (2017) *Kulinarischer Tourismus und Weintourismus. Culinary and Wine Tourism Conference 2015*. Vienna: Springer Gabler.
13. Lee, K. (2016) *Strategic Winery Tourism and Management. Building Competitive Winery Tourism and Winery Management Strategy*. Boca Raton: Apple Academic Press.
14. Bookman, M.Z. & Bookman, K.R. (2007) *Medical Tourism in Developing Countries*. New York: Palgrave MacMillan.
15. Cabezas, A.L. (2009) *Economies of desire: sex and tourism in Cuba and the Dominican Republic*. Philadelphia: Temple University Press.
16. Kibicho, W. (2009) *Sex Tourism in Africa. Kenya's Booming Industry*. Farnham: Ashgate.
17. Cohen, E. (1984) The Sociology of Tourism: Approaches, Issues, and Findings. *Annual Review of Sociology*. 10. pp. 373–392. DOI: 10.1146/annurev.so.10.080184.002105
18. MacCannel, D. (1999) *The Tourist. A New Theory of the Leisure Class*. Berkeley: University of California Press.
19. Lohmann, G. & Panosso Netto, A. (2017) *Tourism Theory. Concepts, Models and Systems*. Oxfordshire: CAB International.
20. Scott, N., Baggio, R. & Cooper, C. (2008) *Network analysis and Tourism. From Theory to Practice*. Toronto: Channel View Publications.
21. Urry, J. (2002) *The Tourist Gaze*. 2nd ed. London: SAGE.
22. Urry, J. & Larsen, J. (2011) *The Tourist Gaze 3.0*. London: SAGE.
23. Urry, J. (2012) *Mobil'nosti [Mobilities]*. Translated from English. Moscow: Praksis.
24. World Tourism Organization (UNWTO). (2007) *UNWTO Tourism Highlights. 2007 Edition*. [Online] Available from: <https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284413539>.
25. World Tourism Organization (UNWTO). (2012) *UNWTO Tourism Highlights, 2012 Edition*. Madrid: UNWTO. DOI: 10.18111/9789284414666.
26. TripAdvisor. (2018) *Latest reviews. Lowest prices*. [Online] Available from: <https://www.tripadvisor.com/>. (Accessed: 24th September 2018)
27. Glebova, I.S. (2010) Analysis of the tourist attractiveness of the city and the possibility of its increase (a case study of Kazan). *Uchenye zapiski Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Gumanitarnye nauki – Proceedings of Kazan University. Humanities*. 152(4). pp. 214–227. (In Russian).
28. Stepanova, S.V. (2017) Cross-border tourist routes: The potential of Russia's North- West. *Baltiyskiy region – Baltic Region*. 4. pp. 129–151. (In Russian). DOI: 10.5922/2079-8555-2017-4-7
39. Nezdoyimov, S.G. (2014) Branding of the tourist region. *Vestnik Permskogo universiteta. Seriya: Ekonomika – Perm University Herald. Economy*. 4(23). pp. 78–85. (In Russian).
30. Rogach, O.V. & Kuzmina, Yu. (2018) K voprosu o turisticheckoy privlekatel'nosti munitsipal'nykh obrazovaniy v Rossii [On tourist attractiveness of Russian municipalities]. *Materialy Afanas'evskikh chteniy*. 4(25). pp. 20–24.
31. Frolova, E.V. & Kabanova, E.E. (2016) The development of tourist attractiveness of Russian territories: modern trends and management practices. *Ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz – Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast*. 1(16). pp. 153–169. (In Russian). DOI: 10.15838/esc/2016.1.43.10
32. Ignatiev, A.V. (2008) *Rossiyskiy turizm v epokhu globalizatsii: strategiya, konkurentosposobnost', perspektivy* [Russian tourism in the era of globalization: strategy, competitiveness, prospects]. Moscow: Paleotip.
33. Ovcharov, A.O. (2009) *Turisticheskii kompleks Rossii. Tendentsii, riski, perspektivy* [Tourist complex of Russia. Trends, risks, prospects]. Moscow: INFRA-M.
34. Kuusik, A., Nilbe, K., Mehine, T. & Ahas, R. (2014) Country as a free sample: the ability of tourism events to generate repeat visits. Case study with mobile positioning data in Estonia. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*. 148. pp. 262–270. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.07.042
35. Federal State Statistics Service (Rosstat) of the Russian Federation. (n.d.) *Chislennost' naseleniya Rossiyskoy Federatsii po munitsipal'nykh obrazovaniyam na 1 yanvarya 2018* [The population of the Russian Federation by municipalities as of January 1, 2018]. [Online] Available from: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/afc8ea004d56a39ab251f2bafc3a6fce. (Accessed: 28th October 2018).

УДК 392.6+390.4

DOI: 10.17223/1998863X/49/14

К.С. Шаров

ЭКСТИМНОСТЬ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ СИМВОЛИЧЕСКОГО ОБМЕНА В ПОСТСЕМЕЙНЫХ НЕОЛИБЕРАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВАХ: ОСОБЕННОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ФЕНОМЕНА И СПЕЦИФИКА ЕГО ФОРМ

Обсуждается новая ситуация в трансформировавшейся в современных неолиберальных сообществах интимности. Автор предлагает, развив идею и терминологию Ж. Лакана, называть такую новую интимность «экстимностью» (extimité). Описаны основные характеристики данного феномена экстимности как разновидности нового, принципиально асоциального и враждебного по отношению к социальному гендерного символического обмена.

Ключевые слова: интимность, экстимность, гендер, постсемейность, симулякры любви.

Введение

Следует признать, что как в России, так и на Западе мы сейчас живем в эпоху постсемейности, когда традиционный социальный институт семьи находится в кризисном состоянии, а многими уже и вовсе отвергается, и отношения интимности целиком переходят в сферу символического. Я не говорю – хорошо это или плохо; моя цель вообще далека от морализаторства.

Я предлагаю в данной статье сосредоточиться на некоторых базовых особенностях нового символического обмена в гендерной сфере в современном постмодернистском обществе. В первую очередь выводы, полученные в работе, будут относиться, конечно, к европейскому обществу. К традиционным сообществам они могут быть применимы в меньшей степени; так, в Индии, Китае, мусульманских странах семейность до сих пор, в 2010-х гг., продолжает оставаться в основном классической и лишь в малой степени является уделом симулятивного обмена. Однако за счет высокого уровня глобализации в области культуры мои выводы будут справедливы для стран, на которые европейская культура оказала значительное влияние: России, США, стран Британского содружества, многих государств Латинской Америки.

При внимательном рассмотрении оказывается, что интимность в эпоху постсемейности становится, по словам Жака Лакана, «экстимностью» (extimité) [1; 2. С. 249–253], а по утверждению Жана Бодрийяра, она переходит из сферы сугубо личного в сферу симулятивных практик, доступных всем. Сразу оговорюсь, что я в данной статье буду использовать термин «экстимность» не совсем в лакановском смысле. У Жака Лакана и Жака-Аллена Миллера экстимность – это «внешнее бессознательное», «бессознательное снаружи», intersубъективная структура, отражающая интимные переживания [2. С. 255; 3]. В исходном лакановском понимании экстимность – это одна из вершин психологического треугольника *Extimité–Intimité–Estime de soi*.

Я предлагаю использовать термин в более широком смысле как совокупность практик по вовлечению отношений интимности в сферу визуально доступного, сознательно показного и целенаправленно демонстрируемого. Таким образом, я предлагаю посмотреть, как трансформируется экстимность, будучи выведенной за пределы плоскости этого основополагающего психологического треугольника.

Цель статьи – проанализировать особенности экстимности как разновидности символического обмена в постсемейных неолиберальных обществах. Символический обмен я буду понимать в бодрийеровском смысле, при этом экстимность в условиях такого символического обмена становится неким продуктом знакового производства и потребления, обмена и торговли и начинает заменять собой классическую интимность. Говоря о симулякрах экстимности, я буду иметь в виду симулякры, генерируемые в рамках социального и психологического воспроизводства самой экстимности. Я остановлюсь как на психологических, так и на социальных особенностях экстимности, а также вкратце рассмотрю ее формы.

Нагота как симулякр современной экстимности

Такое несколько пересмотренное определение лакановского термина, само по себе достаточно сильное, становится более понятным, если мы вспомним, что даже самые знаменитые этнологи К. Леви-Стросс [4], К. Леви-Брюль [5] и Дж. Мердок [6] в своих трудах отмечают, что у всех исследованных ими народов, даже ведущих наиболее традиционный образ жизни, принято ритуально-символически и просто физически маскировать, если не скрывать, свою наготу. Даже в джунглях средней Индии, где некоторые из индийцев практически всю сознательную жизнь предаются философским занятиям нагими, не считая одежду ценностью (почему они и называются гимнософистами), у них принято носить пояса и набедренные повязки, хотя все прочие части тела остаются обнаженными [7. С. 322].

Наоборот, в современном «постсемейном» социуме, как на Западе, так и в России, обнаженность кодифицируется в качестве перманентного симулякра сексуальности [8] – я не говорю «символа», поскольку полноправным символом она была бы, если бы выступала в качестве антипода одежды. Но в силу того, что сегодня обнаженность сама начинает позиционироваться в качестве одежды через символическое воспроизводство культуры, осуществляемое массмедиа, она становится настоящим симулякром, реферирующим на отсутствующую реальность. Этот симулякр полностью интегрирован в символическую систему новой «экстимности» не как инструмент возбуждения желания, а как кодифицированная манифестация свершений в области культуры, достигнутых постсемейными отношениями. Логика проста: если семейный уклад в культуре прочно ассоциируется со строгим поведением¹, а такое поведение, в свою очередь, с определенными нормами стиля в одежде, то обнаженность должна репрезентировать сексуальную раскрепощенность и свободные интимные отношения – на этом была построена вся «сексуальная революция» семидесятых. Таким образом, мы имеем опосредованную семио-

¹ Например, в США, несмотря на открыто декларируемый неолиберализм во многих сферах общественной жизни, до сих пор личность, желающую занять государственный пост, тщательно проверяют на хорошее поведение в семейных отношениях и отсутствие сексуальной распущенности.

тическую цепочку «семья – стиль жизни – стиль одежды (или, соответственно, отрицание одежды)».

Человечество неоднократно сталкивалось с позиционированием обнаженности в качестве культурного знака – свидетельством этому являются описания ряда языческих культов. Здесь можем упомянуть известные в культуре греческие вакханалии, даосские сатурналии, индийские эротические культы, еврейские «высоты» в Топете, культ вуду и прочие хорошо известные примеры. Наибольшего результата знаковое использование обнаженности достигалось, когда обнаженность в качестве референта вседозволенности противопоставлялась стыдливости в одном и том же знаковом и физическом пространстве. Хорошим примером этому может являться римское поклонение Целесте, мифологической покровительнице чистоты. Августин Блаженный со слов Саллюстия описывает, что «перед самым капищем Целесты, где был водружен ее идол, мы, стекаясь из разных мест, могли наблюдать совершавшиеся игры, и переводя взор, видели в одном месте торжество распутства, в другом – богиню-девственницу; ее коленопреклоненно чтили, и перед нею же совершали непотребство» [9. С. 99]. Таким сведением воедино обнаженности и стыдливых одеяний, сексуальной распущенности и скромности жрецы добивались утверждения культурной антитезы семейного уклада. Целеста, «отмеченная чистотой» и являвшаяся символическим укором тем, кто жил в семье, вполне «допускала» распутные игрища мимов, обозначенные обнаженностью.

Личное и визуально открытое пространство в массмедиа

В современных массмедиа, как и в древнеримском языческом храме Целесты, создается символическое пространство постсемейной интимности. Однако дело оказывается далеко не только в обнаженности как симулякре стыдливости. Сама интимность сейчас становится «экстимностью», трансформируется в публичность. Зигмунт Бауман говорит, что социальное становится поглощенным частным, *agora* превращается в *oikos* [10. Гл. 15], и он совершенно точно отражает трансформацию социальной действительности. В сфере же интимных отношений происходит двойная подмена смысла: во-первых, разрушается традиционная структура гендерно-властных отношений, а во-вторых, личная жизнь перестает быть личной и выставляется напоказ, вовлекаясь в сферу не столько *социального познания*, сколько *социальной визуализации*.

Сейчас у человека личное входит в сферу визуального, доступного всем; однако сфера визуального – это не социальное измерение в традиционном понимании. Это – псевдосоциальная интимность, которая обладает способностью переконструировать идентичность человека. В «Истории сексуальности» Мишель Фуко отмечает, что структура желания у нас выстраивается исторически с помощью социальной власти и репрезентируется через бессознательное [11. С. 118]. Наши действия в сфере интимности, считает он, конструируются исторической реальностью с помощью дискурсивных матриц, так же как и социальное отношение к сумасшествию [12]. Эти дискурсы размножаются не помимо власти или вопреки ей, но именно там, где эта власть осуществлялась и именно как средство ее осуществления. Такая «размытая»,

децентрализованная социальная власть сейчас существует в пространстве массмедиа; именно она превращает интимность в экстимность.

Сейчас симулякры данной экстимности конструируются атемпорально. Все наше желание становится кодифицированным с помощью средств массмедиа; наше желание делается практически полностью управляемым и манипулируемым. Наши поступки, аффекты, страсти, эмоции, вообще все чувства в сфере интимности заранее «приручены» безличностными силами массмедиа; нам предлагается комплекс генерализованных и вневременных «прозрений», демонстрирующих структуру нашей чувственности по отношению к будущему.

Индустрия развлечений, элиминация сферы частного и новые гендерные статусы

Если мы захотим скрыться от глаз посторонних в сфере наших чувств и любовных переживаний, то нам это вряд ли удастся, потому что нам этого не разрешат сделать. Сама сфера частного, которая традиционно противопоставлялась сфере общественного, или публичного, в современной ситуации становится нарочито визуализированной. Вспомним в данном контексте голливудский *sci-fi* фильм «Сфера» (2017). Героиня Эммы Уотсон инициирует социальное движение «полной открытости». На человека помещается видеокамера, которая в режиме реального времени посылает в Интернет изображение всего того, что с человеком происходит. Данный социально-философский ход изображается в фильме как безусловное добро, которое поможет побороть пороки и болезни социума: преступления, несправедливость, ложь, умалчивание информации, аферы и мошенничества, добро, противопоставленное «злу» героя Тома Хэнкса, который утаивает от людей важную информацию о частной жизни других. Посыл фильма, как и романа Дэйва Эггерса, по которому он снят, достаточно ясен. Если все люди вовлекутся в сферу экстимности, перестанут иметь собственное личное пространство, недоступное другим, то будет создано справедливое общество без болезней и дефектов.

Также весьма любопытна репрезентация симулякров современной экстимности в сфере видеоигр. В современных видеоиграх гендерная тема становится одной из наиболее важных: играющий может выбирать сексуальную ориентацию своего героя в пространстве игры, а также любых партнеров; быть представителями нетрадиционных гендерных идентичностей в виртуальном мире игры становится престижно и выгодно, за что разработчики игры поощряют играющего уровнями, очками и баллами. Самое важное – это то, что в электронных играх современности все отчетливее становится воспроизводимый компаниями-разработчиками и компаниями-дистрибьютерами стереотип, согласно которому не существует частного пространства, закрытого от посторонних глаз: в контексте нового гендерного символического обмена мы не подсматриваем за частной жизнью других, а наблюдаем, при этом даем другим право наблюдать за нами [13]. Более не существует визуальных табу и запретов, а примат индивидуального желания кодифицируется как должное общественное состояние.

Времена, когда виртуальный герой видеоигр (неважно – приставочных или компьютерных) просто ходил и стрелял, остались в прошлом. Теперь он также вовлечен в сферу интимности, понимаемой как экстимность. В видео-

игре игрок может выбрать ориентацию своего героя и партнеров. Многие геймеры признаются, что их необыкновенно прельщает перспектива испытать в виртуальном мире то, чего они не могут позволить себе в мире реальном, но в основном физиологию виртуальных отношений, демонстрируемых всем.

Разумеется, симулятивный обмен экстимности в видеоиграх так же, как и в реальности, воспроизводит дискурс недолговечности и аморфности любовных отношений. Торговля своим телом как для героев женского пола, так и мужского, а также героев нетрадиционной ориентации, изображается в играх как наиболее простой и быстрый способ добиться своей цели и получить от человека желаемое, а потом незаметно «испариться», пока случайный партнер не заговорил о более длительных отношениях. Лидирует здесь, безусловно, Геральт, он же Ведьмак, из серии игр по романам Анджея Сапковского *Witcher* (Ведьмак).

В играх до 2005–2007 гг. любовные сцены не изображались как таковые, будучи замаскированными или вынесенными за пределы экрана, однако теперь разработчики представляют взорам геймеров самые визуально открытые анимированные ролики, не оставляя места никакой фантазии. Приведу пример. Игра 1990-х: Дюк Ньюкем, герой одноименной игры, уничтожив всех врагов и став образцовым героем, в конце игры стучится в заветную дверь, которую открывает блондинка, дверь закрывается, и Дюк, по-видимому, получает свою награду, но об этом геймер может только догадываться. Игра 2010-х: геймер полностью контролирует весь процесс, нажимая на джойстик или клавиатуру компьютера, а также может менять ракурс и увеличение камеры, чтобы было видно все, как на ладони.

Здесь присутствует символическое пространство стриптиза, мужской и женской обнаженности, софтвер и хардкор в подробной и мельчайшей детализации. Как и в символическом обмене порнографии в социальном измерении, о котором писал в «Соблазне» Жан Бодрийяр [14. Гл. 6], стереоскопия и полифония семиотической порнографии со всеми классическими порнографическими видео- и аудиоатрибутами становятся «знаком качества» современных игр, в которых кодифицируются маркеры нового гендерного символического обмена, согласно которым женщины предстают шлюхами, а мужчины – промискуитетными существами. Любопытно, что в игре *Watch Dogs* («Сторожевые псы») одежда всех женских образов, а их, учитывая неперсонализированные образы, в пространстве игры несколько сотен, воспроизводит одежду чикагских проституток во время работы на улицах. Принципиально доступная всем взорам симуляция отношений любви (наличие симулякров экстимности) – так современные игры описывают любовь. В этом отношении игры, как и порнофильмы, – конечно же, суррогат, однако, в отличие от объектов порноиндустрии, менее контролируемый и из-за этого сильнее влияющий на психологическое измерение бытия. Они могут представлять механизм глубокого перекодирования психики.

Наряду с кинематографом и индустрией видеоигр подобная ситуация наблюдается также на телевидении в различных телешоу. Мы становимся свидетелями того, что символический обмен, транслируемый в таких развлекательных шоу, как «Дом-2», «За стеклом», «Последний герой», прочно входит в поле гендерной коммуникации: множество женщин в современной Рос-

сии начинают вести жизнь куртизанок, свободных от семьи, детей и любых обязательств, используя очередного мужчину в качестве «трамплина» для вертикальной социальной мобильности.

Наши чувства нам диктуются, наш выбор делается за нас, наша сексуальность кодифицируется и легализуется в ряде предписаний, сходных с предписаниями поклонения языческим божествам: правила вроде бы и не обязательны для исполнения, но в то же время люди верят, что, умиловив злых божеств согласно существующему кодексу, они получают тайно желаемое. Перестало быть *модным* иметь классическую семью, и мы начинаем задумываться: а нужна ли она нам, или без нее проще и лучше жить; брак не пользуется популярностью, и мы чуть ли не соглашаемся, что лучше жить с *партнером* – не с мужем или женой, но с некоторым безликим партнером, с которым мы можем в любой момент отношения разорвать.

Во все времена человек имел свое «святое святых», как и иудейская Скиния Завета, – свой очаг, свой альков, свое ложе. Теперь же все это оказывается *там*, «за стеклом» – а может быть, и *здесь*, «за стеклом».

Не только физиологические отношения мужчины и женщины, но и вообще вся сфера личной жизни и частного психологического пространства становится привнесенной в пространство визуально открытого, создаваемое с помощью массмедиа. Материнство как одна из главных составляющих семьи сейчас таким же образом лишается своей феноменальности и развоплощается, будучи принесенной в жертву симулякрам современной культуры – от этого появляется движение *child-free*¹ женщин, которые на всю жизнь сознательно отказываются от возможности иметь детей, подвергаясь определенной операции. Жан Бодрийяр в «Соблазне» говорит, что «в нашей культуре в сексуальность пытаются облечь все без исключения, даже стиральные машины» [14], а Ролан Барт добавляет, что «сексуальность сейчас присутствует везде, только не там, где ей положено; а там – одна иллюзия желания» [15. С. 138]. В массмедиа генерируется мысль, что мы сами об интимности не имеем никакого представления, и нам нужно все подробно разъяснить, разложить «по полочкам». Мы, словно первоклассники, должны пройти школу эротического ликбеза, чтобы «по-настоящему» и «правильно» войти в сферу интимного, а по сути – экстимного, внешнего, доступного взорам праздных глаз и ушей.

Символический обмен постсемейной экстимности

Каковы социальные аспекты такой экстимности?

Как утверждают отечественные исследователи М. Кокарева и М. Котовская на основании данных социологических опросов, около 70% российских мужчин предпочитают, чтобы их партнерши имели множество интимных связей еще до них, а около 30% респондентов заявили, что не будут возражать, если их партнерша будет иметь еще партнера (партнеров) на стороне, это только придаст «пикантность» их отношениям, при этом сама семейственность как стиль бытия отвергается («кому сейчас нужен штамп в паспорте?») [16]. В противном случае они воспринимают женщин как «холодных», «неопытных», «фригидных», «недоступных», а самое главное – «никому не нужных», а если те настаивают на создании традиционной семьи, то

¹ Свободная от детей (англ.).

такие мужчины в большинстве своем склонны сразу разрывать сложившиеся отношения [17]. В 2010-е гг. в России практически 2/3 отношений распадаются из-за настойчивых просьб женщин о браке, которые мужчины отвергают [Там же]. Таким образом, в России в настоящее время наблюдается усиление символического обмена экстимности, формирующегося в Западной Европе с семидесятых годов и явно трансгрессивного по отношению к социальному [18].

Энтони Гидденс в своей «Трансформации интимности» умалчивает о невероятной личностной индетерминированности современной интимности: ни для мужчины, ни для женщины уже не важна *личность* партнера, которого они могут совершенно не уважать. Для них играют роль только гендерная идентичность и биологическая предрасположенность. По замечанию классиков, у настоящей любви всегда есть постоянно следующая за ней мрачная тень – ревность; и чем сильнее человек любит, тем сильнее он ревнует [19. С. 142]. Отсюда, вероятно, и произошел расхожий афоризм «от любви до ненависти всего один шаг». Священномученик Мефодий Патарский пишет так: «Пока мужчина не полюбил женщину, он окружен мужчинами и женщинами; когда он нашел свою невесту, он окружен людьми...» [20. Т. 3. С. 206] Этот момент, когда один человек находит другого – единственного и неповторимого, наверное, и есть время, когда впервые перед своим Я поднимается тема окончательной устойчивости в отношениях – пока еще проблематичной, потому что, по словам Лакана, то, что было увидено, пережито в какое-то мгновение, конечно, не останется постоянным достоянием двоих, – но устойчивости вполне надежной и легитимной [1. С. 32].

Все мы, вероятно, видели, замечали в своей жизни, как несколько человек живут, работают, встречаются постоянно, и среди этих людей какие-нибудь двое друг друга и не замечают до какого-то определенного дня, когда вдруг они взглянут друг на друга и увидят то, чего раньше не видели, чего никто не увидел. Они видят один другого как единственных, как неповторимых индивидуальностей. По Лакану, это – знак классической интимности, узнавание себя в другом. В канонах современной посмодернистской экстимности полностью отторгается такое признание индивидуальности, следовательно, отрицается и понимание любви в традиционном смысле и вместе с тем проблематизируется существование ревности. Знаменитый представитель словенской школы психоанализа Младен Долар (Mladen Dolar) в этом контексте говорит о том, что в настоящей интимности существует дискурс первой встречи: «жизнь раньше не имела смысла, но теперь внезапно она его обретает» [21. С. 134], «случайная встреча имеет чудесные последствия, она становится основополагающим моментом, который способен целиком изменить субъектов» [Там же. С. 132]. Но в канонах современной посмодернистской экстимности полностью отторгается такое признание индивидуальности, следовательно, отрицается и понимание любви в традиционном смысле и вместе с тем проблематизируется существование ревности. Ревность, как отмечает английский психоаналитик Динора Пайнз, признается «глупым» и «несостоятельным» чувством, а также «совершенно не соответствующим современному пониманию любовной реальности» [22. С. 43].

Если мы становимся свидетелями тому, что один партнер склонен «одалживать» другого партнера «на время», отдавая его / ее в другие руки,

а потом жить с ним / ней снова (так называемое движение «свингеров», зародившееся в США после Второй мировой войны), т.е. тому, что многие любовные пары производят обмен партнерами по взаимному согласию, тому, что составляются календари любви: сегодня у меня по расписанию этот / эта, а завтра – тот / та (движение интимной темпоральности, характерное для Голландии и скандинавских стран), тому, что в спальнях устанавливают онлайн-видеокамеры, транслирующие в Интернет (модное в США современное движение «сексуальных вуайеристов»), тому, что большая часть «любви» принципиально не длится более одного вечера (культура ночных клубов), тому, что от партнера отказываются сразу же, как только он перестает «удовлетворять» другого, – думаю, это больше чем знаки простой распушенности; это как раз и говорит о наступлении эры экстимности, превращения частного в сферу общедоступных визуальных симулякров.

Важная особенность постсемейной экстимности – ее принципиальная нестабильность. Люди веками стремились к прочным и стабильным супружеским отношениям, но сейчас ситуация принципиально иная – мы добровольно отказываемся от этой детерминированности интимных отношений, выбирая возможность в любой момент их прекратить. Э. Гидденс называет такую интимность «ускользающей» [23]. Вступая в отношения, мы сейчас как будто подписываем символический договор об их эфемерности и отсутствии прав с обеих сторон (или многих сторон) требовать их продолжения или хотя бы некоторой определенности. Как пишут американцы на гарантийных талонах к пароваркам, это некий disclaimer, отказ от ответственности, и мы все обязаны его теперь подписывать, если хотим вступить в отношения любви с партнером – Другим. Постмодернистскими симулякрами семейности теперь стали желание, удовольствие и их обратная сторона – отсутствие гарантий. Мы желаем, получаем наслаждение, но отказываемся от взаимных обязательств и тем самым – от постоянства, ревности и прочности отношений.

Так, в *sci-fi* фильме «Зои» (*Zoe*) (2018) представлена картина нашего общества, в котором в массовом масштабе наблюдается аномия, возникшая от психологической неудовлетворенности тотально нестабильными отношениями любви. Человечество в этом фильме ищет утешения в создании человекоподобных роботов – психологических и сексуальных партнеров, которые никогда не уйдут от человека и его не предадут. Дело здесь, наверное, больше чем в создании секс-игрушек; люди в виде прирученных роботов компенсируют свое нежелание отказываться от свободного симулятивного обмена экстимности без обязательств и уз, где семья и любовь – всего лишь симулякры, воздушные замки Феи Морганы, характеризующиеся принципиально асоциальной ретрансляцией.

В нашем глобальном постмодернистском обществе наблюдается странная ситуация: мы понимаем наш диагноз, но не хотим лечить источник болезни, а пока всего лишь снимаем симптомы. Мы не готовы противостоять крушению социального.

Экстимность и интерпелляция эротического желания

Каждый, даже самый незначительный, вопрос интимной жизни сейчас, по-видимому, может стать темой для бесконечных обсуждений в интернетовских чатах и форумах, на телевизионных ток-шоу, послужить основой для

съемок фильмов и производства видеоигр с содержанием, воспроизводящим новый гендерный символический обмен. Сценарии данных артефактов массмедиа становятся не столь художественными, сколь «обучающими» – *training scenarios*, как их едко называет Никлас Луман [24]. Эти обсуждения столь же неэвристичны, сколь откровенны: как говорит Дуглас Рашкофф, приходящие на шоу зрители и не думают получить никаких новых знаний, если под знаниями понимать гносеологические феномены [25]. Более того, со времен сексуальной революции семидесятых женщин *идеологически* приучили требовать – и получать – свое наслаждение, в то время как негласно подразумевалось, что мужчина свое наслаждение привык запрашивать и получать на протяжении всей истории. Из-за этого постмодернистская ситуация отпущенной в свободное плавание экстимности губительна и для женщин, и для мужчин. Неслучайно, предчувствуя скорый поворот в сфере личных отношений, Л. Захер-Мазох писал о роковых женщинах [26], но ни строчки мы не найдем в его произведениях о светских соблазнителях. Налицо женский запрос бесконечных удовольствий, который по силе и глубине превосходит мужской подобный запрос. *Интерпелляция*¹ социального обернулась в нашу эпоху *интерпелляцией эротического желания*. Все женское желание переходит в запрос.

Что же это за желание? Не то ли, к которому приучали женщин во время сексуальной революции? Идет ли здесь вообще еще речь о «желании женского», или это желание недетерминировано гендерной идентичностью? Не просвечивает ли во всей такой интерпелляции эротического характерная форма нового гендерного символического обмена, не имеющая к провозглашаемому «освобождению» женщин никакого отношения, но разрушающая социальное? К каким терминам мы можем свести женскую конфигурацию безграничного сексуального запроса? По-видимому, в этой точке мы видим конечный пункт назначения всей постмодернистской культуры, но одновременно – и *пункт крушения социального*, причем сама культура принимает форму некоего предсуицидального насилия – для женщины, мужчины и вообще любой внеприродной гендерной идентичности.

Глобальное общество сейчас находится в погоне за наслаждением; индивидуализированные (в смысле З. Баумана) личности – в состоянии перманентного желания и запроса на это желание. Наслаждение в нашем обществе приняло облик насущной потребности, первого из всех прав человека. По природе своей младшее во всем семействе человеческих прав – даже в рамках либерализма предшествующих исторических эпох, даже в классической пирамиде потребностей А. Маслоу, – сейчас оно приобрело статус социального императива. Перечить принципу наслаждения, под знаком которого мы воспроизводимся как индивидуальности, становится не только все более *традиционно и ретроградно*, но уже и *неполиткорректно*.

Не навязывается ли нам сегодня наслаждение как перманентный учет, как менеджмент желания и контроля со стороны массмедиа? Этот менедж-

¹ Я использую этот термин в альтюссеровском смысле. Интерпелляция, по Л. Альтюссеру, – это социальный запрос или символическое предписание, призыв, адресованный психике субъекта. Интерпелляция может быть вербальной и невербальной, в предельном случае само отсутствие каких-либо действий со стороны Другого принимает интерпелляционный характер. Интерпелляция в самом общем случае предполагает два варианта ответа: признающий и отклоняющий.

мент никто не вправе игнорировать, никто не вправе от него просто отказаться, поскольку он переводится в разряд символического закона, и это невероятно сближает механизмы функционирования интимности постмодернистского общества с альтюссеровским пониманием вины. Не стоит забывать, как Луи Альтюссер пишет про самого себя, что после убийства своей жены Элен он выбежал на улицу и стал звать полицию, крича всем прохожим, что это он, именно он виновен, и что его совесть не позволяет ему жить дальше с грузом такой вины [27. С. 205–206]. Это призывание полиции – странная инверсия интерпелляционного оклика, который описан в его «Идеологии» [28. С. 31–34]. Не останавливаясь на биографии самого мыслителя и значении данного эпизода в его последующей жизни, подчеркну важность его мысли о связи чувства вины и трансформации последнего оплота личного в социальный фарс – но не в социальное пространство само по себе. Что происходит в нашей постсемейной экстимности? Ее идеологические механизмы заставляют человека жить все время в состоянии прочувствования своей «вины» перед информационными потоками. Всякий, у кого остается неискорененное перверсивной социализацией в условиях нынешней экстимности понимание истинности интимности в сфере личных отношений, должен самостоятельно осознать свою «вину» и покаяться в ней. Покаяние на публике разворачивается мелодраматичными комедиями посещений ток-шоу наподобие «Моей семьи», «Давай поженимся» и слезливыми признаниями в стиле «что-то не позволяет мне жить полной жизнью», «у меня всего (или всей) комплекс неполноценности», «я чувствую себя несовременным (-ой)» и т.п.

Заключение

Человечество в эру *extimité* начинает забывать, что такое любовь в настоящем смысле: мы все «любим», но мало кто истинной любовью.

Неопределенность – исторический символ любви – устранена. Как говорит Жан Бодрийяр, никакой неопределенности, никакой тайны, никакого тумана истинной интимности – все предписано и прописано, как безнадежным больным. По его же словам, наше время – это эра прописного желания и неистового разлива физиологической активности [14]. Действительно, несколько щелчков мышкой, доступ к Интернету – и вот все мы в технических деталях любви подкованы не хуже Джакомо Казановы, Овидия и Ватस्याны Малланаги.

Но будет ли это любовью или ее экстимным симуляком? Создается социальная ситуация, похожая на евангельское предсказание Иисуса Христа: «по причине беззакония во многих охладеет любовь» (Мф. 24: 1).

Младен Долар отмечает, что знаком истинной интимности является «фоноцентризм» [29. С. 24]; в символическом обмене экстимности торжествует логоцентризм, окончательная победа прописного наслаждения над загадкой и тайной. «Любите» быстрее и больше, а не то вас опередят, и вы останетесь лишенными своего куска в пироге всеобщего наслаждения! Если омоложенный Мефистофелем Фауст, чувствуя физиологическую тягу ко всякой женщине, попадавшейся ему на глаза, отказывался от соблазна и боролся с собой, стремясь только к Маргарите, то он, безусловно, упустил свое – вот когнитивный коррелят постсемейной экстимности: и Маргарита бы от него никуда не делась, и он не лишился бы всех тех удовольствий, которые отверг непо-

нятно почему. Будьте все время на гребне удовольствия, не спускайтесь с пика чувственных ощущений – вот ее прагматический коррелят. По меткому замечанию Славоя Жижека, в современной экстимности действует принцип «чем больше отдаешь, тем больше должен», или, что то же самое, «чем больше у тебя желанного, тем больше его не хватает и тем сильнее жажда», или, в потребительской версии, «чем больше покупаешь, тем больше должен тратить» [30. С. 48]. С. Жижек отмечает, что в пространстве вагнеровского мира Эльза (Elsa) не может любить Лоэнгрина (Lohengrin), поскольку он открыл ей свое имя. Он не может использовать свою гендерную власть, а она не может любить, когда их чувства становятся известными всем [31. С. 243]. Так же и в современном мире постсемейной экстимности: когда сама интимность превратилась в экстимность, когда сфера частного стала сферой публичного, когда индивиду уже негде укрыться от взоров праздно глазееущего Другого, любовь как онтологическая категория, как способ существования индивида в мире уходит безвозвратно, а остается симулирование любви для достижения сиюминутного наслаждения. Любовь в глобальном обществе все больше и больше начинает напоминать своего рода дозу наркотика «сомы» (soma) из «О дивного нового мира» Олдоса Хаксли или таблетку бенизола из того же фильма «Зои», которые давали эйфорию и пробуждали чувства на строго отмеренное, известное и запланированное время – не важно, на несколько недель, дней или часов.

Но не будет ли такая экстимность, симулирующая настоящую любовь, противоположна самой любви, и не просто противоположна, но и трансгрессивна по отношению к ней – любви, бессмертный девиз которой мы читаем у Шекспира, когда Джульетта говорит Ромео свои бессмертные слова: «чем больше я тебе отдаю, тем больше остается» [32. Т. 3. С. 46]?..

Литература

1. *Lacan J.* Desire and the interpretation of desire in Hamlet // *Literature and Psychoanalysis: The Question of Reading: Otherwise* / ed. by Sh. Felman. Baltimore, 1982. P. 11–52.
2. *Lacan J.* Le Séminaire, Livre XVI. Paris, 2006. 430 p.
3. *Miller J.-A.* Extimité. Le Séminaire. Paris, 1986. 191 p.
4. *Левин-Стросс К.* Печальные тропики. М., 2010. 441 с.
5. *Левин-Брюль Л.* Первобытное мышление. М., 2012. 340 с.
6. *Мердок Дж.П.* Социальная структура. М., 2003. 608 с.
7. *Barry H., Schlegel A.* Measurements of adolescent sexual behavior in the standard sample of societies // *Ethnology*. 1984. Vol. 23. P. 315–329.
8. *Бодрийяр Ж.* Система вещей. М., 1999. 224 с.
9. *Августин Блаженный.* О граде Божием. Минск, 2000. 1296 с.
10. *Бауман З.* Индивидуализированное общество. М., 2002. 390 с.
11. *Foucault M.* Histoire de la sexualité. Paris, 1994. T. 1: Volonté de savoir. 248 p.
12. *Фуко М.* Ненормальные. СПб., 2005. 432 с.
13. *Jones D.* Narrative Reformulated: Storytelling in Videogames // *CEA Critic*. 2008. Vol. 70, № 3. P. 20–34.
14. *Бодрийяр Ж.* Соблазн. М., 2000. 319 с.
15. *Barthes R.* S/Z. Paris, 1970. 280 p.
16. *Кокарева М., Котовская М.* Зеркало души // *Женщина и свобода*. М., 1994. С. 326–327.
17. *Ростовская Т.К., Заярская Г.В.* Семейные установки и семейные практики в современной российской студенческой среде // *Женщина в российском обществе*. 2017. № 1. С. 75–85.
18. *Laplanche J.* Seduction, Translation, Drives. London : Institute of Contemporary Arts, 1993. 235 p.
19. *Шопенгауэр А.* Метафизика половой любви. М., 2015. 224 с.

20. Методий Патарский, смч. О пиявице, о которой говорится в книге Притчей // Св. Методий Патарский, епископ и мученик. Отец Церкви III века. Полное собрание его творений. СПб., 1877.
21. Dolar M. At first sight // Gaze and Voice as Love Objects (Series: SIC 1) / R. Saleci, S. Žižek (éds.). Durham, NC, 1996. P. 129–153.
22. Пайнз Д. Язык тела женщины. СПб., 1997. 190 с.
23. Giddens A. Runaway world: How globalization is reshaping our lives. London, 2002. 124 p.
24. Луман Н. Реальность масс-медиа. М., 2005. 256 с.
25. Рашкофф Д. Медиа-вирус: как поп-культура тайно воздействует на ваше сознание. М., 2003. 368 с.
26. Захер-Мазох Л. фон. Демонические женщины. СПб., 2008. 320 с.
27. Althusser L.P. L'avenir dure longtemps: Suivi de Les Faits. Paris, 2007. 573 p.
28. Althusser L.P. Idéologie et appareils idéologiques d'État // La Pensée. 1970. № 151. P. 6–64.
29. Dolar M. The object voice // Gaze and Voice as Love Objects (Series: SIC 1) / R. Saleci, S. Žižek (éds.). Durham, NC, 1996. P. 7–31.
30. Жижек С. Хрупкий Абсолют, или Почему стоит бороться за христианское наследие. М., 2003. 178 с.
31. Žižek S. There Is No Sexual Relationship // Gaze and Voice as Love Objects (Series: SIC 1) / R. Saleci, S. Žižek (éds.). Durham, NC, 1996. P. 208–250.
32. Шекспир У. Ромео и Джульетта // Полное собрание сочинений : в 8 т. М., 1960.

Konstantin S. Sharov, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation).

E-mail: const.sharov@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 49. pp. 140–152.

DOI: 10.17223/1998863X/49/14

EXTIMACY AS A TYPE OF A SYMBOLIC EXCHANGE IN A POST-FAMILY NEOLIBERAL SOCIETY

Keywords: intimacy, extimacy, gender, post-family society, love simulacra.

In the article, a new situation in intimacy that is transforming in modern neoliberal societies is discussed. Developing the idea and terminology of Jacques Lacan, the author suggests referring to this new intimacy as “extimacy”. The main characteristics of extimacy as a new type of gender symbolic exchange, fundamentally anti-social and hostile to the social exchange, are described. The aim of the article is to analyse the features of extimacy as a kind of symbolic exchange in post-family neoliberal societies. The methodology used in the article is as follows: (1) a structuralist method of analysis of the historical narrative and communication; (2) a semiotic method of analysis of signs and meanings broadcast by the mass media; (3) a philosophical method of abstraction; (4) a philosophical method of analysis and synthesis; (5) psychoanalytic methods in the traditions of Jacques Lacan and Leopold von Sacher-Masoch; (6) a method of socio-philosophical analysis. It is demonstrated that extimacy as a form of symbolic exchange broadcast by the mass media, is characterised by the following components: (1) codification of nudity as a permanent simulacrum of sexuality; (2) presence of a set of semiotic and cultural practices for the involvement of intimacy in the sphere of the visually accessible space, intentionally ostentatious and purposefully demonstrated; (3) elimination of the true intimacy understood as an isolation of the private sphere from the public dimension; (4) simulation of love; (5) radical transformation of traditional gender-power relations; (6) broad involvement of the entertainment component of the mass media to broadcast stereotypes of the new system of gender statuses (mass cinema, video games, Internet entertainment websites, TV entertainment shows, social networks); (7) emergence of new gender identities associated with the visualisation and public demonstration of intimacy as well as fundamental rejection of any hint of the constancy in love relationships (voyeurs, swingers, intimate temporality representatives, supporters of the “night clubs” culture); (8) transgressive transformation of social interpellation into the interpellation of erotic desire; (9) emphasising of the extreme individualisation of society in which the only law of gender communication is the law of individual desire; (10) creation of a psychological complex of guilt in individuals who do not reproduce the strategy of extimacy, the guilt whose symbolic aspects are well described in Althusser’s terms of power and obedience. It is revealed that in the social space postmodern extimacy comes into close contact with consumerism and cultural stimulation of mass consumption in which the real relationships of love begin to be simulated, and the social institutions of family and marriage begin to be refused.

References

1. Lacan, J. (1982) Desire and the interpretation of desire in Hamlet. In: Felman, Sh. (ed.) *Literature and Psychoanalysis: The Question of Reading: Otherwise*. Baltimore. pp. 11–52.
2. Lacan, J. (2006) *Le Séminaire, Livre XVI*. Paris: [s.n.].
3. Miller, J.-A. (1986) *Extimité. Le Séminaire*. Paris: [s.n.].
4. Lévi-Strauss, K. (2010) *Pechal'nye tropiki* [Sad tropics]. Translated from French by V.S. Eliseeva, M.B. Shchukin. Moscow: AST.
5. Lévy-Bruhl, L. (2012) *Pervobytnoe myshlenie* [Primitive thinking]. Translated from French by V.K. Nikolsky, A.V. Kissin. Moscow: Krasand.
6. Murdoch, G.P. (2003) *Sotsial'naya struktura* [Social Structure]. Moscow: [s.n.].
7. Barry, H. & Schlegel, A. (1984) Measurements of adolescent sexual behavior in the standard sample of societies. *Ethnology*. 23. pp. 315–329.
8. Baudrillard, J. (1999) *Sistema veshchey* [The System of Things]. Translated from French. Moscow: All-Russian State Library of Foreign Literature..
9. St. Augustine of Hippo. (2000) *O grade Bozhiem* [About the city of God]. Minsk: Kharvest, AST.
10. Bauman, S. (2002) *Individualizirovannoe obshchestvo* [Individualized society]. Translated from German. Moscow: Logos.
11. Foucault, M. (1994) *Histoire de la sexualité*. Vol. 1. Paris: [s.n.].
12. Foucault, M. (2005) *Nenormal'nye* [The Abnormal]. Translated from French by A.V. Shestakov. St. Petersburg: Nauka.
13. Jones, D. (2008) Narrative Reformulated: Storytelling in Videogames. *CEA Critic*. 70(3). pp. 20–34.
14. Baudrillard, J. (2000) *Soblazn* [Seduction]. Translated from French by A. Garadzha. Moscow: Ad Marginem.
15. Barthes, R. (1970) *S/Z*. Paris: [s.n.].
16. Kokareva, M. & Kotovskaya, M. (1994) *Zerkalo dushi* [The Mirror of the Soul]. In: *Zhenshchina i svoboda* [Woman and Freedom]. Moscow: Nauka. pp. 326–327.
17. Rostovskaya, T.K. & Zayarskaya, G.V. (2017) Family values and family practices among present-day Russian students. *Zhenshchina v rossiyskom obshchestve – Woman in Russian Society*. 1. pp. 75–85. (In Russian).
18. Laplanche, J. (1993) *Seduction, Translation, Drives*. London: Institute of Contemporary Arts.
19. Schopenhauer, A. (2015) *Metafizika polovoy lyubvi* [Metaphysics of Sexual Love]. Translated from German by Yu.I. Aikhenvald. Moscow: Azbuka-klassika.
20. Methodius of Patars. (1877) *Polnoe sobranie ego tvoreniy* [Complete Works]. St. Petersburg: [s.n.].
21. Dolar, M. (1996) At first sight. In: Saleci, R. & Žižek, S. (éds) *Gaze and Voice as Love Objects (Series: SIC I)*. Durham, NC. pp. 129–153.
22. Pines, D. (1997) *Yazyk tela zhenshchiny* [Body language of a woman]. Translated from English. St. Petersburg: [s.n.].
23. Giddens, A. (2002) *Runaway world: How globalization is reshaping our lives*. London: Profile.
24. Luhmann, N. (2005) *Real'nost' mass-media* [The Reality of the Media]. Translated from German. Moscow: Praxis.
25. Rushkoff, D. (2003) *Media-virus: kak pop-kul'tura tayno vozdeystvuet na vashe soznanie* [Media Virus! Hidden Agendas in Popular Culture]. Translated from English by D.S. Borisova. Moscow: Ul'tra. Kul'tura.
26. Saher-Masoch, L.von (2008) *Demonicheskie zhenshchiny* [Demonic women]. Translated from German. St. Petersburg: [s.n.].
27. Althusser, L.P., Corpet, O. & Boutang, Y.M. (2007) *L'avenir dure longtemps: Suivi de Les Faits*. Paris: Stock.
28. Althusser, L.P. (1970) Idéologie et appareils idéologiques d'État. *La Pensée*. 151. pp. 6–64.
29. Dolar, M. (1996) The object voice. In: Saleci, R. & Žižek, S. (éds) *Gaze and Voice as Love Objects (Series: SIC I)*. Durham, NC. pp. 7–31.
30. Žižek, S. (2003) *Khrupkiy Absolyut, ili Pochemu stoit borot'sya za khristianskoe nasledie* [The Fragile Absolute: Or, Why Is the Christian Legacy Worth Fighting For?]. Translated from English by V.A. Mazin. Moscow: Khudozhestvennyy zhurnal.
31. Žižek, S. (1996) There Is No Sexual Relationship. In: Saleci, R. & Žižek, S. (éds) *Gaze and Voice as Love Objects (Series: SIC I)*. Durham, NC. pp. 208–250.
32. Shakespeare, W. (1960) *Polnoe sobranie sochineniy: v 8 t.* [Complete Works: In 8 vols]. Translated from English. Moscow: [s.n.].

УДК 316.4

DOI: 10.17223/1998863X/49/15

N.L. Antonova, E.S. Purgina, I.G. Polyakova¹

THE IMPACT OF WORLD UNIVERSITY RANKINGS ON BRICS STUDENTS' CHOICES OF UNIVERSITIES (THE CASE OF THE URAL FEDERAL UNIVERSITY)²

World rankings affect universities' positions on the global education market. The survey (2017-2018, UrFU) of Chinese students (n = 20) and experts (n = 4) found that for students the quality of education and their parents' / friends' opinions were the key factors in their university choice. Experts believe, however, that the role of rankings will grow and that high ranking positions will be used by universities to attract investment and improve their status.

Keywords: *university rankings, higher education, international students, BRICS.*

Introduction

The globalized world in which individuals, groups, and communities exist and co-exist is now functioning and developing in the conditions of the post-colonial order; greater cross-border transparency; increased mobility of people and commodities; and new communicative practices. Thus, education is no longer seen just as a national product and an institution spreading a certain dominant ideology of state [1]. Education in general, including Russian higher education, is now turning into a transmitter of global culture as it acquires a wide range of ethno-national, communicative, informational, social, linguistic and other new characteristics.

The standing of Russian universities on the world education market has been increasingly influenced by ranking systems. In other words, both national systems of education and individual universities are getting more and more affected by cross-border comparisons with their national and international counterparts and with the 'common global standards variously defined' [2]. High positions in rankings allow universities to attract investors and human resources, which local communities can also benefit from. Thus, rankings are able to indirectly shape the image of the region where the university is located.

In 2017, the Russian government launched a program 'Development of the Export Potential of the Russian Education System' aimed at enhancing the competitiveness of Russian education on the global market. In accordance with the

¹ **Авторы:** Н.Л. Антонова, Е.С. Пургина, И.Г. Полякова.

Название статьи: Влияние мировых рейтингов университетов на выбор вуза студентами из стран БРИКС.

Аннотация: Мировые рейтинги влияют на успех университетов на глобальном рынке образования. Данная статья опирается на результаты опроса (2017–2018, УрФУ) китайских студентов (n = 20) и экспертов (n = 4). Для студентов качество образования и рекомендации родителей / друзей являются ведущими мотивами выбора вуза. Однако, по оценкам экспертов, роль рейтингов будет повышаться, а лидерство в них становится инструментом привлечения инвестиций и укрепления статуса.

Ключевые слова: рейтинги университетов, высшее образование, иностранные студенты, БРИКС.

² This research was supported by a Russian Science Foundation grant to the Ural Federal University (No. 18-18-00236).

project 'Development of Export Potential of the Russian System of Education' [3], the number of international students studying full-time at Russian institutions of secondary vocational and higher education should increase from 220,000 people in 2017 to 710,000 people by 2025. To reach this goal, Russia's Ministry of Science and Higher Education chose 39 universities to participate in this project with the Ural Federal University (UrFU) among them. UrFU's function within this project was primarily to coordinate the international consortium – BRICS Network University (since 2016).

The wide range of university ranking systems includes the Academic Ranking of World Universities (ARWU) or Shanghai Ranking (since 2003); the QS World University Rankings (since 2009); and the Times Higher Education World University Rankings (THE) (since 2003).

According to V.P. Rindova and her colleagues [4], rankings perform three important functions. Firstly, they are used as a source of information by prospective students and their parents. Rankings help to address information asymmetries between educational institutions and other stakeholders, assisting the latter in their choice of universities, programs and majors. This function is particularly important for research universities as a part of the ongoing trend of the continued and accelerated increase in the tuition fees that must be financed by students and / or families. Secondly, rankings can be used as 'comparative orderings', allowing the public and the media to compare universities' reputations and standings. Thirdly, they can work as 'means for surveillance and control', that is, they are used as key performance indicators by university management and by the government agencies to allocate the funding.

However, there is a hidden catch in world rankings, pointed out by Simon Marginson, the editor-in-chief of Australia-based journal *Higher Education*: 'in global competition the main attention falls not on the top 500 but on a much smaller network of elite higher education institutions. Arguably, the global system is dominated by the top 30–50 'Superleague' institutions, more than a half of which are located in the USA' [2. P. 4]. In Marginson's estimates, these Anglo-American universities in all likelihood will continue to 'exercise the cultural hegemony' in higher education in the years to come [2. P. 4].

If we look at the recent QS Ranking, we shall see that Moscow State University ranks 90th while the Ural Federal University 412th (the top ten positions are occupied by US and British universities). It should be noted that, apart from the QS World University Ranking, the QS system currently includes a range of other products: rankings by subject and five regional rankings for Asia, Latin America, Emerging Europe and Central Asia (EECA), Arab Region, and BRICS. Russian universities participate in the EECA and BRICS rankings. In the EECA ranking, Moscow State University occupies the first place and overall, there are three Russian universities in the top ten. As for the BRICS ranking, there is only one Russian university in the top ten with other leading positions occupied by Chinese universities. We believe that a more feasible solution for Russian higher education would be to focus on improving its position in BRICS university rankings.

Global rankings are based on the comparative analysis and assessment of certain performance indicators and are thus supposed to reflect the university's status and position on the international education market. For example, in the QS Rankings, a university's performance is gauged through academic peer endorsements, cita-

tions per paper and research papers per faculty, faculty / student ratio, proportion of international faculty / students, and so on.

Each of these criteria has a certain weight depending on the ranking system. For instance, the weight given to the proportion of international students in the QS ranking is only 5%. Despite this fact, we believe that an increase in the number of international students will improve the university's recognizability on the global education market due to these students' informal connections with their peers at home.

Materials and Methods

According to the Federal State Statistics Service [5], in the 2017/2018 academic year, international students accounted for 5.4% of the total number of students in Russia. As of 1 January 2018, in UrFU there were 25,823 students enrolled in full-time programs (Bachelor, Master, Specialist, PhD), 2,226 of whom were international students. 1.8% of international students in UrFU come from BRICS countries, mostly from China. As for the enrolment dynamics, since 2012, the number of students from BRICS countries has increased 12 times. It should be noted that as of 1 January 2018, the share of self-funded students from BRICS countries was 87%, which means that UrFU is able to attract international students and that the university's attempts to promote itself on the global education market have brought certain results. If we look at the BRICS Ranking, we can see that even though UrFU has not made it to the top ten, in this respect it is ahead of some of the leading universities (see Table).

QS indicators (BRICS Universities), 2019

Ranking position	Universities	Overall score	Academic reputation	Employer reputation	Faculty student ratio	Citations per faculty	International faculty	International students
1	Tsinghua University, China	87.2	97	99.4	91.5	77.4	60.6	29.2
2	Peking University, China	82.6	99	99.8	64	69.4	68.2	53.8
3	Fudan University, China	77.6	81.8	95.9	84.7	58.6	89.3	39.2
4	University of Science and Technology of China, China	60.8	53.7	35.9	74.2	98.4	15.9	5.9
5	Zhejiang University, China	67.5	65.6	85	60.9	69.2	86.9	45.1
6	Lomonosov Moscow State University, Russia	62.3	71.3	78.2	99.7	6.7	16.6	73.1
7	Shanghai Jiao Tong University, China	70.4	77.8	96.1	39.4	85	77.4	15.6
8	Indian Institute of Technology Bombay, India	48.2	52.5	72.9	43.3	54.1	4.4	1.8
9	Nanjing University, China	55	58.5	41.2	26.2	87.8	75.3	16.3
10	Indian Institute of Science, India	47.1	35	16.3	55.8	100	1.6	2
58	Ural Federal University, Russia	27.5	14.7	14.7	88.5	1.9	14.3	25.7

In terms of majors, most international students from BRICS countries have opted for language and literary studies (186 people); civil engineering and construction, 118; economics and management, 77; political and regional studies, 47.

The available statistical evidence points to the fact that social studies and humanities tend to be the top choices of students from BRICS countries. Therefore, it would be a viable and sound solution for UrFU to prioritize these programs for further promotion on foreign education markets. The share of Chinese students on the international education market is growing steadily: 'if we take into account such global trend as the increasing number of Asian students travelling abroad, this region holds the most potential as a source of potential applicants' [6. P. 162]. Students from China, the largest population of foreign students, reproduce the international student mobility trend that the Russian education system has inherited from the Soviet Union, in particular the prestige of education in technical professions and engineering among post-Communist countries. On the other hand, the Russian education system offers training of sufficient quality for acceptably low tuition fees. This cost and benefit balance makes it competitive on the international education market. Finally, Chinese diaspora and its business interests in Russia attract prospective students willing either to join their families, friends and partners in Russia or plan to do business with Russia after graduation.

Our study, conducted in 2017 and 2018, was aimed at analyzing the role of ranking systems in shaping universities' attractiveness to international students, and we applied methods of qualitative sociological research [7]. We conducted semi-structured interviews with twenty Chinese students ($n = 20$) enrolled at UrFU and with four university specialists ($n = 4$) from different services and departments that deal with UrFU's promotion on the global education market (Strategic Planning Department, Laboratory of Scientometrics, Department of International Education Programs, and the Department of Linguistics). We applied the principle of targeted sampling and selected Bachelor's students majoring in humanities and social studies (five were in their first year; six in the second year; five in the third year; and four in their fourth year). Overall, we surveyed 12 female and 8 male students. The mean age of our respondents was 24.5.

Results and discussion

We found that the university's ranking position played a certain role in the students' choice: *'...Myself I wouldn't check the university's ranking but my elder brother advised me...'* (male student, 23). As the study of J. Horstschräer [8] has shown, when a university goes up in rankings, so does the number of student applications. According to one of the experts, *'we started receiving foreigners who are oriented towards our university because we are in certain rankings and at least they see us and they are aware that the university is putting some effort into it'* (male expert, work experience 18 years).

One of the key questions widely discussed in literature on university rankings is that of the methodology behind the compilation of these rankings [9] or, as L. Wedlin from Upsala University puts it, 'a major part of the literature analyzing academic rankings has focused on the rankings as measurement practices and has been "orientated towards correcting the flaws identified in ranking systems"'. One of such 'flaws', which is subject to most criticism, is the rankings' attempt of 'quantifying the inherently qualitative judgements' [10. P. 66]. Speaking of the QS

Ranking, the UrFU specialists we interviewed characterized it as 'manageable', meaning that its results could be manipulated: *'There is fierce competition to rise up in the rankings, more specifically, the struggle for the voices of academic experts'* (female expert, work experience 8 years).

In this case, the 'manageability' of the QS ranking means that universities resort to informal practices in order to improve their status. Although getting ranked higher is treated by many universities as a good marketing strategy to enter various international commercial research projects, for some it becomes an end in itself.

The Chinese students we interviewed said that university rankings act as intermediaries between universities and prospective students because rankings give them and their parents the general idea as to which options to consider. However, as one of our respondents has pointed out, one has to be careful when dealing with rankings: *'...I believe that you should first look at several rankings...'* (female student, 25).

Nevertheless, talking about the prospects of UrFU being chosen by international students, the specialists have pointed out that the rankings have launched a 'reputation race' and that the significance of the university's status and reputation is likely to grow on the global education market. *'Rankings show universities' reputation, so students are likely to become more and more oriented towards using this information to make their choice'* (female expert, work experience 8 years). This indicator gains importance in the competitive conditions of the global education market. *'There are many reasons why Russian universities are not ready for competition: in particular, the fact that the country remained behind the "iron curtain" for almost seventy years and hardly participated in the global competition in the sphere of research and education'* [11. P. 84].

We believe, however, that the choice of an educational institution is determined by the overall prestige of Russian education drawing from the achievements of the Soviet period, when Soviet higher education, especially in engineering and natural sciences, was considered to be the best in the world and the USSR was among the top R&D-performing countries. In the late 1980s, Soviet R&D accounted for a quarter of all inventions in the world (in 1987, the USSR registered 83,700 patents, the USA, 82,900 patents, Japan, 62,400, Germany and the UK, 28,700 patents) [12].

As our interviews with Chinese students have shown, they are mostly guided by the opinions of their friends, relatives, and acquaintances rather than the university's position in the rankings: *'...my brother studies here, he's now in his fourth year, and he told me that it is a good university...'* (female student, 19).

Yet another factor in the choice of Chinese students is the quality of education. They believe in the quality of teaching at UrFU: *'...professors are very good here... sometimes I have difficulty in understanding what they are telling me and I get nervous, ask them to speak into the translator on my phone... and they do...'* (female student, 24).

Our study has also identified some problems faced by international students in Russian universities. First and foremost, these are the difficulties stemming from the way the process is organized. International students have to deal with the university's rigid bureaucratic structure: for instance, in order to obtain dormitory accommodation, they have to go through a lot of red tape, which may take the whole day: *'...it took me forever to get dorm accommodation...'* (male student, 22).

Experts maintain that *'...in solving their problems, students often resort to the help of their consulate: if at a certain point, a student did not get what they wanted, they are well aware of this option...'* (female expert, work experience 17 years). Such difficulties were discussed in another study conducted at the Ural Federal University in 2014–15 [13].

Among the other problems Chinese students mentioned was the lack of innovative technologies used at departments of humanities and social sciences. Students point out that lecturers prefer to adhere to traditional methods in delivering their lectures and conducting seminars, and this fact is confirmed by the lecturers themselves [14].

International students see higher education as a resource that enables them to achieve a higher social status and improve their social standing. In other words, education serves as a ladder of upward mobility and an important stage in their life trajectories. Almost all of our respondents are planning to return to China after graduating: *'...after I graduate, I'd like to go back to China. The knowledge of the Russian language will be useful in my career...'* (male student, 24). Experts also point out that *'the majority of students are planning to go home. Even if they consider finding a job in Russia, it will still be 'China outside of China', that is, a Chinese organization or company. Even if they aren't able to find a job in their fields, they will be teaching Russian as a foreign language'* (female expert, work experience 17 years).

It should be noted that, since 2015, QS has added one more product to their portfolio of rankings: QS Graduate Employability Rankings [15], which seek to compare alumni outcomes for different universities. Among Russian universities, the leader is Moscow State University, ranking 101–110th, while the Ural Federal University was not ranked at all.

The same year social networking site LinkedIn launched a project based on the analysis of career outcomes for alumni of different universities. This project was aimed at assisting high school graduates in their choice of institutions of higher education [16].

It should be noted that the practices of Russian higher education are dominated by the competency-based approach, which is a part of the national education system. Considering this model, V.S. Senashko and T.B. Mednikova point to the differences in the understanding and application of the competency-based approach in the Russian and American systems of education. It is emphasized that the competency-based approach in the USA *'usually gives an opportunity to convert the experience of an adult professional into a formal unit of measurement – in this case, a competency, which was created in the course of a certain practical activity'* [17. P. 43].

The competency-based approach considers the needs of employers even though these are only the employers operating on domestic markets. Non-Russian employers do not participate in the implementation of curricula and programs. Therefore, the education trajectory of international students in universities, academies and other institutions depends to a great extent on the characteristics of Russian markets and organizations.

Every fourth respondent said that they did not consider the situation on the job market as a factor in their choice of the university and major. For international students, it is important to obtain high quality education in a prestigious university. As

one of the experts contended, *'at our university, Chinese students major in construction and civil engineering. China is now engaged in active building. However, what has always seemed perplexing to me is the following: what can we offer these students if the rules, regulations and standards in their home country are totally different from ours, moreover, it is believed that their requirements are much more rigorous than ours. They can acquire a competency here, we can even talk of competency transfer. I understand this situation, but as for other majors... I don't know what they can get here as the competencies are different'* (female expert, work experience 17 years).

Even though university rankings have their own limitations in terms of the data they use and assessment criteria, they still manage to reflect the differences in the attractiveness of different national systems of education and the unequal distribution of international student flows among them [18].

Conclusion

Our investigation has led us to the following conclusions. A high position in rankings is now the main indicator of the university's competitiveness but also of the quality of the country's system of higher education. Universities thus use their progress in rankings to attract more funding from the government and other investors. The percentage of international students is one of the criteria that determine the ranking position of the university. Chinese students enrolled at UrFU do not consider rankings as a significant factor in their choice of education trajectories. The key factors in students' choice of a university are the need for high quality education and word of mouth endorsements from their parents and friends. Students are planning to return to China, believing that the Russian education will give them better prospects on the job market and become a strategic resource in their career advancement. Universities are now competing to rise up in the rankings, which at times tends to become an end in itself. In this case, rankings cease to reflect the real situation in education and satisfy the needs of all the major stakeholders in the sphere of education. We believe that, in the conditions of internationalization of education, it would be productive to encourage cooperation between universities, which would allow them to coordinate their efforts for the benefit of students and academics. Joint programs may prove to be an efficient way of developing the global market of higher education and stimulate healthy competition and solidarity practices. Russian universities that are aiming to enroll international students should introduce marketing strategies oriented at promoting themselves on Asian markets and should design special programs that would take into account both the needs of Asian students and their respective labour markets.

References

1. Bourdieu P., Passeron J.C. Reproduction in education, society and culture. London, Thousand Oaks, New Delhi : Sage Publications Inc, 1990.
2. Marginson S. The global higher education market and its tensions. NAFSA. [Electronic resource]. URL: http://www.nafsa.org/_File/_global_higher_ed_market.pdf (access date: 04.02.2019).
3. Утвержден паспорт приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования»// Правительство России. 8.07.2017. [Электронный ресурс] URL: <http://government.ru/news/28013/> (дата обращения: 04.02.2019).

4. Rindova V.P., Martins L.L., Srinivas S.B., Chandler D. The good, the bad, and the ugly of organizational rankings: a multidisciplinary review of the literature and directions for future research // *Journal of Management*. 2018. № 44 (6). P. 2175–2208.
5. Россия в цифрах. Краткий статистический сборник. М.: Росстат, 2018
6. Нефедова А.И. Масштабы, структура и цели экспорта российского высшего образования // *Мир России*. 2017. Т. 26, № 2. С. 154–174.
7. Marvasti A.B. Qualitative research in sociology. London: Sage, 2004.
8. Horstschraer J. University rankings in action? The importance of rankings and an excellence competition for university choice of high-ability students // *Economics of Education Review*. 2012. № 31 (6). P. 1162–1176.
9. Daraio C., Bonaccorsi A. Beyond university rankings? Generating new indicators on universities by linking data in open platforms // *Journal of the Association for Information Science and Technology*. 2016. № 68 (2). P. 508–529.
10. Wedlin L. How global comparisons matter: the 'truths' of international rankings / *Bibliometrics: Use and Abuse in the Review of Research Performance*. London: Portland Press, 2014. P. 65–75.
11. Гузикова М.О., Неволлина А.Л. Модель иноязычной среды университета: проектирование, внедрение и управление // *Университетское управление: практика и анализ*. 2016. № 101 (1). С. 83–89.
12. Фюльзак М. Оздоровление или распад? К вопросу о судьбе российской науки // *Россия и современный мир*. 2001. № 3. С. 210–218.
13. Merenkov A.V., Antonova N.L. Problem of social adaptation of international students in Russia // *New Educational Review*. 2015. № 41(3). P. 122–132.
14. Antonova N.L., Merenkov A.V. Flipped learning in higher education: problems and contradictions // *Integration of Education*. 2018. № 22(2). P. 237–247.
15. QS Graduate Employability Rankings Methodology. QS Intelligence Unit. [Electronic resource]. URL: <http://www.iu.qs.com/university-rankings/ger/> (access date: 25.01.2019).
16. LinkedIn Rolls Out New School Selection Services for Prospective Student. ICEF Monitor. [Electronic resource]. URL: <http://monitor.icef.com/2015/01/linkedin-rolls-new-school-selection-services-prospective-students/> (access date: 19.01.2019).
17. Сенашенко В.С., Медникова Т.Б. Компетентностный подход в высшем образовании: миф и реальность // *Высшее образование в России*. 2014. № 5. С. 34–45.
18. Сьюлкова Н.В., Клячко Т.Л., Краснова Г.А., Полушкина Е.А., Беляков С.А. Экспорт образовательных услуг. Анализ управленческих решений. М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2015.

Natalya L. Antonova, Ural Federal University (Yekaterinburg, Russian Federation).

E-mail: n.l.antonova@urfu.ru

Ekaterina S. Purgina, Ural Federal University (Yekaterinburg, Russian Federation).

E-mail: kathy13@yandex.ru

Irina G. Polyakova, Ural Federal University (Yekaterinburg, Russian Federation).

E-mail: irinapolykova@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 49. pp. 153–161.

DOI: 10.17223/1998863X/49/15

THE IMPACT OF WORLD UNIVERSITY RANKINGS ON BRICS STUDENTS' CHOICES OF UNIVERSITIES (THE CASE OF THE URAL FEDERAL UNIVERSITY)

Keywords: university rankings, higher education, international students, BRICS.

Responding to globalization, Russian universities become increasingly entangled in local, national, and international relations. World rankings, such as the Academic Ranking of World Universities, QS World University Rankings, and THE World University Rankings, lay emphasis on the status and prestige of universities as well as on the quality of education and research they provide. One of the key criteria in their assessment is the percentage of international students, which encourages universities to seek ways to attract more foreign students if they want to move up the rankings. The article discusses the case of the Ural Federal University (Yekaterinburg, Russia): in 2017–18, the authors surveyed undergraduate Chinese students (n = 20) and Russian experts specializing in the university's promotion on the global education market (n = 4). The survey results have shown that international students do not consider a university's position in rankings to be an important factor in the choice of an education trajectory and that they are much more oriented towards word of mouth recommendations

from their friends and relatives as well as the perceived quality of education. Education is generally seen as a ladder for upward social mobility and is expected to improve the students' career prospects in their home country. Experts believe, however, that, in the years to come, rankings will be playing an increasingly important role in students' choices. They also pointed out that universities resort to both formal and informal practices to rise up in the rankings. Progress in rankings may become an end in itself but can also serve as a part of a more general marketing strategy to attract investment and improve the university's standing on the educational market.

References

1. Bourdieu, P. & Passeron, J.C. (1990) *Reproduction in education, society and culture*. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications Inc.
2. Marginson, S. (n.d.) *The global higher education market and its tensions*. NAFSA. [Online] Available from: http://www.nafsa.org/_File/_global_higher_ed_market.pdf. (Accessed: 4th February 2019).
3. The Government of the Russian Federation. (2017) *Utverzhden pasport prioritetnogo proekta "Razvitiye eksportnogo potentsiala rossiyskoy sistemy obrazovaniya"* [The passport of the priority project "Development of the export potential of the Russian education system" has been approved]. 8th July. [Online] Available from: <http://government.ru/news/28013/>. (Accessed: 4th February 2019)
4. Rindova, V.P., Martins, L.L., Srinivas, S.B. & Chandler, D. (2018) The good, the bad, and the ugly of organizational rankings: a multidisciplinary review of the literature and directions for future research. *Journal of Management*. 44(6). pp. 2175–2208. DOI: 10.1177/0149206317741962
5. Federal Service of State Statistics. (2018) *Rossiya v tsifrah. Kratkiy statisticheskiy sbornik* [Russia in numbers. A brief statistical compilation]. Moscow: Rosstat.
6. Nefedova, A.I. (2017) The Scope, Structure and Purpose of the Export of Russian Higher Education. *Mir Rossii – Universe of Russia*. 26(2). pp. 154–174. (In Russian).
7. Marvasti, A.B. (2004) *Qualitative Research in Sociology*. London: Sage.
8. Horstschäer, J. (2012) University rankings in action? The importance of rankings and an excellence competition for university choice of high-ability students. *Economics of Education Review*. 31(6). pp. 1162–1176. DOI: 10.1016/j.econedurev.2012.07.018
9. Daraio, C. & Bonaccorsi, A. (2016) Beyond university rankings? Generating new indicators on universities by linking data in open platforms. *Journal of the Association for Information Science and Technology*. 68(2). pp. 508–529. DOI: 10.1002/asi.23679
10. Wedlin, L. (2014) How global comparisons matter: the 'truths' of international rankings. In: Blockmans, W., Weaire, D. & Engwall, L. (eds) *Bibliometrics: Use and Abuse in the Review of Research Performance*. London: Portland Press. pp. 65–75.
11. Guzikova, M.O. & Nevolina, A.L. (2016) The model of the university environment in foreign language: design, implementation and administration. *Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz – University Management: Practice and Analysis*. 101(1). pp. 83–89. (In Russian).
12. Fyulzak, M. (2001) Ozdorovlenie ili raspad? K voprosu o sud'be rossiyskoy nauki [Improvement or disintegration? On the issue of the fate of Russian science]. *Rossiya i sovremennyy mir – Russia and the Modern World*. 3. pp. 210–218.
13. Merenkov, A.V. & Antonova, N.L. (2015) Problem of social adaptation of international students in Russia. *New Educational Review*. 41(3). pp. 122–132. DOI: 10.15804/ner.2015.41.3.10
14. Antonova, N.L. & Merenkov, A.V. (2018) Flipped learning in higher education: problems and contradictions. *Integration of Education*. 22(2). pp. 237–247. DOI: 10.15507/1991-9468.091.022.201802.237-247
15. QS.com. (n.d.) *QS Graduate Employability Rankings Methodology*. QS Intelligence Unit. [Online] Available from: <http://www.iu.qs.com/university-rankings/ger/>. (Accessed: 25th January 2019).
16. ICEF. (2015) *LinkedIn Rolls Out New School Selection Services for Prospective Student*. ICEF Monitor. [Online] Available from: <http://monitor.icef.com/2015/01/linkedin-rolls-new-school-selection-services-prospective-students/>. (Accessed: 19th January 2019).
17. Senashenko, V.S. & Mednikova, T.B. (2014) Competency-based approach in higher education: a myth and reality. *Vyshee obrazovanie v Rossii – Higher Education in Russia*. 5. pp. 34–45. (In Russian).
18. Syulkova, N.V., Klyachko, T.L., Krasnova, G.A., Polushkina, E.A. & Belyakov, S.A. (2015) *Eksport obrazovatel'nykh uslug. Analiz upravlencheskikh resheniy* [Export of educational services. Analysis of management decisions]. Moscow: Delo.

ПОЛИТОЛОГИЯ

УДК 323.21

DOI: 10.17223/1998863X/49/16

И.А. Бронников, Ю.В. Гимазова

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ И ЭКСПЕРТОВ В РОССИИ: СОСТОЯНИЕ, РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

С позиций современной методологии властно-экспертного взаимодействия охарактеризована специфика отношений государства и экспертного сообщества в современной России. Показано, что в странах с авторитарными традициями, где недостаточность правил и норм взаимодействия компенсируется за счет устойчивой воли высшего руководства к вовлечению общественности в процесс преобразований, в краткосрочном периоде будут эффективными «провластные» институты публичной политики.

Ключевые слова: государственная политика, взаимодействие власти и экспертов, центры публичной политики.

В современном мире экспертное сообщество признается серьезной интеллектуальной силой, оказывающей существенное влияние на процесс принятия решений в системе государственной власти. Взаимодействие власти и экспертов по вопросам разработки государственной политики, ее анализа и корректировки существенно снижает коррупционные риски, поскольку делает сферу государственного управления более транспарентной, повышает профессиональную и гражданскую компетентность как чиновников, так и представителей общественности. По прогнозам, влияние экспертов на государственную политику и политиков будет только возрастать в эпоху развития экономики знаний и сингулярности [1. С. 26]. Вместе с тем многолетний опыт сотрудничества власти и экспертного сообщества выявил ряд проблем, связанных с морально-этическими, организационными и технологическими рисками такого взаимодействия.

Наша страна имеет богатый и самобытный опыт использования экспертно-аналитического потенциала в государственно-политической сфере. Это связано с обилием и масштабом национальных проектов и задач, которые инициируются властью. Внедряемая с 2012 г. концепция Открытого правительства предполагает, в частности, обязательное наличие при органах власти экспертных и общественных советов. Сегодня только по официальным данным более 530 тыс. экспертов взаимодействуют с государственными и муниципальными структурами в режиме общественных экспертно-консультативных советов [2].

Вместе с тем возросшее количество экспертов вовсе не означает повышения качества экспертного знания. По мнению Г. Павловского, «главной проблемой гражданского общества является его неспособность к эффективной экспертной конкуренции с некомпетентной бюрократией» [3]. Не пре-

одоленная в России бюрократическая монополия на экспертизу, когда независимые специалисты привлекаются либо как аппаратные консультанты, либо как бессильные внешние критики, усиливает риски коррумпированности и некомпетентности бюрократии и делает невостребованной профессионализацию гражданского экспертного сообщества.

Все это вызывает необходимость комплексного объективного анализа практикуемых в России механизмов властно-экспертного взаимодействия на методологическом и организационном уровнях с целью выявления перспектив и рисков развития качества и культуры экспертизы в сфере публичной политики. Изучение специфики и рисков властно-экспертного взаимодействия в России предполагает прежде всего прояснение вопроса о сущности эксперта и его роли в процессе принятия властно-политических решений.

Экспертом (от лат. *expertus* – знающий по опыту) считают профессионала в определенной области, обладающего особым навыком – быстро и качественно анализировать объект, а также гораздо быстрее, чем обыватель, находить оптимальные (или лучшие из возможных) решения проблемы [4. С. 27]. Это свойство мышления, именуемое процедуральным знанием, делает эксперта незаменимым актором процесса принятия решений в современном мире, в условиях турбулентности и постоянной нехватки релевантной информации.

Роль экспертов в сфере принятия государственно-политических решений существенно возросла в начале XX в., что связано с процессами индустриализации общества, дифференциации и специализации производственного труда, выделения управления как особой сферы трудовой деятельности [5. С. 52]. С 1970-х гг. в общественно-политических науках стал широко применяться термин «технократия» для характеристики модели государственного устройства, в рамках которой субъекты государственной власти широко привлекают экспертов из различных областей знания для разработки решений и рекомендаций по вопросам социально-экономического развития. Предполагается, что знания экспертов носят одновременно прикладной, внесистемный и неполитический характер [6. Р. 11]. В рамках технократического подхода к государственной политике обособляется так называемая «власть экспертов», которая базируется на безусловном авторитете знания, неангажированности, объективности, профессионализме.

Технократическая теория критикуется и корректируется с позиций партисипативной демократии, элитизма, либертарианства [7. С. 10–11]. Результаты этой интеллектуальной рефлексии нашли отражение в разработке различных моделей взаимодействия власти и экспертного сообщества. Эти модели различаются по морально-этическим и организационным основаниям властно-экспертного сотрудничества [8. Р. 20–22].

Первая модель, получившая название линейно-автономной, предполагает два этапа взаимодействия субъектов власти и экспертов. На первом этапе (автономном) экспертам предоставляется возможность разработать и презентовать свои научные открытия, обосновать их валидность исходя из системы научных критериев. На втором этапе (линейном) политики выбирают полезные для государства и общества интеллектуальные продукты, руководствуясь собственной логикой и предпочтениями. Такая модель предполагает мораль-

но-этический нейтралитет экспертов, поскольку вся ответственность за результаты внедрения их достижений ложится на государственную власть. Линейно-автономная модель последовательно реализуется в так называемых «государствах свободной рыночной экономики» с развитым правом интеллектуальной собственности и множеством альтернативных заказчиков экспертных продуктов. По мнению ее разработчиков, свобода рынка интеллектуальных продуктов исключает риск ангажированности экспертов.

Однако в условиях авторитаризации политических режимов как в развитых, так и в развивающихся странах линейно-автономная модель часто деформируется в линейно-функциональную. В рамках данной модели государство становится основным, если не единственным, заказчиком продуктов интеллектуально-экспертной деятельности в публично-политической сфере, а эксперты, в свою очередь, вынуждены работать на государственный заказ, утрачивая, таким образом, свой независимый статус.

Вторая форма властно-экспертного взаимодействия, именуемая моделью добродетельного разума, принципиально не разграничивает сферы экспертно-научного знания и публичной политики. Главным ее принципом является морально-этическая неразделимость научной и политической сфер, а также гражданская ответственность экспертов. Таким образом, результаты труда экспертов должны соответствовать не только объективно-научным, но и общественно-значимым критериям полезности.

Обособление данных моделей в современной политической науке является следствием вновь обострившегося в XXI в. вопроса морализации цели и практики властно-экспертного взаимодействия. Над данной проблемой размышляли великие ученые XX в. Так, академик А.Д. Сахаров указывал, что все великие открытия должны быть перед их использованием подвергнуты тщательной общественной цензуре на предмет выявления их потенциального вреда для общества [9. С. 79].

В постиндустриальную эпоху проблема моральности властно-экспертного взаимодействия актуализировалась не только в военно-вооруженной, но и в гражданской сфере. В данном контексте особого внимания заслуживает позиция У. Истерли, подвергнувшего критическому анализу практику сотрудничества государственной власти и экспертов в вопросах борьбы с бедностью. Напоминая, что термин «технократия» буквально означает «правление экспертов», Истерли аргументирует, что на постиндустриальном этапе социально-экономического развития во всех так называемых «демократиях первой волны» взаимоотношения власти и экспертов основаны на логике «одобрения технократическими экспертами любых действий добродетельного диктатора». В рамках данной модели неограниченная власть государства и возможность нарушения им прав бедняков (в основном в странах третьего мира) оправдывается экспертами необходимостью ускоренной модернизации этих стран. Таким образом, и «добродетельный диктатор», и «эксперты-технократы» придерживаются «свободной от идеологии политики, основанной на реальных данных» [10. С. 21].

Оценивая в контексте изложенного традиции и современную практику властно-экспертного взаимодействия в России, можно отметить следующее. Авторитарный стиль государственно-политического управления советской эпохи, фактическое отсутствие права интеллектуальной собственности не

просто способствовали воспроизводству линейно-функциональной модели взаимодействия власти и научно-экспертного сообщества, но и порой низводили ученых до уровня марионеток, исполнявших волю власти, ликвидируя «несогласных» и поощряя «лояльных». Подтверждением тому служат многочисленные репрессии ученых, чьи концепции и результаты интеллектуальной деятельности шли вразрез с официальной доктриной марксизма-ленинизма, организация «шарашек» в сталинских концлагерях.

В современной России на формирование модели властно-экспертного взаимодействия влияет множество факторов. Во-первых, высокая степень автономии органов государственной власти различных уровней в сфере управления развитием территорий, а также низкий уровень межведомственного взаимодействия обуславливают широкую дискрецию чиновников в вопросах разработки управленческого решения и, в частности, привлечения экспертов. Во-вторых, в большинстве регионов к процессу принятия решений привлекаются сотрудники научно-исследовательских и высших образовательных учреждений. Это люди-«символы», которые обладают солидным теоретическим багажом знаний, но часто лишены практического опыта, и потому выполняют лишь символическую функцию эксперта. В-третьих, неразвитость института права интеллектуальной собственности, а также низкая востребованность экспертного знания отечественным средним бизнесом (по сравнению с зарубежными развитыми и развивающимися странами) делают субъекты государственной власти и местного самоуправления основными (если не единственными) пользователями услуг экспертов. В-четвертых, низкий уровень культуры властно-экспертного взаимодействия в России объективно не способствует соблюдению основных принципов и процедур сотрудничества сторон. В этих условиях эксперты играют преимущественно символическую роль «компетентного сообщества при властных структурах» и выражают готовность поддерживать решения власти, способствовать сокрытию истинных проблем социально-экономического развития при условии преумножения своего символического капитала (награждение почетными грамотами, присвоение статуса советника должностного лица на общественных началах и т.д.) либо оплаты услуг. Естественно, все это не способствует повышению гражданской ответственности как чиновников, так и экспертов, усиливает коррупционную среду политики. Такую форму властно-экспертного взаимодействия исследователи назвали «моделью оплаченного результата» [11. С. 148–152], аргументируя свои выводы изучением мнений представителей власти и экспертов в 10 субъектах РФ методом фокус-групп и глубинных интервью.

Принципы и модели сотрудничества власти и экспертов реализуются в рамках соответствующего структурного дизайна. Характеризуя способы организации сообщества экспертов, в политической науке употребляют термины «фабрики мысли» и «центры публичной политики». «Фабрики мысли» (от англ. *think tank*) весьма распространены в США и развитых странах Запада. Обычно это объединения интеллектуалов и экспертов, которые, взаимодействуя с властью в рамках линейно-автономной модели, занимаются аналитическими разработками в сфере стратегического планирования и прогнозирования, методического и технологического обеспечения государственной и муниципальной политики [12. С. 101–103].

Обращаясь к отечественной политической практике, можно выделить четыре группы «фабрик мысли», исходя из направления их деятельности, степени прикладной разработанности их результатов и источников финансирования: профессиональные независимые от государства «фабрики мысли»; аналитические центры при органах власти, партиях; научно-исследовательские «фабрики мысли»; любительские «сообщества интеллектуалов» [13. С. 123–127]. Анализ представленной классификации российских «фабрик мысли» позволяет выделить две группы проблем, препятствующих реализации публично-демократического потенциала данных общественных институтов во взаимодействии с властью.

Первая, «внутренняя», группа проблем связана с отсутствием либо недостаточностью стратегического планирования в области миссии, целей и задач «фабрик мысли», наращивания организационной и профессионально-кадровой результативности и эффективности, маркетинга таких организаций.

Вторая, «внешняя», группа проблем обусловлена политическим и экономическим контекстом становления третьего сектора в России. Сюда относятся: неготовность (а после принятия в 2010 г. норм о противодействии иностранным агентам – и неспособность) многих фондов поддерживать «фабрики мысли»; не вполне преодоленная конъюнктурность и кулуарность российской политической практики; недостаток общественного доверия к политическим аналитикам – сотрудникам независимых от государства центров; не всегда высокий уровень профессионализма экспертов «фабрик мысли».

Отдельной проблемой деятельности российских «фабрик мысли», обостряющейся в условиях российской политической конъюнктуры, является профессионально-этическая и гражданская ответственность руководителей и сотрудников центров.

«Центры публичной политики» являются одним из видов «фабрик мысли», отличаясь от последних приоритетами своей деятельности. Так, миссия «центра публичной политики» – не просто проведение качественных исследований, а посредничество (медиация) между властью и общественностью [14. С. 12].

По способу образования можно выделить два вида «центров публичной политики». Первые эволюционируют «снизу», путем территориального и содержательного разрастания деятельности, вовлечения все большего количества экспертов; их судьба напрямую зависит от политики власти по отношению к независимой гражданской экспертизе и ее организациям. Вторые учреждаются государством «сверху» в качестве масштабных провластных научно-экспертных проектов; они имеют выход на первое лицо государства, не входят в систему госорганов, взаимодействуют со всеми заинтересованными группами в вопросах формирования, реализации, мониторинга и оценки государственной политики в определенной сфере. Учрежденные сверху центры часто получают от первых должностных лиц своеобразный мандат на право контролировать исполнение решений, которые были совместно приняты государственными ведомствами и общественными экспертными группами (поскольку большинство барьеров развития имеет, как правило, межведомственную природу). Такой уникальный статус позволяет «центрам публичной политики» стать форпостами стратегических инноваций, максимально задействовать ресурс публичности государственно-политического управления,

выявить, поддержать и масштабировать действительно креативные идеи и проекты.

Взросшая значимость «центров публичной политики» сопряжена с тем, что в постиндустриальном мире эффективная политика, независимо от ее сферы, предполагает не государственный патернализм, а стратегическое сотрудничество власти и общественности. Цель такого сотрудничества – совместное выявление наиболее серьезных барьеров развития и совместные же выработка и осуществление корректирующих воздействий, которые способны нивелировать данные барьеры. Первостепенной задачей институтов публичной политики является разработка правил и процедур взаимодействия участников диалога в процессе совместного поиска решений [15. С. 22]. Специфика статуса и функций «центров публичной политики» дает основания для предположения о том, что такие центры могут взаимодействовать с властью в рамках охарактеризованной выше модели добродетельного разума.

Институты публичной политики могут быть эффективны как в демократически развитых странах, являясь организационным форматом традиций публичного властно-экспертного взаимодействия (жюри граждан, экспертные советы, омбудсмены), так и в быстро развивающихся странах с сильными авторитарными традициями, где недостаточность правил и норм взаимодействия компенсируется за счет устойчивой воли высшего руководства к вовлечению общественности в процесс преобразований. Такие структуры доказали свою эффективность в организации стратегического государственно-общественного диалога как в США, Великобритании, ФРГ, так и в Сингапуре, Южной Корее, Малайзии [16. С. 13]. В ускоренно развивающихся странах с сильными авторитарными традициями созданные «сверху» институты публичной политики естественным образом доминируют над автономными от государства центрами (в том случае, если такие центры вообще разрешены). Однако ресурс «близости» к первым должностным лицам может стать для института публичной политики основным источником риска его бюрократизации. Поэтому резонно предположить, что учрежденные «сверху» (т.е. как проект власти) институты должны существовать ограниченное время, для выполнения задач организации стратегического диалога между властью и общественностью, разработки программы реформ, масштабирования успешных практик в определенной сфере публичной политики. По мере институционализации взаимодействия, привития инновационных форм и технологий, расширения сетевой структуры потребность в учрежденных сверху «центрах публичной политики» должна постепенно сойти на нет. В долгосрочной перспективе эксперты должны работать с властью в режиме ассоциативного сотрудничества. Представляется резонным, что без расширения сети экспертного сообщества «снизу», без повышения компетентности граждан риск «бронзовения» образованных «сверху» институтов публичной политики существенно возрастает.

Литература

1. Шанахан М. Технологическая сингулярность : пер. с англ. М. : Точка ; Альпина Паблишер, 2017. 256 с.
2. Итоговый доклад Президенту РФ Рабочей группы по подготовке предложений по формированию в РФ системы «Открытое правительство» (краткий обзор) // Экспертный совет при

Правительстве РФ : официальный сайт. Электрон. дан. М., 2012. URL: <https://open.gov.ru/documents/> (дата обращения: 12.10.2018).

3. Павловский Г. Почему мы эксперты? Зарождение «экспертного знания» в постсоветской России. Глеб Павловский в «гефтеровском» проекте «Связь времен», год 2001-й // ГЕФТЕР : интернет-журнал. Электрон. дан. М., 2016. URL: <http://gefter.ru/archive/20072> (дата обращения: 03.02.2019).

4. Ларичев О.И., Мечитов А.И., Мошкович Е.М., Фуремс Е.М. Выявление экспертных знаний. М. : Наука, 1989. 267 с.

5. Бернхэм Дж. Революция директоров / пер. с англ. Евг. Шугаева. Франкфурт-на-Майне : Посев, 1954. 160 с.

6. Beckwith B. Government by experts. New York, 1972. 290 p.

7. Макарычев А.С. Государства, экспертные сообщества и режимы знания-власти // Политическая наука. 2015. № 3. С. 9–26.

8. Jasanoff S. Quality Control and Peer Review in Advisory Science. The Politics of Scientific Advice: Institutional Design for Quality Assurance / ed. by J. Lentsch, P. Weingart. Cambridge : Cambridge University Press, 2011. P. 19–35.

9. Иойрыш А. А.Д. Сахаров: ответственность перед разумом. Дубна : ОИЯИ, 2001. 215 с.

10. Истерли У. Тирания экспертов. Экономисты, диктаторы и забытые права бедных. М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2016. 580 с.

11. Сунгуров А.Ю., Карякин М.Е. Российское экспертное сообщество и власть: основные формы взаимодействия // Полис. Политические исследования. 2017. № 3. С. 144–159.

12. «Фабрики мысли» и «центры публичной политики»: международный и первый российский опыт : сб. ст. / под ред. А.Ю. Сунгурова. СПб. : Норма, 2002. 265 с.

13. Никовская Л.И., Якимец В.Н., Молокова М.А. Гражданские инициативы и модернизация России. М. : Ключ-С, 2011. 225 с.

14. Гимазова Ю.В. От «фабрик мысли» к «центрам публичной политики»: международный опыт и перспективы России // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2012. № 4. С. 10–14.

15. Фрейнкман Л.Я., Яковлев А.А. Агентство стратегических инициатив как институт развития нового типа // Вопросы экономики. 2014. № 6. С. 18–39.

16. Абучакра Р., Хури М. Эффективное правительство для нового века. Реформирование государственного управления в современном мире. М. : Олимп-Бизнес, 2016. 220 с.

Ivan A. Bronnikov, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation).

E-mail: ivbronn@gmail.com

Yulia V. Gimazova, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russian Federation).

E-mail: 3j@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 49. pp. 162–169.

DOI: 10.17223/1998863X/49/16

THE INTERACTION OF THE AUTHORITIES AND EXPERTS IN RUSSIA: THE STATE, RISKS AND PROSPECTS

Keywords: state policy, interaction of the power and experts, public policy institutions.

The methodology and organization of the interaction of the power and the expert community in the context of decreasing the risks of corruptibility in state and political decisions are investigated in this article. The “linearly-autonomous” model and the model of a “virtuous result” characterized by moral and ethical values and the status of the power and experts are analyzed. The factors influencing the specifics of the power and experts’ interaction in Russia are revealed. Among them are traditions of the Soviet authoritarianism; a wide discretion of officials in questions of political and administrative decision-making; backwardness of the intellectual property right institution; insufficient demand of expert knowledge in Russian medium-sized business; a low level of the power and experts’ interaction culture. It is shown that the cumulative action of these factors leads to a reproduction of the “paid result” model within which experts are attracted for approval of the power’s decisions rather than for an independent objective assessment and work for a reward or an increase in the symbolical status. The international experience is investigated, features of “think tanks” genesis in Russia are revealed, and their classification is presented. A need for the development of “institutions of public policy” to improve the system of the power and experts’ interaction system is reasoned. “Pro-power” and “demo-

cratic” forms of “public policy institutions” depending on the specifics of their genesis and resource opportunities are distinguished. It is shown that in rapidly developing countries “pro-power” public policy institutions will be efficient in the short-term period for such countries have authoritative traditions, and insufficiency of rules and norms of interaction in them is compensated by the top officials’ wish to involve the public in process of transformations. This efficiency is reached for the account of the stand-alone nature of the centers’ status, the centers’ possibility to contact to the first person of the state, the mandate on the organization of the power and experts’ interaction and non-departmental control of acceptance and execution of state decisions. At the same time, these factors increase the risk of bureaucratization of the “pro-power” public policy institutions. To avoid this, Russia must develop “public policy institutions” in the aspects of strengthening the civic network of the expert community, improving the forms and technologies of the power and experts’ interaction.

References

1. Shanahan, M. (2017) *Tekhnologicheskaya singulyarnost'* [Technological singularity]. Translated from English. Moscow: Tochka, Al'pina Publisher.
2. Expert Council under the Government of the Russian Federation. (2012) *Itogovyy doklad Prezidentu RF Rabochey gruppy po podgotovke predlozheniy po formirovaniyu v RF sistemy "Otkrytoye pravitel'stvo"* [Final report to the President of the Russian Federation of the Working Group on the preparation of proposals for the formation of the Open Government system in the Russian Federation]. [Online] Available from: <https://open.gov.ru/documents/>. (Accessed: 12th October 2018).
3. Pavlovsky, G. (2016) *Pochemu my eksperty? Zarozhdenie "ekspertnogo znaniya" v postsovetsoy Rossii. Gleb Pavlovskiy v "gefterovskom proekte" "Svyaz' vremen", god 2001-y* [Why are we experts? The origin of “expert knowledge” in post-Soviet Russia. Gleb Pavlovsky in the “GEFTER” project “Link of Times”, 2001]. [Online] Available from: <http://gefter.ru/archive/20072>. (Accessed: 3rd February 2019).
4. Larichev, O.I., Mechitov, A.I., Moshkovich, E.M. & Furems, E.M. (1989) *Vyyavlenie ekspertnykh znaniy* [Identification of expert knowledge]. Moscow: Nauka.
5. Burnham, J. (1954) *Revolutsiya direktorov* [The Revolution of Directors]. Translated from English by E. Shugaev. Frankfurt on Main: Posev.
6. Beckwith, B. (1972) *Government by experts*. New York: [s.n.].
7. Makarychev, A.S. (2015) State experts and modes of knowledge-power. *Politicheskaya nauka – Political Science*. 3. pp. 9–26. (In Russian).
8. Jasanoff, S. (2011) Quality Control and Peer Review in Advisory Science. In: Lentsch, J. & Weingart, P. (eds) *The Politics of Scientific Advice: Institutional Design for Quality Assurance*. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 19–35. DOI: 10.1017/CBO9780511777141.002
9. Ioyrysh, A. (2001) A.D. Sakharov: *otvetstvennost' pered razumom* [A.D. Sakharov: responsibility before reason]. Dubna: OIYa.
10. Easterly, W. (2016) *Tiraniya ekspertov. Ekonomisty, diktatory i zabytye prava bednykh* [Tyranny of Experts. Economists, dictators and forgotten rights of the poor]. Translated from English by O. Levchenko. Moscow: In-t Gaydara.
11. Sungurov, A.Yu. & Karyakin, M.E. (2017) Russian Expert Community and Government: Main Forms of Interaction. *Polis. Politicheskie issledovaniya – Political Studies*. 3. pp. 144–159. (In Russian). DOI: 10.17976/jpps/2017.03.10
12. Sungurov, A.Yu. (ed.) (2002) *"Fabriki mysli" i "tsentry publichnoy politiki": mezhdunarodnyy i pervyy rossiyskiy opyt* ["Factories of thought" and "centers of public policy": international and first Russian experience]. St. Petersburg: Norma.
13. Nikovskaya, L.I., Yakimets, V.N. & Molokova, M.A. (2011) *Grazhdanskie initsiativy i modernizatsiya Rossii* [Civil initiatives and modernization of Russia]. Moscow: Klyuch-S.
14. Gimazova, Yu.V. (2012) Ot "fabrik mysli" k "tsentram publichnoy politiki": mezhdunarodnyy opyt i perspektivy Rossii [From “factories of thought” to “public policy centers”: international experience and perspectives of Russia]. *Vestnik Universiteta (Gosudarstvennyy universitet upravleniya)*. 4. pp. 10–14.
15. Freinkman, L.Ya. & Yakovlev, A.A. (2014) Agency for Strategic initiatives as a New Type of development institution. *Voprosy ekonomiki*. 6. pp. 18–39. (In Russian). DOI: 10.32609/0042-8736-2014-6-18-39
16. Abuchakra, R. & Khuri, M. (2016) *Effektivnoe pravitel'stvo dlya novogo veka. Reformirovanie gosudarstvennogo upravleniya v sovremennom mire* [Effective Government for the New Century. Reforming public administration in the modern world]. Translated from English. Moscow: Olimp-Biznes.

УДК 323.1

DOI: 10.17223/1998863X/49/17

М.В. Подрезов

ИДЕЙНЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО НА МЕСТО ПОЛЬШИ В РОССИИ И МИРЕ¹

Статья посвящена образу Польши, созданному Ф.М. Достоевским в художественных и публицистических работах, критике, письмах и дневниковых записках. На основе анализа текстов показана многослойность проецируемого образа на карту мира: Старая и Новая, аристократическая и народная, европейская и славянская, латинская и русская Польша.

Ключевые слова: Достоевский, Польша, разделы Речи Посполитой, польский вопрос.

Внешняя политика трех европейских держав – России, Пруссии и Австрии – в последней трети XVIII в. на многие десятилетия вперед породила так называемый «польский вопрос», последствия которого и в настоящее время находят отклик в дискурсе ученых, политиков, журналистов и т.д. Расцвет внимания к данной проблеме, безусловно, пришелся на XIX в., что объясняется в первую очередь включением территорий Речи Посполитой в состав Российской империи, ролью поляков в наполеоновских войнах, кровавых восстаниях 1830–1831 и 1863–1864 гг., а также общим напряженным фоном во взаимоотношениях между народами, отголоски которого отравляют диалог между странами и по сей день. С разных сторон и позиций к «польскому вопросу» так или иначе обращалась значительная часть интеллигенции XIX в.: от видного русского и польского политического деятеля А. Чарторыйского до выдающегося отечественного писателя Л.Н. Толстого, от западника А.И. Герцена до славянофилов А.А. Киреева и Ю.Ф. Самарина, от М.А. Бакунина до И.С. Аксакова и т.д. Не остался в стороне даже А.С. Пушкин, перу которого принадлежит блестящее произведение «Клеветникам России», призывающее оставить вечный спор славян между собой [1].

Предметом данной работы является позиционирование Польши на геополитической карте мира выдающегося отечественного писателя, публициста и философа Ф.М. Достоевского, интерпретация воззрений которого основывается на представлениях о картировании славянского мира, изложенных А.И. и Н.Г. Щербиниными, «...это своеобразная визуальная форма, имеющая видимость картинки или словесное описание в виде карты, содержащая в себе особую ментальную схему. Ментальная карта в данном случае репрезентирует креативный ментальный образ, который не относится к моделированию объективного мира» [2. С. 60]. Отметим, что тема поляков и Польши проходит сквозной линией через все творчество Достоевского, что, разумеется, нашло отражение в историографии вопроса. Однако фокус внимания исследователей направлен главным образом на отношение Достоевского к по-

¹ Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект «Геополитическая карта и картина мира Ф.М. Достоевского», № 18-012-90020.

лякам как к нации. Среди наиболее существенных работ последних лет выделяются труды М. Швидерски [3], М. Ведемана [4], Я. Углика [5], А. де Лазари [6] и др.

Указанные исследователи уделяли внимание в первую очередь художественным произведениям Достоевского, в которых поляки показаны с явным пренебрежением. Впервые польская тема появляется в «Записках из мертвого дома», где автором показательно отмечается обособленность поляков даже в условиях каторги: «...в казармах наших была еще целая кучка поляков, составлявшая совершенно отдельную семью, почти не сообщавшуюся с прочими арестантами. Я сказал уже, что за свою исключительность, за свою ненависть к каторжным русским они были в свою очередь всеми ненавидимы. <...> Но поляки составляли особую цельную кучку. Их было шестеро, и они были вместе. Из всех каторжных нашей казармы они любили только одного жида, и может быть единственно потому, что он их забавлял» [7. Т. 4. С. 54–55]. На наш взгляд, это очень наглядный пример, который можно ретранслировать и на общую ситуацию в Российской империи, в рамках которой Польша была принуждена к «сожительству» с Россией, но в то же время не признавала себя ее частью. Показательными здесь являются и отношения поляков и евреев, учитывая этнический состав входившей в состав Российской империи Польши.

Риторика Ф.М. Достоевского становится еще более негативной после событий 1863–1864 гг., что прослеживается и в художественных произведениях. Так, в романе «Игрок», вышедшем в 1866 г., Достоевский констатирует европейское отношение к русским, сложившееся после польского восстания: «В Париже и на Рейне, даже в Швейцарии <...> так много полячишек и им сочувствующих французиков, что нет возможности вымолвить слова, если вы только русский» [Там же. Т. 5. С. 210], что еще раз подчеркивает реакционность многих суждений Достоевского. К более глубоким рассуждениям, относящимся в том числе и к «польскому вопросу», обращается писатель в романе «Бесы», опубликованном в 1871–1872 гг., выразив всю суть собственных представлений о национальной идентичности: «Если великий народ не верует, что в нем одна истина (именно в одном и именно исключительно), если не верует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти своею истиною, то он тотчас же перестает быть великим народом и тотчас же обращается в этнографический материал, а не в великий народ» [8. Т. 7. С. 240].

Переходя к позиционированию Польши на карте мира Ф.М. Достоевского, первое, на чем хотелось бы акцентировать внимание, – это территориальные рамки, в которые заключена Польша в умозрениях писателя. Федор Михайлович сосредоточивается исключительно на тех польских землях, которые вошли в состав Российской империи в результате разделов Речи Посполитой, т.е. на так называемой «Русской Польше». Одним из немногих исключений является отсылка к обострению «польского вопроса» на территории Австро-Венгрии: «...в Австрии волнения, половина Австрии не хочет того, чего хочет ее правительство. В Венгрии манифестации. Венгрия так и рвется против русских за турок. Открыт какой-то даже заговор, англо-мадяро-польский» [9. Т. 2. С. 286]. Ни о каких прежних границах «...в пределах до семьсот

семьдесят второго года!» [7. Т. 14. С. 382–383], о которых мечтал герой романа «Братья Карамазовы» пан Врубелевский, Достоевский речи не вел.

Первой «программной» работой, раскрывающей видение Ф.М. Достоевским места Польши на карте мира, является «Ответ редакции „Времени“ на нападение „Московских ведомостей“», вышедший в разгар польского восстания 1863 г. Помимо отсылок к истории взаимоотношений между двумя странами, автор затрагивает в данной работе весьма концептуальные стороны вопроса, в частности выделяет в польском обществе два уровня: шляхта и ксендзы, с одной стороны, масса народа – с другой, сосредоточивая внимание именно на первых, олицетворяющих Старую Польшу и противостоящих России. Достоевский дополняет: «Никогда Польша вся не восставала; восставала только шляхта и ксендзы, а масса народа, то есть крестьяне, никогда не сочувствовали панам, потому что раб своему угнетателю сочувствовать не может» [8. Т. 11. С. 333]. В то же время писатель обособляет данную территорию от остальной империи: «Теперь бунтует только частица Польши и вся Россия единодушно дает ей отпор» [Там же], что объясняется видением автора цивилизационного разлома – с одной стороны славянская (русская) с другой европейская (польская) цивилизация: «...поляки со всей своей (бесспорно) европейской цивилизацией „носили смерть в самом своем корне“». Именно потому, «что эта цивилизация была не народною, не славянскою, что в ней не было никакой самобытности, и потому она не могла слиться в крепкое целое с народным духом» [Там же. С. 334]. Таким образом, геополитический крах Речи Посполитой в конце XVIII в. объяснялся Достоевским с позиции «неполноценности» европейской цивилизации, которая изначально являлась аристократической. При этом, «несмотря на всю их гордость этой цивилизацией, до того сгубила, что им теперь уже нет воскресенья, хотя бы они и сделались политически независимыми <...> Европейская цивилизация, которая есть плод Европы и, в сущности, на своем месте в Европе, – в Польше (может быть, именно потому, что поляки славяне) развила антинародный, антигражданственный, антихристианский дух. Она развила у них преимущественно католицизм, иезуитизм и аристократизм, да тем и порешила. Мало того: нигде, может быть, католицизм не получал такой степени прозелитизма, как в Польше» [Там же. С. 335–336]. Более того, цивилизационный разлом, проходящий между «славянским гением» и «европейской цивилизацией», является неизбежной причиной будущей войны православия и католичества, предпосылки которой видны в польском восстании 1863–1864 гг., – считал Ф.М. Достоевский [7. Т. 20. С. 170].

Несмотря на глубокие цивилизационные противоречия, Достоевский полагает, что сосуществование России и Польши в рамках одного государства возможно. Во-первых, Россия уже включила в свою «цивилизацию» польские народные массы: «Освобождая в Польше крестьян и уделяя им землю, Россия уж уделила Польше свою мысль, привила ей свой характер, и эта мысль – цепь, с которою теперь Польша с Россиею Польша связана нераздельно» [Там же. С. 176]. Во-вторых, по мнению Достоевского, даже более культурно чуждая Финляндия и даже Турция являются естественными границами России, в рамках которых она берет на себя обязанность ассимиляции «развитием русского духа (почвенные идеи)» [Там же. С. 203]. Ассимиляция, согласно его воззрениям, является неизбежной, так как сосуществование Польши и

России в прежнем виде просто невозможно: «Есть такой политический, а, пожалуй, и естественный, закон природы, который состоит в том, что два сильные и ближайшие друг к другу соседа, как бы ни были дружны, всегда кончат желанием истребить один другого и, рано ли, поздно ли, приведут это желание в действие» [9. Т. 1. С. 302].

Достоевский неоднократно в своем творчестве поднимает панславянские идеи. Так, в статье «Утопическое понимание истории» он рассуждает о возможности существования единого славянского государства, способного собрать в себе все православные народы. По мнению автора, реальным центром такой православной империи может стать лишь Россия (естественным соперником в данном случае выступают лишь греки) и только на условии добровольного определения самими народами своего собственного места в рамках потенциального проекта. Подобные меры, по мнению Достоевского, позволили бы в перспективе развиваться Православной во Всеславянскую империю: «Так что к такому союзу могли бы примкнуть наконец и когда-нибудь даже и не православные европейские славяне, ибо увидали бы сами, что всеединение под покровительством России есть только упрочение каждому его независимой личности, тогда как, без этой огромной единящей силы, они, может быть, опять истощились бы в взаимных раздорах и несогласиях, даже если б и стали когда-нибудь политически независимыми от мусульман и европейцев, которым теперь принадлежат они» [9. Т. 1. С. 416–417]. Таким образом, идеальное место Польши в воззрениях Достоевского находится в единой Всеславянской империи.

Одной из наиболее любопытных работ Ф.М. Достоевского, посвященной месту Польши на его геополитической карте мира, является полемическая статья «Римские клерикалы у нас в России», на страницах которой автор исследует возможность претворения в жизнь инсайдерского вброса от британской газеты «Morning Post», а именно о якобы уже начатых переговорах между Россией и Германией по поводу уступки Привислинского края по Вислу (Русской Польши) Германии взамен на помощь от Берлина в русских приобретениях на Балканах [Там же. Т. 2. С. 333]. Наибольшего внимания, безусловно, заслуживает тот факт, что Достоевский не упустил возможности подискутировать по данному вопросу, так как он имел непосредственное отношение к воззрениям самого писателя в вопросах устройства единого православного государства, в частности данный вброс вторил его приоритетам в вопросах устройства славянского государства (в первую очередь – православные народы, во вторую – католические западнославянские).

Достоевский активно использует противопоставление Старой (независимой) и Новой («освобожденной царем») Польши. Олицетворением глубинных противоречий между Россией и Старой Польшей является согласие Федора Михайловича с мнением видного отечественного историка Н.И. Костомарова, что «...есть прекрасные поляки, которые могут жить даже в дружбе с иными русскими, спасти его в беде, одолжить его. Это, конечно, правда, но чуть только этот русский, хотя бы даже после двадцати лет дружбы, вдруг бы выразил этому прекрасному поляку свои политические убеждения насчет Польши в русском духе, то этот поляк тотчас же, тут же, стал бы явным или тайным врагом своего русского друга» [Там же. С. 374]. Достоевский полагал, что невозможно разрушить традиционную связь между Старой

Польшей и Ватиканом: «Ведь Ватикан не изменял Старой Польше никогда, а, напротив, поддерживал из всех сил все ее фантазии, когда другие-то государства их уже и слушать не хотели!» [9. Т. 2. С. 374]. Иными словами, подчеркивалась невозможность мирного сосуществования Польши и России, пока первая не откажется от прежних связей, от «европейской цивилизации» в пользу «славянского гения». Только Новая Польша, «освобожденная царем», может иметь будущее, по мнению Федора Михайловича. Старая же Польша изжила себя, и для нее нет места на карте мира Достоевского, так как «...ужиться с Россией она не может. Ее идеал – стать на месте России в славянском мире» [Там же].

К важным заключениям Ф.М. Достоевский приходит в своих записках литературно-критического и публицистического характера за 1880–1881 гг. Приведем ряд ключевых тезисов: «Над Россией корпорации. Немцы, поляки, жида – корпорация, и себе помогают» [7. Т. 27. С. 49–50]; «Примирение поляков и русских на этнографической Польше (Варшава). Да поймите же вы, что тут идея, идея латинства и западной цивилизации, идея – которую не отдадут вам поляки за этнографическую Польшу»; [Там же. С. 65–66]; «...поляки теперь слабы политически. Они идеей сильны, а вы идеей слабы, г-н Коялович, ибо для их же идеи, для владычества над славянами (всеми) во имя латинства и западной цивилизации – во имя этой идеи вы сами, своими руками, принесли первый камень на фундамент этой польской идеи» [Там же]. Таким образом, Достоевский уже на закате жизни еще раз подчеркнул свои основные идеи. Идея о противостоянии трех цивилизаций – католической (латинской), протестантской и славянской (православной) проходит сквозной линией через все творчество писателя [10. С. 296], при этом он неоднократно акцентирует внимание на закате первой: «...князь Бисмарк, вероятнее всего, уже предрешил судьбу Франции. Францию ждет судьба Польши, и политически жить она не будет – или не будет и Германии» [9. Т. 2. С. 374]. Параллель между Польшей и Францией очевидна – заостренные католические общества последних должны быть покорены более «прогрессивными» в идейном плане братьями-соседями (Россией и Германией соответственно), так как идеалы «заклятых» друзей сходятся – Россия и Польша борются за главенство в славянском мире, Франция и Германия – в европейском.

Подытоживая вышесказанное, можно определить место Польши на воображаемой карте мира Ф.М. Достоевского. В первую очередь следует исходить из той позиции, что польские земли, о которых вел речь писатель, в значительной степени входили в состав Российской империи. В существовавшем виде Россия виделась Достоевскому как государство первого уровня (исходные позиции). В ближайшей перспективе оно должно достичь второго уровня, на котором Российская империя становилась бы синонимом Православной империи, включающей в свой состав балканских славян, а также отнятый у Турции Константинополь как символ православного мира. Апогей развития, по мнению Достоевского, проявился бы в государстве третьего уровня – Всеславянской империи, дополнившей свой состав западными славянами. Таким образом, в данной модели писатель не видел возможности для быстрой инклюзии поляков в состав Российской империи, напротив, с удовольствием разменивая их на православные народы Балканского полуострова. Прежде всего это объясняется цивилизационным разломом, который прохо-

дит, по Достоевскому, между русским и польскими народами (русская, славянская, православная цивилизация против польской, европейской и католической). Вместе с тем Достоевский считает Польшу (как и Финляндию) российской территорией, несмотря на «искусственный» характер границ. Преодоление цивилизационного разлома возможно путем превращения Старой Польши в Новую, что, в свою очередь, означает «ликвидацию» символов и сущности Старой Польши, а именно аристократии с ее европейской (латинской) культурой и тесными связями с Ватиканом. Новая же Польша – это Русская Польша, выраженная в принятии и распространении крестьянами Привислинского края идей единства государства.

Литература

1. Пушкин А.С. Клеветникам России // Интернет-библиотека А. Комарова. URL: <https://ilibrary.ru/text/744/p.1/index.html> (дата обращения: 29.11.2018).
2. Щербинин А.И., Щербинина Н.Г. «Картирование» славянского мира как воображаемый конструктор // Русин. 2016. № 4 (46). С. 56–72. DOI: 10.17223/18572685/46/5.
3. Schwiderska M. Das literarische Werk F.M. Dostoevskijs aus imagologischer Sicht mit besonderer Berücksichtigung der Darstellung Polens. Muenchen : Sagner, 2001. 495 S.
4. Wedemann M. Polonofil czy polakozerca: Fiodor Dostojewski w piśmiennictwie polskim lat 1847–1897. Poznań, 2010. 283 p.
5. Углиц Я. Образ поляков в романах и публицистике Ф.М. Достоевского // Toronto Slavic Quarterly. 2011. № 37. Р. 136–149.
6. Де Лазари А., Сухарски Т. Достоевский в польской литературе литературоведении и философской мысли с 1970-х гг. по настоящее время // Достоевский : материалы и исследования. СПб. : Нестор-История, 2013. Т. 20. С. 25–43.
7. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30 т. Л. : Наука, 1972–1990.
8. Достоевский Ф.М. Собрание сочинений : в 15 т. Л.–СПб. : Наука, 1988–1996.
9. Достоевский Ф.М. Дневник писателя : в 2 т. М. : Книжный клуб 36.6, 2011.
10. Щербинин А.И., Щербинина Н.Г. Картирование славянского мира в «Дневнике писателя» Ф.М. Достоевского // Русин. 2018. № 4 (54). С. 292–302. DOI: 10.17223/18572685/54/17.

Mikhail V. Podrezov, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: misha_1101@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 49. pp. 170–176.

DOI: 10.17223/1998863X/49/17

FYODOR DOSTOEVSKY'S IDEOLOGICAL VIEWS ON THE PLACE OF POLAND IN RUSSIA AND IN THE WORLD

Keywords: Dostoevsky; Poland; Partitions of the Polish-Lithuanian Commonwealth; Polish question.

The article addresses the problems of positioning the Polish state on an imaginary map of the world of the outstanding Russian writer, philosopher and journalist Fyodor Dostoevsky. This publication is an analysis of Dostoevsky's statements and judgments about the place of Poland in Russia and in the world from fiction and journalistic literature, criticism, letters and diary entries. The work is divided into three parts. The introduction formulates the reasons for Dostoevsky's attention to the Polish problem, substantiates the relevance of the study on the basis of reference to the historiography of the issue, determines the subject and method of research. In the main part, the author examines the image of Poland that was formed in Dostoevsky's works. The features of the writer's approach to determining the place of Poland on an imaginary map of the world are identified. The emphasis is placed on the heterogeneity of the definition of the term "Poland", for which the epithets used by the writer are given: old and new, aristocratic and folk, Latin and Slavic, Catholic and Russian. Dostoevsky's approach to the possibility of the existence of Russia and Poland within the framework of a single state is analyzed; the approach consisted in the perspective of creating the Pan-Slavic empire, including the West Slavic Catholic peoples. In the final part of the article, the author concludes that Dostoevsky's position on determining the place of Poland on the world map seems to be rather contradictory. On the

one hand, the writer points in many ways to the complexity and even impossibility of the coexistence of Russia and Poland within one state due to the existing contradictions between the two civilizations which can be overcome only by assimilation, that is, by the destruction of the remnants of Old Poland. On the other hand, Dostoevsky regards the Polish lands as an integral part of the empire, although their inclusion, which happened in an “artificial” way, was ahead of its time. Only after the formation and the development of a united Orthodox empire would Western Slavs have been able to naturally integrate into the common Pan-Slavic empire.

References

1. Pushkin, A.S. (n.d.) *Klevetnikam Rossii* [Slanderers of Russia]. [Online] Available from: <https://ilibrary.ru/text/744/p.1/index.html>. (Accessed: 29th November 2018).
2. Shcherbinin, A.I. & Shcherbinina, N.G. (2016) Charting Slavdom as an Imaginary Construct. *Rusin*. 4(46). pp. 56–72. (In Russian). DOI: 10.17223/18572685/46/5.
3. Schwiderska, M. (2001) *Das literarische Werk F.M. Dostoevskijs aus imagologischer Sicht mit besonderer Berücksichtigung der Darstellung Polens*. Munich: Sagner.
4. Wedemann, M. (2010) *Polonofil czy polakozerca: Fiodor Dostojewski w piśmiennictwie polskim lat 1847–1897*. Poznań: [s.n.].
5. Uglik, Ya. (2011) *Obraz polyakov v romanakh i publitsistike F.M. Dostoevskogo* [The image of the Poles in F.M. Dostoevsky's novels and journalism]. *Toronto Slavic Quarterly*. 37. pp. 136–149.
6. De Lazari, A. & Sukharski, T. (2013) Dostoevskiy v pol'skoy literature literaturovedenii i filosofskoy mysli s 1970-kh gg. po nastoyashchee vremya [Dostoevsky in Polish literature, literary criticism and philosophical thought since the 1970s to the present]. In: Friedlander, G.M. (ed.) *Dostoevskiy. Materialy i issledovaniya* [Dostoevsky. Materials and studies]. Vol. 20. St. Petersburg: Nestor-Istoriya. pp. 25–43.
7. Dostoevsky, F.M. (1972–1990) *Polnoe sobranie sochineniy v tridsati tomakh* [Complete Works in 30 vols]. Leningrad: Nauka.
8. Dostoevsky, F.M. (1988–1996) *Sobranie sochineniy v pyatnadsati tomakh* [Complete Works in 15 vols]. Leningrad; St. Petersburg: Nauka.
9. Dostoevsky, F.M. (2011) *Dnevnik pisatelya: v 2 t.* [A Writer's Diary. In 2 vols]. Moscow: Knizhnyy klub 36.6.
10. Shcherbinin, A.I. & Shcherbinina, N.G. (2018) Mapping the Slavic world in “The Diary of a Writer” by F.M. Dostoevsky. *Rusin*. 4(54). pp. 292–302. (In Russian). DOI: 10.17223/18572685/54/17

УДК 316.6

DOI: 10.17223/1998863X/49/18

А.В. Селезнева

КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПОЛИТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

Представлены разработанные автором концептуально-методологические основания политико-психологического анализа политических ценностей. Политические ценности рассматриваются как смыслообразующие детерминанты в сфере политики, имеющие психологическую природу. Методология исследования развивает концептуальные положения авторского подхода. Комплекс политико-психологических методик сформирован на основе двух базовых исследовательских стратегий – контактной диагностики и дистантной оценки.

Ключевые слова: политические ценности, политическая психология, концепция, методология, политические идеологии, национально-государственная идентичность, политическое сознание, политическое поведение, проективные методы, дистантная оценка.

Ценностное изменение политики является сложной теоретико-методологической проблемой, которая, по мнению Н.Г. Щербининой, проистекает из диалектики «объективного» и «субъективного» [1]. С одной стороны, ценности представляют собой независимые от индивидов сущности, выступающие в политике в роли идейного образца и социального регулятора, а с другой – являются порождением сознания людей и существуют в нем, определяя, таким образом, особенности неинституциональных компонентов политических процессов. Данное противоречие дополняется социально-индивидуальной двойственностью природы политических ценностей граждан, что еще больше усложняет их интерпретацию.

Научные теории и концепции политических ценностей, теоретические разработки и результаты их эмпирической проверки представлены в научной литературе в рамках трех основных предметных областей – политико-философской, политико-социологической и социально-психологической.

Истоки изучения ценностей вообще и политических ценностей в частности заложены в трудах *философов* [2], которые размышляли не только о сущности самого понятия «ценность», но и о ценностях в политике, сформировав, таким образом, большое политико-философское наследие и очертив контуры классических политических идеологий.

Ключевые теории собственно политических ценностей были разработаны преимущественно *социологами* [3–5], что на долгие годы определило вектор изучения ценностной проблематики. И по сей день и в России, и за рубежом подавляющее большинство исследований политических ценностей носят социологический характер и фокусируются на определении структуры политических ценностей каких-либо социальных групп или общества в целом [6, 7].

Психологический анализ является самым молодым в науке и акцентирует внимание на психологической природе ценностей, их месте в структуре лич-

ности и регулирующей роли в жизнедеятельности людей [8–10]. При этом за скобками остается политическое пространство как сфера реализации ценностей граждан.

Различия между тремя указанными предметными областями заключаются не только в понимании сущности политических ценностей, их природы и особенностей функционирования в политической реальности, но и в специфике методологических оснований их научного изучения.

В современных условиях, когда субъективные неинституциональные компоненты играют все большую роль в политическом процессе в России, наиболее востребованным в науке и практике является *политико-психологический подход*, который позволяет рассматривать политические ценности как детерминанты политического восприятия и поведения на уровне отдельных личностей и больших социальных групп и обладает для этого необходимым набором специальных исследовательских инструментов.

Политико-психологическая концепция политических ценностей

В качестве объекта изучения политические ценности рассматриваются в современной науке в трех измерениях: как общественный идеал – определенный набор смыслов, представленных в философских и политических текстах, идеологиях, доктринах, программах и документах; как разделяемые членами социальной группы или общества в целом идеи о совершенстве в сфере политики; как психологические конструкты в структуре личности, являющиеся результатом индивидуального жизненного опыта и регулирующие политическое поведение и деятельность отдельного человека.

В рамках политико-психологического подхода мы определяем **политические ценности** как *устойчивые, имплицитно присущие отдельной личности, социальной группе или обществу в целом смысловые доминанты, определяющие идеологические приоритеты и политические принципы социальных отношений*.

Для решения эмпирических задач данное понятие конкретизируется следующим образом.

Политические ценности как *идеологический концепт*, т.е. артикулированные в устной или письменной форме идеи о совершенстве в сфере политики. В этом случае они выражаются в виде абстрактных категорий, имеющих политико-идеологическое содержательное наполнение. Они продуцируются сверху политическими институтами и акторами (государством, политическими партиями, лидерами, политической элитой) и существуют в политико-идеологическом дискурсе (представлены в политических документах, программных и агитационных материалах, политических текстах и выступлениях политических лидеров и представителей элиты и транслируются с помощью средств массовой политической коммуникации).

Политические ценности как *психологический конструкт*, т.е. элемент структуры личности, смысловое ядро политического сознания. В этом случае они представляют собой устойчивые убеждения человека или группы людей, отражающие значимость для них тех или иных идей, принципов, характеристик политических явлений и процессов.

Как психологические конструкты политические ценности существуют в индивидуальном и массовом политическом сознании. Формирование политических ценностей личности происходит путем их усвоения из внешней социокультурной и общественно-политической среды: «Индивиды в ходе политического дискурса неизбежно интериоризируют ценности как некоторые целостности» [11. С. 115]. При этом с психологической точки зрения происходит взаимодействие окружающей действительности и внутреннего мира личности: «Проходя через призму индивидуальной жизнедеятельности, через внутренний мир индивида (его интересы, стремления, склонности), интериоризированные общечеловеческие ценности включаются в психологическую структуру личности в форме личностных ценностей, являясь одним из источников мотивации ее поведения» [12. С. 84]. Значительную роль в этом процессе играют институты и факторы политической социализации (семья, школа, СМИ, Интернет, политические партии, молодежные организации и т.д.)

В соответствии с субъектом (носителем) политических ценностей можно выделить две основные **психологические формы их существования**:

– *персональные политические ценности*, носителями которых являются отдельные политические субъекты – личности, имеющие высокое политическое значение, – политики, политические лидеры, представители политической элиты;

– *групповые политические ценности*, носителями которых являются группы людей разного масштаба, выделенные по разным социально-демографическим, психологическим, политическим, экономическим, культурным основаниям.

Политические ценности как психологические конструкты в индивидуальном и массовом сознании обладают определенными **психологическими особенностями**.

Политические ценности являются *ядром политического сознания* людей: «В структуре личности ценности занимают одну из самых высоких позиций в силу того, что они участвуют в производстве смыслов в целом и политических смыслов в частности» [13. С. 297]. Это важнейший и центральный элемент личностной структуры, который связывает другие ее элементы – установки, потребности, мотивы. Ценности являются одновременно элементами когнитивной и мотивационно-потребностной сфер личности [14]. Ценности являются первоосновой установок, но отличаются от них меньшим количеством, большей универсальностью и устойчивостью [15]. Ценности возникают из биологических, социальных и духовных потребностей: ценным является то, чего относительно недостает [16].

Политические ценности – наиболее *устойчивый компонент* структуры личности [17]. Они в меньшей степени, чем другие компоненты политического сознания, подвержены изменениям под влиянием внешних социально-экономических и политико-культурных условий жизни. Это влияние выражается в «некоторых колебаниях „ценностной кардиограммы“, не меняющих общую иерархию ценностей и распределение в обществе ценностных предпочтений различного типа» [18. С. 193]. Изменения в системе ценностных ориентаций – от небольших трансформаций до полного разрушения – могут происходить в ситуации социокультурного кризиса под влиянием кардинальных изменений в жизни общества (например, революций, переворотов) [19].

Количество политических ценностей относительно *ограничено*. Исследователи по-разному подходят к проблеме количественного исчисления ценностей: 28 наименований насчитывает список Х. Мюррея, 36 позиций у М. Рокича, 57 наименований у Ш. Шварца.

Политические ценности *системно организованы и иерархически упорядочены* [20]. Система политических ценностей представляет собой иерархически выстроенную внутреннюю структуру, в которой они упорядочены по степени их положительного или отрицательного значения для жизни человека. Поскольку набор политических ценностей достаточно устойчив, в течение жизни может меняться лишь положение ценностей в иерархии в зависимости от их актуализации. Политические ценности могут быть организованы в виде групп: материалистические и постматериалистические, интегрирующие и дифференцирующие, традиционные и заимствованные и пр. При этом они структурно включены в общую систему ценностей личности [21] и занимают в ней не самое центральное положение, уступая первенство базовым общечеловеческим ценностям здоровья, семьи, работы, дружбы и пр.

Политические ценности носят *обобщенный характер* и *обозначаются абстрактными категориями*. Содержание политических ценностей *выражается в политических представлениях* [22], которые можно определить как форму отражения политических событий, явлений, процессов в сознании людей во всей совокупности их характеристик и свойств. По отношению к политическим ценностям политические представления составляют внешний, более обширный и изменчивый слой политического сознания. Политические представления существуют не разрозненно, а в виде групп в соответствии с объектами политической реальности (представления о политике и власти, политических институтах и лидерах, своей стране и других государствах).

Политические ценности *связаны с политической деятельностью и регулируют политическое поведение*. В процессе формирования политических ценностей большое значение имеет включенность в какую-либо деятельность (общественную, политическую, партийную), ценности выступают ее регуляторами [23]. Субъектно-деятельностный подход в психологии [24], который постулирует принцип единства сознания и деятельности, таким образом, позволяет, с одной стороны, определить политическую деятельность в качестве фактора, детерминирующего ценностные ориентации граждан в политике. С другой стороны, ценности самих политических субъектов проявляются в их политической деятельности, управляют ею.

Ценности регулируют политическое поведение. В связи с этим ключевым вопросом является определение особенностей этого процесса, а точнее – соотношения между ценностями как преимущественно когнитивным компонентом личности и их проявлением на поведенческом уровне. Этот вопрос является особенно важным для понимания ценностных изменений в общественном сознании и их влияния на политические трансформации. Здесь мы можем опереться на мнение Б.Г. Капустина, который считает, что если декларируется приверженность определенной ценности (например, либеральной), но при этом она не соотносится ни с одним способом ее практической реализации, то это означает либо ее чисто «вербальное» принятие, не определяющее тенденцию изменения сознания (например, либерализацией), либо ее отождествление с «соответствующей» ценностью традиционного советского

мировоззрения [25. С. 72]. В более широком смысле это означает, что ценности, «не идентифицирующиеся со способами их реализации, не способны оказывать существенное влияние на трансформационные процессы в обществе» [26. С. 119].

Политические ценности *связаны с символами* [27]. Ценностям имплицитно присуще символическое начало: «Абстрактная категория символа становится верифицируемой, значимой, если угодно предметной в ценностном измерении. В свою очередь, семиотическое значение в символическом измерении приобретает смысл ценностно окрашенный» [28. С. 94]. Политические ценности в сочетании с символическими образами составляют идеологемы как семантические элементы идеологий.

Политические ценности *сложно поддаются прямой вербализации*. Для обычных людей причиной данного явления могут являться наличие речевых барьеров, узость словарного запаса, ограниченность интеллектуальных способностей, что препятствует адекватной вербальной репрезентации ценностей. В исследованиях ценностей политических лидеров и представителей элиты сложности вербализации объясняются ситуацией социальной желательности, когда политики боятся выглядеть недолжным образом, демонстрировать истинные ценностные позиции, если они отличаются от официально декларируемых (руководством страны, партии и т.д.). В этих случаях возможно говорить о расхождении реальных и декларируемых ценностей, имея в виду «неискренность людей, старающихся принизить и затенить эгоистические цели и ценности, выводя на первый план то, что связано со служением людям» [29. С. 181]. Ценности политиков часто носят стереотипизированный характер и выражают ожидания, предъявляемые к ним какими-либо социальными группами или обществом в целом [30].

Основными *сферами существования политических ценностей* в общественном сознании являются политические идеологии и национально-государственная идентичность.

Политические ценности являются структурным элементом *политической идеологии*. С психологической точки зрения идеологии существуют не только на уровне общественно-политических проектов и партийных программ, но и в сознании граждан [31]. Идеология выступает в качестве теоретизированной формы политического сознания, целостной и систематизированной, в которой отражается политическая реальность. «Важнейшим компонентом идеологии в этом случае является ценностная ориентированность сознания относительно государственного устройства, общественного порядка, политики правящих и оппозиционных партий» [32. С. 95]. Кроме того, идеологии всегда ориентированы на политическое действие. Таким образом, политические ценности структурируют и определяют идеологическое пространство политики как сферу функционирования и взаимодействия различных ментальных, образно-символических, культурно-исторических и нормативно-оценочных форм [33].

Политические ценности входят в структуру *национально-государственной идентичности*: они являются основаниями для самоидентификации граждан с социально-политическими общностями и выражаются в представлениях о них. Для конструирования политической нации необходима высокая степень ее ценностной интегрированности как состояния, в котором «суще-

ствование политики не просто воспринимается ее членами как данный в ощущениях факт (возможно, случайный, не исключено, что досадный), но наделяется выраженным позитивным смыслом и значением» [34. С. 9–10]. Это означает, что в процессе конструирования нации в первую очередь должна осуществляться работа с политическими ценностями, их операционализация в контексте стратегии конструирования. «Только обретение ценностного фундамента позволяет политической нации трансцендировать себя и тем самым убедительно легитимировать собственное существование» [Там же. С. 22]. С психологической точки зрения политические ценности являются центральным элементом внутренней структуры национально-государственной идентичности, вокруг которого формируется ее образно-символическое пространство.

Методология политико-психологического анализа политических ценностей

Фундаментальной платформой, на которую опираются наши конкретные теоретические и методические разработки, является методология политической психологии, которая не имеет, по сути, единой общей теории на философско-доктринальном уровне ее существования [35] и представлена различными теоретическими моделями. В силу междисциплинарного характера она функционирует в общем контексте развития проблемы субъекта познания в поле когнитивных наук [36] и апеллирует как к политологическим, так и к психологическим подходам. В первом случае речь идет о психологизаторской парадигме, в рамках которой социальные и политические процессы объясняются психологическими свойствами людей. Применительно к предмету нашего анализа важное значение имеет неoinституционализм как направление в политической науке, представители которого акцентируют внимание на ценностях и нормах как основаниях для принятия решений и детерминантах поведения членов организаций [37]. Во втором случае – это психологический подход к пониманию сущности и развития человека [38]. Таким образом, методологической основой нашего исследования является современная парадигма научного знания, которая носит системный, интегративный и мультидисциплинарный характер. Непосредственной методологической основой исследования политических ценностей являются разработки когнитивистского направления политической психологии и положения теории социального познания [39].

Методология политико-психологического анализа политических ценностей опирается на ряд *общенаучных принципов* – детерминизма, соответствия, дополнительности, историзма и контекста [40].

На *методическом уровне* в политико-психологическом подходе функционирует принцип сочетания количественных и качественных методов, который реализуется в процессе разработки и использования в эмпирическом исследовании комплекса инструментов сбора, анализа и интерпретации данных. Изучение политических ценностей предполагает не только и не столько фиксацию их состояния в какой-либо временной период, но и выявление процессуально-динамических аспектов их существования, детерминированных социально-политическим контекстом. Применение стандартизированных методик количественного характера позволяет выявить и статистически представить ценностные категории. Качественные методики дают возможность

определить содержательное наполнение ценностных конструкторов, изучить причины возникновения и изменения ценностных конфигураций. Кроме того, они позволяют обеспечить верификацию количественных данных об иерархии ценностных приоритетов на уровне отдельной личности или социальной группы. Все используемые методы адаптируются под исследовательские задачи, для них разрабатываются специальные процедуры и интерпретационные схемы. В частности, заимствованные из социологии методы анкетного опроса и глубинного интервью проходят «психологическую обработку» – дополняются большим количеством открытых вопросов и сопровождаются использованием ассоциативных и проективных техник.

Методы исследования политических ценностей в отечественной и зарубежной науке

В современной зарубежной и отечественной науке сложились определенные традиции формирования и использования методического инструментария для проведения эмпирических исследований. Все многообразие используемых методов можно объединить в три группы в соответствии с пониманием предмета исследования.

К *первой группе* относятся методы, позволяющие изучать политические ценности как идеологические концепты, существующие в общественно-политическом дискурсе. Это различные модифицированные варианты использования процедуры контент-анализа, техники дискурс-анализа, психолингвистического анализа политических текстов (программ политических партий, сообщений СМИ, выступлений политиков и пр.) [41, 42]

Во *вторую группу* входят методы, используемые для изучения политических ценностей на уровне социальных групп и общества в целом, представляющие собой разные модификации классических опросных методов – анкетирования, интервьюирования, фокус-группового исследования. Большинство современных социологических и психологических исследований проводятся с помощью данных методов. В качестве примера можно привести методику Р. Инглхарта [43] для выявления материалистических и постматериалистических ценностей, которая применяется во Всемирном исследовании ценностей и работах отечественных ученых – А.В. Андреевской [44], Е.И. Башкировой [45], М.С. Яницкого (в модифицированном виде) [46].

К *третьей группе* относятся методы, которые применяются для изучения системы политических ценностей отдельной личности преимущественно в рамках психологических исследований. В качестве примеров таких авторских разработок можно привести многофакторный Тест изучения ценностей Г. Олпорта, П. Вернона и Г. Линдсея, методику М. Рокича [47], которая широко применяется нашей стране в различных доработанных и модифицированных вариантах [48–50], Портретный ценностный опросник Ш. Шварца [51], методику аксио-биографического интервью А.П. Вардомацкого [52].

Политико-психологические методы и приемы исследования политических ценностей

Разработка методического инструментария для анализа политических ценностей на эмпирическом уровне в рамках политико-психологического подхода осуществляется с учетом нескольких проблемных моментов, связан-

ных с психологической природой изучаемого предмета и выявленных в результате теоретического анализа.

Во-первых, большинство существующих на сегодняшний день методов и диагностических инструментов были созданы для изучения ценностей вообще, и они часто не подходят для исследования именно политических ценностей. Поэтому требуются специальные методы, при разработке которых учитывались бы особенности политики как сферы существования и трансформации ценностей.

Во-вторых, исследования ценностей в большинстве случаев носят социологический характер, что проявляется в том числе и в методах, которые в них используются. При этом часто упускается психологическая природа политических ценностей. Поэтому необходимы специальные политико-психологические методы, которые позволят изучать политические ценности как психологические компоненты массового и индивидуального сознания.

В-третьих, психологические методы исследования ценностно-идеологических ориентаций политиков недостаточно представлены в современной науке. Поэтому необходимо восполнить эту лауну и разработать соответствующий инструментарий, учитывая специфику профессиональной деятельности политиков разного ранга и возможности их психологической диагностики.

В-четвертых, политические ценности эмпирически не обозримы (не наблюдаемы) и сложно поддаются прямой вербализации. Поэтому необходимы специальные методы, которые позволяли бы их выявлять, а также осуществлять перекрестную проверку и верификацию получаемых данных.

Все эти проблемные вопросы обусловили необходимость разработки комплекса специальных политико-психологических методов для изучения политических ценностей в структуре массового политического сознания и на уровне представителей политической элиты.

Опросные методы – анкетирование, интервьюирование, фокус-группы – используются для выявления структуры и содержания политических ценностей, выраженных в вербальной форме. Эти традиционные социологические опросные методы применяются для сбора первичных данных, а процесс формирования опросников (гайдов) и процедуры работы с респондентами подчиняются определенным требованиям [53]. В рамках политико-психологического подхода в работе с этими методами реализуются дополнительные условия: в структуру анкеты включается значительное количество открытых вопросов, направленных на получение свободных словесных конструкций и индивидуальных интерпретаций, а в интервью и фокус-групповых дискуссиях обязательно используются ассоциативные и проективные техники. В зависимости от предмета и задач исследования применяются формализованные, фокусированные и экспертные интервью. Особенностью данных методов в политико-психологических исследованиях является наличие специальных моделей обработки и анализа полученных данных, основанных на понимании социальной и психологической природы политических ценностей [54].

Проективные методы являются обязательным элементом методического инструментария любого политико-психологического исследования. Они заимствованы из психологии и основаны на так называемой «проективной ги-

потезе» – допущении о том, что «ответы индивидуума на предъявляемые ему неоднозначные стимулы отражают существенные и относительно устойчивые свойства личности» [55. С. 480]. Таким образом, данные методы позволяют выявлять скрытые или неосознаваемые психологические конструируемые.

Для исследования политических ценностей применяются такие варианты проективных методов, как ассоциативные техники, неоконченные предложения и рисуночные тесты.

Ассоциативное тестирование основано на стимулировании респондента к возникновению ассоциаций – связей между психическими явлениями, при которых «актуализация одного из них влечет за собой появление другого» [56. С. 140]. В качестве стимула используются слова – абстрактные понятия, обозначающие политические ценности (свобода, демократия, равенство и т.п.), а сами ассоциации носят преимущественно свободный характер.

Неоконченные предложения – проективная техника, которая применяется для исследования глубинных неосознаваемых компонентов политических ценностей, в том числе символических. С технологической точки зрения процедуры завершения используются в процессе интервьюирования или фокус-групповой дискуссии. Для изучения собственно политических ценностей респондентам предлагается закончить предложения, связанные как с конкретными ценностными понятиями (например, «Справедливость – это...»), так и с обобщенными политическими явлениями. В частности, вопрос «Идеальное государство – это...» направлен на выявление комплекса ценностей, детерминирующих в сознании человека образ эталонного общественно-политического устройства.

Рисуночные методики используются в психологии для диагностики различных психических состояний и личностных особенностей. При этом «задание выполнить рисунок адресовано не к логическим формам мышления, а непосредственно к образному его содержанию, смыслу графического изображения, в котором в общей слитной форме представлены и образ, и отношение к миру, и личный опыт, и переживания субъекта» [57. С. 179–180]. Рисунок может включать в себя также «глубинные замаскированные символы, представляющие неосознанные феномены» [58. С. 225]. Если классическая психологическая диагностика решает задачу выявления через рисунок черт личности, то политико-психологические исследования направлены в прямо противоположную сторону – максимально абстрагироваться от личностных проявлений и сосредоточиться на содержательных характеристиках объекта исследования, представленных в изображении. Исходя из этого обстоятельства конструируется модель анализа и интерпретации рисунков. Для изучения политических ценностей применяется такой вариант данной методики, как «Рисунок ценности».

Для изучения ценностей политических деятелей, недоступных для непосредственного интервьюирования и тестирования, традиционно для политической психологии используется *методология дистантной оценки* (at-a-distance assessment) [59]. Данная исследовательская стратегия предполагает изучение личности политика без прямого контакта с ним на основе применения специально разработанных процедур анализа особых объектов, в которых личность политика находит свое отражение. В качестве таковых высту-

пают тексты речей политиков, видеозаписи их выступлений, вторичные данные и биографические сведения.

Изучение ценностно-идеологических ориентаций политических деятелей осуществляется методом *контент-анализа*, который широко используется в политико-психологических исследованиях для исследования разных психологических свойств личности [60]. Политические психологи опираются здесь на базовый психологический принцип отражения психических свойств личности в его деятельности и исходят из допущения, что в выступлениях политиков в явной или скрытой форме проявляются их персональные ценностные ориентации. С методической точки зрения в процессе исследования обязательно соблюдаются два условия. Первое – для анализа подбираются тексты интервью и спонтанные комментарии, в которых сохраняются индивидуальные черты личности, обычно сглаживающиеся при последующей редакции для публикации в СМИ. Второе условие предполагает обязательную разработку специальных интерпретационных схем [61], которые позволяют выявлять необходимые характеристики изучаемого объекта на основе приемов классического контент-анализа.

Вместо заключения

Представленные в статье концептуально-методологические основания изучения политических ценностей были разработаны автором исходя из объективно имеющейся научной потребности. Во-первых, существующие теоретические подходы не предлагают целостной концепции политических ценностей, объясняющей их психологическую природу и позволяющей изучать различные аспекты их существования. Во-вторых, следует признать, что недостаточно разработана методология для практического изучения политических ценностей на уровне отдельных личностей, социальных групп и общества в целом. Восполнение этой теоретико-методологической лакуны позволило в итоге сформировать новый сегмент политико-психологического знания – психологию политических ценностей.

В концепции реализован комплексный подход к анализу политических ценностей с опорой на фундаментальные положения политической и психологической науки. Теоретический потенциал концепции заключается в том, что она формирует интегративный взгляд на политические ценности, определяет их структурно-функциональные и динамические характеристики. Инструментальные возможности концепции выражаются в том, что она представляет различные исследовательские ракурсы, а ее положения доступны для операционализации и эмпирической проверки в рамках прикладных исследований.

Методология политико-психологического анализа политических ценностей интегрирует теоретические и инструментальные возможности социологии и психологии для изучения заявленной проблемы в предметном поле политической науки. Методология ориентирована не только на получение нового знания, но и на решение практических политических задач по изучению культурно-идеологического пространства современной политики.

Разработка концептуально-методологических подходов и проведение на их основе эмпирических исследований имеют сегодня двойную значимость. Во-первых, это позволяет решать прикладные (в нашем случае – политиче-

ские) задачи и обеспечивать научное обоснование принятия политических решений. Во-вторых, приращение научного знания, по сути, сегодня является ценностью, что в некоторой степени может препятствовать тенденции, когда «ориентация науки на “чистую” прибыль, пользу и прикладной результат может привести к тому, что она превратится в деятельность, противостоящую самой себе» [62].

Литература

1. Щербинина Н.Г. Ценности и политика // Микрополитика. Субъективные аспекты политического процесса в России : к 250-летию МГУ им. М.В. Ломоносова. М. : Современные тетради, 2004. С. 17–19.
2. Сурина И.А. Ценности. Ценностные ориентации. Ценностное пространство : вопросы теории и методологии. М. : Ин-т молодежи, 1999. 184 с.
3. Дюркгейм Э. Ценности и «реальные» суждения // Социологические исследования. 1991. № 2. С. 106–114.
4. Tomas W., Znaniecki F. The Polish peasant in Europe and America. Boston : Gorham Press, 1918. 460 p.
5. Парсонс Т. О социальных системах. М. : Академический проект, 2002. 832 с.
6. Van Deth J.W., Scarbrough E. The impact of values. New York : Oxford University Press, 1995. 294 p.
7. Российское общество и вызовы времени / под ред. М.К. Горшкова, В.В. Петухова М. : Весь Мир, 2017. Кн. 5. 424 с.
8. Яницкий М.С. Ценностные ориентации личности как динамическая система. Кемерово : Кузбассвузиздат, 2000. 204 с.
9. Леонтьев Д.А. Ценностные представления в индивидуальном и групповом сознании // Психологическое обозрение. 2009. № 1. С. 13–25.
10. Шварц Ш., Бутенко Т.П., Седова Д.С., Липатова А.С. Уточненная теория базовых индивидуальных ценностей: применение в России // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2012. Т. 9, № 1. С. 43–70.
11. Пушкарева Г.В. Homo politicus: человек политический. М. : АРГАМАК-МЕДИА, 2014. 336 с.
12. Федосова И.В. Проблема ценностных ориентаций в научной литературе // Ценности и смыслы. 2009. № 2. С. 75–92.
13. Шестопал Е. Образы власти в эпоху перемен (психологическая трансформация общества в постсоветской России // Четверть века после СССР: люди, общество, реформы / сост. П. Дуткевич, Р. Саква, В.И. Куликов ; под ред. Е.Б. Шестопал, А.Ю. Шутова, В.И. Якунина. М. : Изд-во Моск. ун-та, 2015. С. 291–329.
14. Тихомандрицкая О.А., Дубовская Е.М. Особенности социально-психологического изучения ценностей как элементов когнитивной и мотивационно-потребностной сферы // Мир психологии. 1999. № 3. С. 80–90.
15. Bem D.J. Beliefs, attitudes, and human affairs. Belmont, CA : Brooks / Cole, 1970. 134 p.
16. Karwat M. Political values as ideas of social needs // International Political Science Review. 1982. Vol. 3, № 2. P. 198–204.
17. Feldman S. Values, ideology, and structure of political attitudes // Oxford Handbook of Political Psychology / ed. by N. Huddy, D.O. Sears, R. Jervis. Oxford, 2003. P. 477–508.
18. Горшков М.К. Двадцать лет, которые потрясли Россию. Реформы в оценках общественного мнения // Четверть века после СССР: люди, общество, реформы / сост. П. Дуткевич, Р. Саква, В.И. Куликов ; под ред. Е.Б. Шестопал, А.Ю. Шутова, В.И. Якунина. М. : Изд-во Моск. ун-та, 2015. С. 142–199.
19. Евгеньева Т.В., Титов В.В. Формирование национально-государственной идентичности российской молодежи // Полис. Политические исследования. 2010. № 4. С. 122–134.
20. Pross H. Hierarchy of political values and their communication // International Political Science Review. 1982. Т. 3, № 2. P. 205–211.
21. Степанищенко О.В. Политические ценности в общей системе ценностных ориентаций // Вестник МГОУ. Сер. История и политические науки. 2011. № 3. С. 234–240.
22. Емельянова Т.П. Конструирование социальных представлений в условиях трансформации российского общества. М., 2006. 400 с.

23. Жуков Ю.М. Ценности как детерминанты принятия решения. Социально-психологический подход к проблеме // Проблемы социализации: история и современность. М. : МПСУ МОДЭК ; Воронеж, 2013. С. 255–276.
24. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М. : Политиздат, 1975. 304 с.
25. Капустин Б.Г. Либеральное сознание в России // Общественные науки и современность. 1994. № 3. С. 69–76.
26. Бродовская Е.В., Батанина И.А. Категории «ценности» и «ценностные ориентации» в дискурсе политологического сообщества: к истории вопроса // Среднерусский вестник общественных наук. 2013. № 3. С. 110–123.
27. Кармадонов О.А. Социология символа. М. : Academia, 2004. 352 с.
28. Скочилова В.Г. Символические конструкты политической идеологии в ценностном измерении // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2012. № 3. С. 93–102.
29. Дубов И.Г. Социально-психологические аспекты активности. М. ; СПб. : Нестор-История, 2012. 536 с.
30. Леонтьев Д.А. Ценность как междисциплинарное понятие: опыт многомерной реконструкции // Вопросы философии. 1996. № 4. С. 15–26.
31. Селезнева А.В. Ценностные основания политических идеологий: политико-психологический анализ // Политическая наука. 2017. Спец. вып. С. 365–384.
32. Малкин Е., Сучков Е. Основы избирательных технологий и партийного строительства. М. : Русская панорама, 2003. 480 с.
33. Комлева Н.А. Идеологическая граница как предел идеологического пространства: сущность, специфика и технология защиты // Пространство и время. 2010. № 1. С. 21–26.
34. Каспэ С.И. Политическая нация и ценностный выбор: общие положения, российский случай // Полития. 2009. № 2. С. 5–26.
35. Шестопал Е.Б. Политическая психология. М. : ИНФРА-М, 2002. 448 с.
36. Труфанова Е.О., Яковлева А.Ф. Проблема субъекта в междисциплинарной перспективе // Вестник Российской академии наук. 2017. Т. 87, № 11. С. 1042–1047.
37. March J., Olsen J. Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics. New York ; London, 1989. 227 p.
38. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. Л. : Изд-во ЛГУ, 1968. 339 с.
39. Андреева Г.М. Психология социального познания. М. : Аспект Пресс, 1997. 239 с.
40. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. М. : Либроком, 2010. 280 с.
41. Светоносова Т.А. Методика лингвистического исследования ценностей в политическом дискурсе // Политическая лингвистика. 2006. № 18. С. 99–106.
42. Гаврилова М.В. Когнитивная модель идеологии КПРФ // Политическая лингвистика. 2011. № 3 (37). С. 25–31.
43. Inglehart R. Culture shift in advanced industrial society. Princeton, NS : Princeton University Press, 1990. 484 p.
44. Андреевкова А.В. Постматериалистические / материалистические ценности в России // Социологические исследования. 1994. № 11. С. 73–81.
45. Баширова Е.И. Трансформация ценностей российского общества // Политические исследования. 2000. № 6. С. 51–65.
46. Яницкий М.С. Модификация методики Р. Инглхарта для изучения ценностной структуры массового сознания // Сибирская психология сегодня : сб. науч. тр. Кемерово : Кузбассвуиздат, 2002. С. 189–195.
47. Rokeach M. The nature of human values. New York : Free Press, 1973. 438 p.
48. Круглов Б.С. Определение уровня сформированности ценностных ориентаций по методике Б.С. Круглова // Я, ты, мы в зеркале познания. Москва ; Воронеж, 1995. 96 с.
49. Сопов В.Ф., Карпушина Л.В. Морфологический тест жизненных ценностей // Прикладная психология. 2001. № 4. С. 9–30.
50. Леонтьев Д.А. Методика изучения ценностных ориентаций. М. : Смысл, 1992. 17 с.
51. Schwartz S.H., Melech G., Lehmann A., Burgess S., Harris M., Owens V. Extending the cross-cultural validity of the theory of basic human values with a different method of measurement // Journal of Cross Cultural Psychology. 2001. Vol. 32. P. 519–542.
52. Вардомацкий А.П. Аксио-биографическая методика // Социологические исследования. 1991. № 7. С. 80–84.
53. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. М. : Добросвет, 2003. 596 с.

54. Селезнева А.В. Методология исследования политических представлений и ценностей // Вестник Московского университета. Сер. 12. Политические науки. 2011. № 2. С. 42–53.
55. Анастаси А., Урбина С. Психологическое тестирование. СПб. : Питер, 2007. 688 с.
56. Мельникова О.Т. Фокус-группы в маркетинговом исследовании: методология и техники качественных исследований в социальной психологии. М. : Академия, 2003. 272 с.
57. Романова Е.С. Графические методы в проективной психологии. СПб. : Речь, 2001. 416 с.
58. Леви С. Рисунок человека как проективный тест // Проективная психология. М. : Психотерапия, 2010. С. 224–247.
59. Ракитянский Н.М. Психологическое портретирование в политологической практике. М. : Интерпресс, 2008. 178 с.
60. Winter D.G., Stewart A.J. Content analysis as a technique for assessing political leaders // Psychological examination of political leaders / ed. by M. Hermann. New York, 1977. P. 28–62.
61. Современная элита России: политико-психологический анализ / под ред. Е.Б. Шестопал, А.В. Селезневой. М. : АРГАМАК-МЕДИА, 2015. 448 с.
62. Яковлева А.Ф. Научная деятельность: проблемы трансформации (этические и социальные аспекты) // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2017. Т. 40, № 4. С. 144–152.

Antonina V. Selezneva, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation).

E-mail: ntonina@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 49. pp. 177–192.

DOI: 10.17223/1998863X/49/18

CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE POLITICAL-PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF POLITICAL VALUES

Keywords: political values, political psychology, concept, methodology, political ideologies, national-state identity, political consciousness, political behavior, projective methods, distant assessment.

The article presents the conceptual and methodological foundations of the political-psychological analysis of political values developed by the author. Their necessity is due to the complexity of the phenomenon under study, its dual social and psychological nature and multiplicity of manifestations in political practice, on the one hand, and due to the lack of an integrated approach to its study in modern science and the availability of theoretical and instrumental potential of political psychology, on the other. The author proceeds from the understanding of political values as semantic determinants in the sphere of politics, offers a conceptual analysis of the concept of “political value” and an original definition revealing the psychological nature of the phenomenon under study. The concept justifies that political values have the following features: they are few in number, hierarchically ordered and systematically organized, they manifest at the level of mass and individual consciousness. They are resistant to changes in the socio-political context, are symbolic in nature, are associated with the needs and attitudes of people and regulate their political behavior. Political values are expressed in abstract categories, the semantic content of which is revealed in political representations. Political values in society change in the process of sociocultural crises caused by political and socio-economic transformations. The methodology of the study of political values, which develops the conceptual provisions of the author’s approach and determines the possibilities for the operationalization of theoretical positions for an empirical study, is based on the provisions of cognitive psychology and the theory of social cognition. Methodological principles presented at different levels of the methodology (general scientific, specific scientific and methodological) are normative in nature and are prescriptions for research activities, both in the field of theoretical developments and in the field of empirical studies of the problem of values. The generalization of the methodological tools developed in the framework of various sociological and psychological approaches allows identifying the most effective diagnostic techniques. The complex of the political-psychological methods is formed on the basis of two basic research strategies – contact diagnostics, allowing to study a person in direct interaction with him or her, and distant assessment, involving the identification of psychological characteristics of a person at a distance through the study of the products of his or her activity. The concept and methodology formulated by the author form a new segment of political and psychological knowledge – the psychology of political values. Diagnostic tools and interpretative schemes developed on its basis allow filling in

the existing methodological lacuna and open up new methodological possibilities for further empirical studies of political values in Russian society.

References

1. Shcherbinina, N.G. (2004) Tsennosti i politika [Values and politics]. In: Shestopal, E.B. et al. *Mikropolitika. Sub'ektivnye aspekty politicheskogo protsessa v Rossii* [Micropolitics. Subjective aspects of the political process in Russia]. Moscow: Sovremennye tetrad. pp. 17–19.
2. Surina, I.A. (1999) *Tsennosti. Tsennostnye orientatsii. Tsennostnoe prostranstvo: voprosy teorii i metodologii* [Values Value orientations. Value space: theory and methodology]. Moscow: Int-molodezhi.
3. Durkheim, E. (1991) Tsennosti i “real'nye” suzhdeniya [Values and “real” judgments]. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 2. pp. 106–114.
4. Tomas, W. & Znaniecki, F. (1918) *The Polish peasant in Europe and America*. Boston: Gorham Press.
5. Parsons, T. (2002) *O sotsial'nykh sistemakh* [On social systems]. Translated from English by V.F. Chesnokova, S.A. Belanovsky. Moscow: Akademicheskii proekt.
6. Van Deth, J.W. & Scarbrough, E. (1995) *The impact of values*. New York: Oxford University Press.
7. Gorshkova, M.K. & Petukhova, V.V. (ed.) *Rossiyskoe obshchestvo i vyzovy vremeni* [Russian Society and the Challenges of Time]. Book 5. Moscow: Ves' Mir.
8. Yanitsky, M.S. (2000) *Tsennostnye orientatsii lichnosti kak dinamicheskaya sistema* [Value orientation of the person as a dynamic system]. Kemerovo : Kuzbassvuzizdat, 2000. 204 s.
9. Leontiev, D.A. (2009) Tsennostnye predstavleniya v individual'nom i gruppovom soznanii [Value representations in the individual and group consciousness]. *Psikhologicheskoe obozrenie*. 1. pp. 13–25.
10. Schwartz, Sh., Butenko, T.P., Sedova, D.S. & Lipatova, A.S. (2012) A Refined Theory of Basic Personal Values: Validation in Russia. *Psikhologiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki – Psychology. Journal of the Higher School of Economics*. 9(2). pp. 43–70. (In Russian).
11. Pushkareva, G.V. (2014) *Homo politicus: chelovek politicheskii* [Homo politicus: a political man]. Moscow: ARGAMAK-MEDIA.
12. Fedosova, I.V. (2009) Problema tsennostnykh orientatsiy v nauchnoy literature [The problem of value orientations in the scientific literature]. *Tsennosti i smysly*. 2. pp. 75–92.
13. Shestopal, E. (2015) Obrazy vlasti v epokhu peremen (psikhologicheskaya transformatsiya obshchestva v postsovetsoy Rossii [Images of power in an era of change (psychological transformation of society in post-Soviet Russia)]. In: Shestopal, E.B., Shutova, A.Yu. & Yakunina, V.I. (ed.) *Chetvert' veka posle SSSR: lyudi, obshchestvo, reformy* [25 years after the USSR: people, society, reforms]. Moscow: Moscow State University. pp. 291–329.
14. Tikhomandritskaya, O.A. & Dubovskaya, E.M. (1999) Osobennosti sotsial'no-psikhologicheskogo izucheniya tsennostey kak elementov kognitivnoy i motivatsionno-potrebnostnoy sfery [Features of the socio-psychological study of values as elements of the cognitive and motivational needs of the sphere]. *Mir psikhologii*. 3. pp. 80–90.
15. Bem, D.J. (1970) *Beliefs, attitudes, and human affairs*. Belmont, Calif.: Brooks/Cole.
16. Karwat, M. (1982) Political values as ideas of social needs. *International Political Science Review*. 3(2). pp. 198–204. DOI: 10.1177/019251218200300206
17. Feldman, S. (2003) Values, ideology, and structure of political attitudes. In: Huddy, N., Sears, D.O. & Jervis, R. (eds) *Oxford Handbook of Political Psychology*. Oxford. pp. 477–508.
18. Gorshkov, M.K. (2015) Dvadtsat' let, kotorye potryasli Rossiyu. Reformy v otsenkakh obshchestvennogo mneniya [Twenty years that shook Russia. Reforms in public opinion assessments]. In: Shestopal, E.B., Shutova, A.Yu. & Yakunina, V.I. (ed.) *Chetvert' veka posle SSSR: lyudi, obshchestvo, reformy* [25 years after the USSR: people, society, reforms]. Moscow: Moscow State University. pp. 142–199.
19. Yevgenyeva, T.V. & Titov, V.V. (2010) Nation-State Identity Formation of the Russian Youth. *Polis. Politicheskie issledovaniya – Political Studies*. 4. pp. 122–134. (In Russian).
20. Pross, H. (1982) Hierarchy of political values and their communication. *International Political Science Review*. 3(2). pp. 205–211. DOI: 10.1177/019251218200300207
21. Stepanishchenko, O.V. (2011) Politicheskie tsennosti v obshchey sisteme tsennostnykh orientatsiy [Political values in the general system of value orientations]. *Vestnik MGOU. Seriya “Istoriya i politicheskie nauki” – Bulletin MRSU, series: History and Political Sciences*. 3. pp. 234–240.

22. Emelyanova, T.P. (2006) *Konstruirovaniye sotsial'nykh predstavleniy v usloviyakh transformatsii rossiyskogo obshchestva* [Construction of social representations in the context of the transformation of Russian society]. Moscow: Institute of Psychology RAS.
23. Zhukov, Yu.M. (2013) Tsennosti kak determinanty prinyatiya resheniya. Sotsial'no-psikhologicheskii podkhod k probleme [Values as determinants of decision making. Socio-psychological approach to the problem]. In: Tikhomandritskaya, O.A. & Belinskaya, E.P. (eds) *Problemy sotsializatsii: istoriya i sovremennost'* [Problems of socialization: history and modernity]. Moscow: MPSU; Voronezh: MODEK. pp. 255–276.
24. Leontiev, A.N. (1975) *Deyatel'nost'. Soznanie. Lichnost'* [Activity. Consciousness. Personality]. Moscow: Politizdat.
25. Kapustin, B.G. (1994) Liberal'noe soznanie v Rossii [Liberal Consciousness in Russia]. *Obshchestvennyye nauki i sovremen-nost' – Social Sciences and Contemporary World*. 3. pp. 69–76.
26. Brodovskaya, E.V. & Batanina, I.A. (2013) Categories of “value” and “value orientation” in the discourse of political science community: background. *Srednerusskiy vestnik obshche-stvennykh nauk – Central Russian Journal of Social Sciences*. 3. pp. 110–123. (In Russian).
27. Karmadonov, O.A. (2004) *Sotsiologiya simvola* [Sociology of the symbol]. Moscow: Academia.
28. Skochilova, V.G. (2012) Symbolic structures of political ideology in valuable measurement. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 3. pp. 93–102. (In Russian).
29. Dubov, I.G. (2012) *Sotsial'no-psikhologicheskie aspekty aktivnosti* [Socio-psychological aspects of activity]. Moscow; St. Petersburg: Nestor-Istoriya.
30. Leontiev, D.A. (1996) Tsennost' kak mezhdistsiplinarnoe ponyatie: opyt mnogomernoy rekonstruktsii [Value as an interdisciplinary concept: the experience of multidimensional reconstruction]. *Voprosy filosofii*. 4. pp. 15–26.
31. Selezneva, A.V. (2017) Tsennostnye osnovaniya politicheskikh ideologiy: Politiko-psikhologicheskii analiz [Value foundations of political ideologies: Political and psychological analysis]. *Politicheskaya nauka*. pp. 365–384.
32. Malkin, E. & Suchkov, E. (2003) *Osnovy izbiratel'nykh tekhnologiy i partiynogo stroitel'stva* [Fundamentals of electoral technologies and party building]. Moscow: Russkaya panorama.
33. Komleva, N.A. (2010) Ideological Boundary as an Ideological Space Termination: Essence, Specificity and Protection Technologies. *Prostranstvo i vremya – Space and Time*. 1. pp. 21–26. (In Russian).
34. Kaspe, S.I. (2009) Political nation and choice of values: General provisions, Russian case (i). *Politiya – Politeia*. 2. pp. 5–26. (In Russian).
35. Shestopal, E.B. (2002) *Politicheskaya psikhologiya* [Political psychology]. Moscow: INFRA-M.
36. Trufanova, E.O. & Yakovleva, A.F. (2017) Problema sub'ekta v mezhdistsiplinarnoy perspektive [The problem of the subject in an interdisciplinary perspective]. *Vestnik Rossiyskoy akademii nauk*. 87(11). pp. 1042–1047.
37. March, J. & Olsen, J. (1989) *Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics*. New York; London: The Free Press.
38. Ananiev, B.G. (1968) *Chelovek kak predmet poznaniya* [Man as a subject of knowledge]. Leningrad: Leningrad State University.
39. Andreeva, G.M. (1997) *Psikhologiya sotsial'nogo poznaniya* [Psychology of social cognition]. Moscow: Aspekt Press.
40. Novikov, A.M. & Novikov, D.A. (2010) *Metodologiya nauchnogo issledovaniya* [Methodology of scientific research]. Moscow: Librokom.
41. Svetonosova, T.A. (2006) Metodika lingvisticheskogo issledovaniya tsennostey v politicheskoy diskurse [Methodology of linguistic study of values in political discourse]. *Politicheskaya lingvistika – Political Linguistics*. 18. pp. 99–106.
42. Gavrilova, M.V. (2011) Kognitivnaya model' ideologii KPRF [Cognitive model of the ideology of the Communist Party of the Russian Federation]. *Politicheskaya lingvistika – Political Linguistics*. 3(37). pp. 25–31.
43. Inglehart, R. (1990) *Culture shift in advanced industrial society*. Princeton University Press.
44. Andreenkova, A.V. (1994) Postmaterialisticheskie / materialisticheskie tsennosti v Rossii [Postmaterialistic / materialistic values in Russia]. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 11. pp. 73–81.
45. Bashkirova, E.I. (2000) Transformatsiya tsennostey rossiyskogo obshchestva [Transformation of values of the Russian society]. *Politicheskie issledovaniya – Political Studies*. 6. pp. 51–65.

46. Yanitsky, M.S. (2002) Modifikatsiya metodiki R. Inglekharta dlya izucheniya tsennostnoy struktury massovogo soznaniya [Modification of R. Inglehart's methodology for studying the value structure of mass consciousness]. In: Seryy, A.V. (ed.) *Sibirskaya psikhologiya segodnya* [Siberian Psychology Today]. Kemerovo: Kuzbassvuzizdat. pp. 189–195.
47. Rokeach, M. (1973) *The Nature of Human Values*. New York: Free Press.
48. Kruglov, B.S. (1995) Opredelenie urovnya sformirovannosti tsennostnykh orientatsiy po metodike B.S. Kruglova [Determining the level of formation of value orientations according to B.S. Kruglov's method]. In: Spichak, S.F. (ed.) *Ya, ty, my v zerkale poznaniya* [I, you, we are in the mirror of knowledge]. Moscow; Voronezh: MODEK.
49. Sopov, V.F. & Karpushina, L.V. (2001) Morfologicheskii test zhiznennykh tsennostey [Morphological test of life values]. *Prikladnaya psikhologiya*. 4. pp. 9–30.
50. Leontiev, D.A. (1992) *Metodika izucheniya tsennostnykh orientatsiy* [Methodology for the study of value orientations]. Moscow: SMYSL.
51. Schwartz, S.H., Melech, G., Lehmann, A., Burgess, S., Harris, M. & Owens, V. (2001) Extending the cross-cultural validity of the theory of basic human values with a different method of measurement. *Journal of Cross Cultural Psychology*. 32. pp. 519–542. DOI: 10.1177/0022022101032005001
52. Vardomatsky, A.P. (1991) Aksio-biograficheskaya metodika [Axio-biographical methodology]. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 7. pp. 80–84.
53. Yadov, V.A. (2003) *Strategiya sotsiologicheskogo issledovaniya. Opisanie, ob'yasnenie, ponimanie sotsial'noy real'nosti* [Strategy of sociological research. Description, explanation, understanding of social reality]. Moscow: Dobrosvet.
54. Selezneva, A.V. (2011) Metodologiya issledovaniya politicheskikh predstavleniy i tsennostey [Methodology for the study of political ideas and values]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 12: Politicheskie nauki – Moscow University Bulletin. Series 12. Political Science*. 2. pp. 42–53.
55. Anastasi, A. & Urbina, S. (2007) *Psikhologicheskoe testirovanie* [Psychological testing]. Translated from English. St. Petersburg: Piter.
56. Melnikova, O.T. (2003) *Fokus-gruppy v marketingovom issledovanii: Metodologiya i tekhniki kachestvennykh issledovaniy v sotsial'noy psikhologii* [Focus groups in marketing research: Methodology and techniques of qualitative research in social psychology]. Moscow: Akademiya.
57. Romanova, E.S. (2001) *Graficheskie metody v proektivnoy psikhologii* [Graphic methods in projective psychology]. St. Petersburg: Rech'.
58. Levi, S. (2010) Risunok cheloveka kak proektivnyy test [Drawing a man as a projective test]. In: Bellak, L., Abt, L.E., Allport, G.W. et al. *Proektivnaya psikhologiya* [Projective Psychology]. Translated from English. Moscow: Psikhoterapiya. pp. 224–247.
59. Rakityanskiy, N.M. (2008) *Psikhologicheskoe portretirovanie v politologicheskoy praktike* [Psychological portraying in political science practice]. Moscow: Interpress.
60. Winter, D.G. & Stewart, A.J. (1977) Content analysis as a technique for assessing political leaders. In: Hermann, M. & Milburn, T.W. (eds) *Psychological examination of political leaders*. New York: Free Pr. pp. 28–62.
61. Shestopal, E.B. & Selezneva, A.V. (eds) (2015) *Sovremennaya elita Rossii: politiko-psikhologicheskii analiz* [Modern Russian elite: Political and psychological analysis]. Moscow: ARGAMAK-MEDIA.
62. Yakovleva, A.F. (2017) Scientific activity: problems of transformation (ethical and social aspects). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 40(4). pp. 144–152. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/40/14

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

АНТОНОВА Наталья Леонидовна – доктор социологических наук, доцент, профессор кафедры прикладной социологии Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

E-mail: n.l.antonova@urfu.ru

АНТУХ Геннадий Геннадьевич – кандидат философских наук, старший научный сотрудник Томского научного центра СО РАН, старший преподаватель кафедры философии с курсами культурологии, биоэтики и отечественной истории Сибирского государственного медицинского университета (г. Томск).

E-mail: g.antukh@yandex.ru

БОРОВИНСКАЯ Дарья Николаевна – кандидат философских наук, доцент кафедры социально-гуманитарного образования Сургутского государственного педагогического университета (г. Сургут).

E-mail: sweetharddk@mail.ru

БРОННИКОВ Иван Алексеевич – кандидат политических наук, доцент, доцент кафедры российской политики, заместитель декана факультета политологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва).

E-mail: ivbronn@gmail.com

ГАВРИЛЮК Татьяна Владимировна – кандидат социологических наук, доцент, старший научный сотрудник Центра перспективных исследований и инновационных разработок Тюменского индустриального университета (г. Тюмень).

E-mail: tv_gavrilyuk@mail.ru

ГИМАЗОВА Юлия Владимировна – кандидат политических наук, доцент, начальник отдела организации защит диссертаций Управления аспирантуры и докторантуры Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва).

E-mail: 3j@mail.ru

ГУЗИКОВА Мария Олеговна – кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой лингвистики и профессиональной коммуникации на иностранных языках Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

E-mail: mariagu@mail.ru

ДЕМИНА Анна Ивановна – специалист по учебно-методической работе кафедры философии Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (г. Самара).

E-mail: phil@ssau.ru (раб.), ademina83@gmail.com

ЗАЙЦЕВ Дмитрий Владимирович – доктор философских наук, доцент, профессор кафедры логики философского факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (г. Москва).

E-mail: zaitsev@philos.msu.ru

ЗАЙЦЕВА Наталья Валентиновна – кандидат философских наук, доцент, профессор кафедры гуманитарных и социальных наук Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) (г. Москва).

E-mail: natvalen@list.ru

ИВАНОВ Андрей Геннадиевич – доктор философских наук, заведующий кафедрой философии, факультет гуманитарно-социальных наук и права Липецкого государственного технического университета (г. Липецк); профессор кафедры государственной, муниципальной службы и менеджмента Липецкого филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Липецк).

E-mail: agivanov2@yandex.ru

КАЧЕРАУСКАС Томас (KACERAUSKAS Tomas) – профессор, доктор, заведующий кафедрой, кафедра философии и культурологи Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса (Вильнюс, Литва). (Prof. Dr., Prof., head of department, Department of Philosophy and Cultural Studies, Vilnius Gediminas Technical University (Vilnius, Lithuania).

E-mail: tomas.kacerauskas@vgtu.lt

ЛАМБЕРОВ Лев Дмитриевич – кандидат философских наук, доцент кафедры онтологии и теории познания Уральского гуманитарного института, Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

E-mail: lev.lambergov@urfu.ru

МОИСЕЕВА Анна Юрьевна – младший научный сотрудник Института философии и права Сибирского отделения РАН (г. Новосибирск).

E-mail: ajumo@yandex.ru

НЕСТЕРОВ Александр Юрьевич – доктор философских наук (09.00.01), кандидат филологических наук (10.01.08), доцент кафедры философии, заведующий кафедрой философии ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (г. Самара).

E-mail: phil@ssau.ru (раб.), aynesterow@yandex.ru

ОВЧИННИКОВ Степан Евгеньевич – аспирант, младший научный сотрудник Института философии и права СО РАН (г. Новосибирск).

E-mail: step.ovch@gmail.com

ПОДРЕЗОВ Михаил Владимирович – кандидат исторических наук, младший научный сотрудник отдела инновационных программ и проектов старший преподаватель кафедры политологии ФИПН Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: misha_1101@mail.ru

ПОЛЯКОВА Ирина Геннадьевна – научный сотрудник Уральского межрегионального института общественных наук Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

E-mail: irinapolykova@yandex.ru

ПУРГИНА Екатерина Сергеевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации на иностранных языках Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

E-mail: kathy13@yandex.ru

РАХМАНОВ Азат Борисович – доктор философских наук, профессор кафедры истории и теории социологии социологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (г. Москва).

E-mail: azrakhmanov@mail.ru

СЕЛЕЗНЕВА Антонина Владимировна – доктор политических наук, доцент кафедры социологии и психологии политики факультета политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (г. Москва).

E-mail: ntonina@mail.ru

СУРОВЦЕВ Валерий Александрович – доктор философских наук, профессор, ведущий кафедрой истории философии и логики Томского государственного университета (г. Томск), ведущий научный сотрудник Института философии и права СО РАН (г. Новосибирск).

E-mail: surovtssev1964@mail.ru

ЦЕЛИЩЕВА Оксана Ивановна – кандидат философских наук, научный сотрудник Института философии и права СО РАН (г. Новосибирск).

E-mail: oxanatse@gmail.com

ЧЕРНИКОВА Дарья Васильевна – кандидат философских наук, доцент, заместитель директора НОЦ урбанистики и регионального развития, САЕ TSSW: Сибирский институт будущего Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: chdv@mail.tsu.ru

ЧЕРНИКОВА Ирина Васильевна – доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой философии и методологии науки Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: chernic@mail.tsu.ru

ШАРОВ Константин Сергеевич – кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры философии естественных факультетов философского факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (г. Москва).

E-mail: const.sharov@mail.ru

Научный журнал

**ВЕСТНИК ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА**

**ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ПОЛИТОЛОГИЯ**

**TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOSOPHY,
SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE**

2019. № 49

Редактор *Т.В. Зелёва*

Оригинал-макет *О.А. Турчинович*

Дизайн обложки *Яна Якобсона* (проект «Пресс-интеграл»,
факультет журналистики ТГУ)

Учредитель Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»

Подписано в печать 24.07.2019 г. Дата выхода в свет 26.07.2019 г.
Формат 70х100^{1/16}. Печ. л. 12,25; усл. печ. л. 15,93; уч.-изд. л. 16,81.
Тираж 50 экз. Заказ № 3917. Цена свободная.

Адрес издателя и редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Томский государственный университет

Издание отпечатано на оборудовании Издательского Дома
Томского государственного университета
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. 8(382-2) 53-15-28; 52-98-49
<http://publish.tsu.ru>; e-mail: rio.tsu@mail.ru